1 р. 50 к. 23-1-14 ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца 1991 года вы прочтете в нашем журнале

РОМАНЫ

Дмитрий БАЛАШОВ. **Похвала Сергию** (о жизни преподобного Сергия Радонежского);

Александр ПРОХАНОВ. **Ангел пролетел.** Роман-метафора (в центре повествования атомная суперстанция, как Вавилонская башня, в центре России; персонажи романа – левые, правые, русофилы, русофобы, технократы – узнаваемые лики сегодняшней национальной драмы; все они находятся в острейших личных и социальных конфликтах);

ПОВЕСТИ

Отец Дмитрий ДУДКО. **Проповедь через позор** (свидетельство православного священника, прошедшего через унижения властей и брежневские лагеря);

Владимир ЧУГУНОВ. **Деревенька** (лирическая повесть о детстве)

ВОСПОМИНАНИЯ

Евгений ЧИРИКОВ, близкий друг А. Чехова и А. Куприна, русский писатель, оклеветанный "желтой прессой" начала XX века. **На путях жизни и творчества.**

СТИХИ

Элиды ДУБРОВИНОЙ, Виктора КОЧЕТКОВА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Станислава КУНЯЕВА, Виктора ЛАПШИНА, Бориса СИРОТИНА, Геннадия СТУПИНА, Валентина СОРОКИНА.

СТАТЬИ

Юрий БОРОДАЙ. **Третий путь;**

Николай ИВАНОВ. **"Шторм-333"** (неизвестные материалы, рассказывающие о том, что предшествовало принятию решения о вводе наших войск в Афганистан);

Андрей ЛАПИН. **Наука и природа** (предисловие И. Шафаревича "Метод, несущий смерть...");

Владимир ОВЧИНСКИЙ. **"Бархатная" революция, или Контрперестройка;**

Игорь ШАФАРЕВИЧ. **"Русофобия": десять лет спустя;**

Зинаида ШАХОВСКАЯ. **По поводу двух писем; На мраморе руки;**

Юлия ШИШИНА. **Психодизайн – XXI** (Технология апокалипсиса);

Нам готовят 41-й год...

Ядерный щит и национальная идея: "круглый стол" в Сарове и Москве.

На вопросы нашей анкеты **"Есть ли будущее у социализма?"** отвечают: Михаил АНТОНОВ, Эдуард ВОЛОДИН, Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ, Аполлон КУЗЬМИН, Ричард КОСОЛАПОВ, Анатолий ЛАНЩИКОВ, Игорь ШАФАРЕВИЧ, другие известные писатели и ученые.

В рубрике "Летопись России: история в лицах"

Лев ГУМИЛЕВ. **Князь Святослав Игоревич;**

Отец Дмитрий ДУДКО. **Святые князья-страстотерпцы Борис и Глеб;**

Николай ЛИСОВОЙ. **Святой равноапостольный князь Владимир; Митрополит Иларион;**

Вадим КОЖИНОВ. **Ярослав Мудрый;**

Юрий ЛОЩИЦ. **Феодосий Печерский.**

В рубрике "Отечественный архив"

Генерал М. К. ДИТЕРИХС. **Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале.** Отрывки из книги, изданной мизерным тиражом во Владивостоке в 1922 году;

Сергей НЕБОЛЬСИН. **Запрещенный Александр Блок.**

В рубрике "Зарубежная мысль"

Дуглас РИД. **Спор о Сионе.** 2500 лет еврейского вопроса.

В разделе "КРИТИКА" выступают:

Валентин КУРБАТОВ, Михаил ЛОБАНОВ, Петр ПАЛИЕВСКИЙ, Дмитрий УРНОВ.

Наш современник, 1991, № 6, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №6 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№6 1991

На снимках:

Сергей ЗАЛЫГИН и Василий БЕЛОВ,
Валентин РАСПУТИН.

ВЗГЛЯДОМ МАСТЕРА

В последние годы на всех крупнейших вечерах "Нашего современника" можно было встретить человека с фотоаппаратом, который стремился запечатлеть живые мгновения литературной жизни, лица любимых писателей, их жесты и взгляды. Это был ленинградец Анатолий Пантелеев. Его можно было встретить в самых разных уголках России – на Шукшинских чтениях в Сростках, на похоронах Федора Абрамова на Пинеге, на Празднике славянской письменности и 1000-летия Крещения Руси в Новгороде... Бескорыстное подвижничество Анатолия Пантелеева принесло свои плоды: он создал целую галерею фотопортретов популярнейших русских писателей. Сотворена эта галерея взглядом и рукой подлинного мастера.

Станислав КУНЯЕВ.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№6 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

Технический редактор Л. Л. Ежова Корректоры М. И. Кононова, Л. Н. Тихонова

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор) 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-76 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-32 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.04.91 г. Подписано к печати 17.06.91 г. Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл.кр-отт 17,24. Уч.-изд. л. 19,57. Тираж 279 275 экз. Заказ 662.

ИПО Союза писателей СССР, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»,
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.

НИКОЛАЙ ТРЯПКИН

НЕ ЗАБЫТЬ НАМ...

Рапсодия о героях

Пускай мы кормимся помоями
В своих районных чайханах, —
Зато все улицы — с героями,
И все проспекты — в именах.

Звучат герои в каждой рации
Со всех участков полевых,
С любой садовой декорации
Поем избранников своих.

С Досками славы все овчарники
И все подъезды у контор, —
Везде герои да ударники,
И лишь об этом разговор.

Ты слушай важных представителей
И никому не возражай:
У нас теперь на победителей
Такой обильный урожай!

И нас теперь не зря героями
Зовут по всем концам Земли,
И развлекают нас гобоями
И у соседей, и вдали.

И забросали нас посылками
Из-под Гаваны и Карпат.
А мы на джазы ходим с милками
Да пьем румынский ситронад.

А то, что кормимся дерюгою
И в плошки смотрим, как сычи, —
Так это ж — где-то под Калугою,
А мы пока что — москвичи.

И все ж к селу скажу и к городу:
Лукав заморский ананас!
А вдруг возмнется черну ворону
Однажды вспомнить и про нас?

ТРЯПКИН Николай Иванович родился в 1918 году в тверской деревне Саблино. Учился в Московском историко-архивном институте. Автор поэтических книг «Первая борозда», «Распевы», «Перекрестки», «Летела гагара», «Жнива», «Скрип моей колыбели» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Москве.

Проклятье

И воспылал гнев Господа на народ Его,
и возгнушался Он наследием Своим...
Псалтирь.

«Израиль мой! Тебе уже не святы
Моих письмен горящие столбцы.
Да будешь ты испепелен стократы!
Да станут пылью все твои
дворцы!» —

Так возгремел Господь из жаркой
тучи —
И гневный дых пронесся
над страной:
«Израиль мой! С твоих железных
крючьев
Мой лучший сын свалился
чуть живой.

Да будут прахом все твои алмазы!
Да будет так во все твои века:
Броней твоей — короста
от проказы,
Вином твоим — струя из-под быка!

И стольких ты ограбил и замучил!
И стольких ты оставил сиротой!
Израиль мой! Пади с Сионской
кручи!
Я сам тебя столкну своей пятой».

✦✦✦

* * *

Исцелись, моя бедная рана,
Это был несравненный момент!
Со скалы мирового экрана
Раздавал медяки президент.

Это — вам, крепостные илоты!
Это — вам, старикашки в углу!..

И трубили над ним самолеты
Долгожданному солнцу хвалу.

Не забыть нам такого подарка,
Заготовим сурьму и холсты!..
И стоит рулевая кухарка,
Не скрывая своей красоты.

Разговор сотрудника районной газеты со своим редактором, или Производственный конфликт

(СЦЕНКА ИЗ МОЕГО ПРОШЛОГО)

Сукин сын! Пузатый охломон!
Кот блудливый!
Ты испортил мне всю кровь и сон,
Дурень вшивый.
Что с того, что ты редактор стал?
Драл бы водку.
Для тебя давно я подыскал
Злую плетку.

Тут у нас, в райцентре
и в полях, —
Вор на воре.
А вот ты об этом — ни в столбцах,
Ни в наборе.
Только пьешь да дрыхнешь во всю
мочь
На кушетке.
За тебя строчу я день и ночь
Все заметки.

А в конторе нашей — ты да я,
Вот семейка!
Да еще — дворняга вон твоя
Под скамейкой.
Да еще старинные клопы
В каждом стуле...
Лучше б я да в скирды клал снопы
Из пикули.

А над миром — вновь очередной
Зной да мухи.

А вот ты приплелся весь бусой
От сивухи.
И опять не сможешь написать
Пару строчек,
И опять газету выпускать —
Из-под кочек.

Жить бы мне вовеки не грубя,
Ждать покосу.
А вот я, скотина, вновь тебя
Бью по носу.
Загоняю заново в чулан
Каблуками.
Пристрелил бы, если б был наган,
В гнусной яме...

Сукин сын! Пустая голова!
Дай мне сроку.
Будешь ты не эти вот слова —
Жрать осоку.
Чтобы жрал да норму выполнял
Драил глотку...
Для тебя давно я подыскал
Злую плетку.

✦✦✦

Присказка

Два Ильича. Два Кузьмича.
Только — для гостя нет калача,
Только — для красок нету кистей,
Только — для гроба нету гвоздей.

Два Ильича, Два Кузьмича.
Две сулеи. Два трубача:
Вместо кистей — горы костей,
Вместо гвоздей — царь Асмодей.

Духом — не быть.
Сердцем — не стать.
Незачем жить. Нечем дышать.
Два Ильича. Два Кузьмича.
То ли на «чо». То ли на «ча».

Две странички из родной летописи

Как на Тяпкина-поэта,
По решенью райсовета,
Подымались на дыбы
Все окрестные дубы.
Выходили все гаврилы,
Выносили грабли-вилы
И кричали, как один:
«Ах ты, Тяпкин, сукин сын!
По решенью райсовета
Мы сживем тебя со света,
Чтоб не смел, такая мать,
Нас дубами называть!»

А у дяди Ерофея
Вышла знатная затея:
Усадил он на скамью
Толстомордую свинью.
Развернул он Веди-Буки
И дает ей прямо в руки,
И певучий, как Орфей,
Говорит ей Ерофей:
«Ты читай, читай, Машуха,
Да дяржи почище брюхо,
Выводи с подмышек блох,
Всерасейский педагох».

Фарт

Пролезла гнида
В санинспекцию —
И производит...
Дезинфекцию.

И пропускают
Тварь нахальную
В любую щелочку
Журнальную.

Песенка

Что за жизнь у меня —
Повесть белкинская!
Ах ты, родина моя
Переделкинская!

Тут мы пляшем и поем,
Чай завариваем,
В Доме творчества живем,
Разговариваем.

Ни забот, ни хлопот —
Всё готовенькое,
И стоит у ворот
Чернобровенькая.

* *

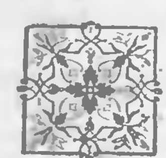
И снова жрут без передыха
И упиваются, как Ной.
И снова злая Домовиха
Моей становится женой.

И ни стихов сюда, ни лютен!
Поймите, севшие за стол,
Что окрестил меня Распутин,
А породил меня Монгол.

И вот опять — без передыха!
И вот опять — в единый дых!
И снова сватья Бабариха
В работе прет за семерых:

Деревья ломит — как слониха,
Играет бревнами — как слон.
И только свищет Бабариха:
«Готовьте, девки, самогон!»

И ни стихов сюда, ни лютен!
И пусть домыслит Форрестол,
Что здесь в кулак свистел
Распутин,
А по лесам прошел Монгол.



ПРОЗА

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

ГАВДАРЕЯ

ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА

Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.

Книга Екклесиаста. Гл. 9 (12).

Глава первая

Был апрель, и на севере прозрачными сделались вечера. Когда после ужина мужики выходили покурить на крылечко, ясная, благословенная погода охватывала их. Тихо догорал день в заречьи. Стремительная, но словно бы неподвижная издалека, вода фарватера отражала трубы лесозавода и штабеля теса на грузовых причалах, а ближе к берегам темнела, становилась непроницаемо-черной...

Иногда на озере, лопаясь, трещал лед, и тогда гулкое эхо раскатывалось по болотам и перелескам между Заберегами и Вознесихой, поднимало в воздух засыпающих в больничном саду ворон. Хлопая крыльями, долго метались они — черные — между землей и гаснущим небом.

КОНЯЕВ Николай Михайлович родился в 1949 году в поселке Вознесение, на берегу Онежского озера. Работал грузчиком, сварщиком, редактором многотиражной газеты. В 1980 году окончил Литературный институт. Автор книг прозы «Земля, которая помнит все» (1983), «Ненайденные клады» (1988), «У тихой воды» (1989), «Пригород» (1990), «Марсиане» (1991), вышедших в Ленинграде и Москве. Член Союза писателей СССР. Живет в Ленинграде.

Незаметно темнело, но и темнота была прозрачной и редкой: мерцая, отражались в речной воде огни поселка, а из палисадников смутно белели стволы берез. К ночи морозным холодком подчищало небо, и, яркие и крупные, висели над серыми крышами домов звезды.

Утром же снова начиналось солнце. Оно дотапливало затаившиеся под деревьями, под заборами остатки снега, жадно пило из хрустальных луж талую воду...

СОВЕЩАНИЕ

В один из таких вечеров в кабинете Олега Яковлевича Фридмана — начальника Заберегской пристани — шло совещание. Для приезжих начальников были приготовлены комнаты в голубеньком здании пристанской гостиницы. Зимой она пустовала, и перед совещанием ее загодя протапливали два дня, чтобы выгнать из помещений скопившуюся здесь продроглую нежиль.

Там, на втором этаже, в фойе возле лестницы, жиденько освещенной единственной лампочкой, сидели пожилые женщины: Шилиха, работавшая на пристани перронным матросом, и ее подруга Лукерья Пешнева, забежавшая узнать, чем кончится совещание.

— Вишь... — Шилиха, вытянув вперед руку, пошевелила пальцами. — И не гнутся уже... Мыслимое ли дело эстолько печей топить?

— Може, наградные какие дадут... — сказала Лукерья. — Не сулили?

— Дождешься от их... — мрачно ответила Шилиха и, как бы обидевшись на подругу, неподвижно уставилась на книжный шкаф, над которым красными выцветшими буквами на пожелтевшем ватмане было написано: «Уголок атеиста».

— Може, и дадут... — виновато сказала Лукерья. — Посовещаются и выпишут тебе премию... — и, словно бы желая узнать, дадут или не дадут премию Шилихе, выглянула в окно. Напротив, в здании пароходной конторы, шло совещание. Сквозь незашторенные окна просматривался весь кабинет Фридмана, заполненный приезжими начальниками.

— Который это у их главный-то будет?

— Дай покажу... — Шилиха вместе со стулом придвинулась к окну, заметно потеснив Пешневу. — Вон тот, толстомордый. В ухе сейчас ковыряется...

— Ишь какой красный... Сердится, кажись.

— Сердится... — Шилиха зевнула. — Выдумливают незнамо чего, а я печи топи...

— На то они и начальники, чтобы выдумливать... — философски заметила Лукерья. — А Заморозков это куды валит? Тоже, что ли, на совещание?

— Только Заморозкова и не хватало... — поджав губы, Шилиха разглядывала сейчас коротконогого мужичка, выкатившегося в круг фонарного света. — Он же пьяный совсем!

— Дипломатом сегодня в столовой торговали... — уходя от прямого ответа, сообщила Лукерья.

— Вином, что ли?

— Нет... Пивом восемнадцатиградусным.

— Я и говорю, вином...

— Пивом! Шисят копеек всего стоит.

— Не смеши ты народ, Луша. Где это, интересно, пиво такое варят, чтобы восемнадцать градусов? Небось, и в старину такого не варивали...

— Ага! — Лукерья обиженно шмыгнула носом. — А чего же тогда оно шисят копеек стоит? Ты слыхивала про вино за шисят копеек?

— Полно врать! — сурово оборвала подругу Шилиха, и еще неизвестно, чем бы закончился спор, но тут Заморозков, в задумчивости постояв у перил, вдруг перелез через них и пропал в непроглядной озерной тьме, вплотную подступившей к пристани.

— Гос-споди! — вскочила Лукерья. — Да ведь он топиться полез! Вот ведь до чего Зинка мужика, шимозериха старая, довела!

— Круг возьми! — прокричала ей вслед Шилиха. — Там круги спасительные на заборе висят!

Как раз в это время в пристанской конторе Олегу Яковлевичу Фридману приходилось особенно туго. Еще неделю назад он поручил главному инженеру Самогубову подготовить дополнительные расчеты по пристани, но Самогубов почему-то вообще не пришел на совещание, а без дополнительных расчетов Фридман чувствовал себя неуютно. Экономист же пароходства, помахивая карандашом, как-то убийственно просто разносил саму идею перевода Заберегской пристани в город. Он говорил, что никакой реальной выгоды это не принесет, более того, возникнет сумятица, неразбериха, которая, конечно же, скажется на ритме перевозок.

Задумчиво ковыряясь в ухе, начальник пароходства слушал экономиста, но по его лицу Фридман ничего не мог разобрать... Вот начальник вытащил палец из уха, внимательно посмотрел на него и тщательно вытер носовым платком.

— Как же не будет выгоды? — беспокойно возразил Фридман. — Ведь только за счет сокращения ненужных поездок мы выиграем, если мне не изменяет память, более двух тысяч часов рабочего времени.

— Ну, разумеется... — сказал насмешливо экономист. — Это если у вас только карьер останется. А отгрузку леса из Вознесихинского леспромхоза вы на самотек пустите? А здешние доки?

И он тоже быстро взглянул на начальника пароходства.

Но тот уже уткнулся в лежащие перед ним бумаги, и главный экономист, как и Фридман, не смог разобрать, что же он думает по этому поводу. А думал начальник пароходства, что вот, не уберегся он, застудил-таки ухо, и еще — что разговоры о переводе пристани в райцентр не вчера начались, а, кажется, с тех самых пор, как объединили Заберегский и Верхнесвирский районы. Не все, не все бездельники сумели пристроиться там к должностям, вот и начались разговоры, что и пристань надо бы забрать с собой. Тем не менее, какие бы аргументы ни приводили они, пока начальником пристани был Ершов — сам коренной забережец, — на том дело и останавливалось. И зимовка судов, и квартиры для плавсостава были сосредоточены в Заберегах. А теперь Ершова не стало. Уже два года командует пристанью этот Фридман, и похоже, что пристань придется переводить. И экономическая целесообразность тут ни при чем, райком все равно утянет пристань в город — некому держать ее здесь. Некому — это и есть самое главное, а не то, что доказывает сейчас главный экономист.

— Что там с квартирами в райцентре? — раздраженно отодвигая ненужные бумаги, спросил начальник пароходства.

— С квартирами хорошо, — быстро ответил Фридман. — Все в порядке с квартирами.

Он имел в виду, что для самого начальника пристани квартира будет.

— Вот как? — начальник насмешливо посмотрел, но не на Фридмана, а на секретаря райкома, что сидел напротив.

— Постараемся помочь... — ответил тот. — В принципе уже сейчас принято решение о передаче речникам общежития строителей.

— Вы что, и семейный плавсостав хотите загнать туда? А кто у вас на судах ходить будет?!

— Но... — растерянно сказал секретарь. — Но видите ли... — он замялся, за дверью возник какой-то неясный шум. — Видите ли... — повторил он, но в этот момент дверь распахнулась и в кабинет ввалилась Лукерья Пешнева.

— Там... Там... — словно бы давясь воздухом, выкрикнула она. — Там люди, граждане начальники, тонут!

Памятник, мраморный памятник должен был поставить Олег Яковлевич Фридман гражданке Пешнёвой! Только ее нелепый крик и мог остановить грозу. Начальник пароходства изумленно повернулся к Лукерье, а остальные замерли с растерянными лицами людей, потерявших вдруг всякую ориентировку в пространстве.

— Да тонут же там! — срывая с головы платок, аакричала Лукерья. — Человеки тонут!

И только тогда загремели отодвигаемые стулья. Секретарь райкома партии, показывая пример, первым устремился к двери, но у выхода его обогнал Фридман, а за ним и другие, и только начальник пароходства все еще безуспешно пытался подняться со своего стула. Когда же он вышел на улицу, все уже кончилось. Возле фонарного столба стоял мужичок-коротышка и невразумительно бормотал, что, дескать, хотел посмотреть, не подгнили ли сваи, опоры то есть...

— Зачем? — деловито спросил у него секретарь райкома.

— Да нужно ведь... — мужичок как-то беззащитно-яростно взглянул на него и потрогал щеку, поцарапанную, должно быть, спасательным кругом.

— Вот видите... — обращаясь к начальнику пароходства, проговорил Фридман. — Здесь уже и сваи подгнили. Все равно скоро все рухнет...

Начальник словно бы и не услышал его. Отвернувшись, вглядывался он в мутноватую синь все еще стоящего подо льдом озера. Внизу, прямо на льду, лежали — красное с белым — спасательные круги, которые побросали туда участники совещания. Старухи, главной виновницы паники, нигде не было. Лукерья потихоньку улизнула с пристани — подальше от греха.

Напуганный холодностью начальника, Фридман подумал было, что вся его затея провалилась, но напрасно — начальник пароходства морщился от боли в простуженном ухе и думал только о том, что надо скорее закрывать совещание, уйти в свой номер, замотать там голову шарфом и баюкать, баюкать боль, чтобы стихла она наконец... Это желание вытесняло все остальное.

Все сразу почувствовали перемену в настроении начальника пароходства и, памятуя, что завтра утром полетит самолет, заторопились. Совещание оказалось скомканным. Пристань было решено переводить в город.

— Я же говорил... — сказал секретарь райкома, поднимаясь по гостиничной лестнице. — Я же говорил, что нужно больше доверять местным товарищам, а не сковывать их инициативу... Здесь один завод собирается открыть два цеха, вот мы и договоримся, чтобы они на компенсационной основе построили дом в райцентре.

Начальники проходили мимо Шилихи, и та, позабыв про свои одеревеневшие руки, подавшись всем телом вслед, жадно ловила обрывки фраз:

— А они согласятся?

— А куда денутся-то? Мы же им здешние квартиры отдадим...

— А тепло-то как здесь!

— Перевозки...

— Да здесь прямо парилка!

— Вставать рано...

Захлопывались двери в номерах, и голоса стихали, только тихонько дребезжал стеклами шкаф в полутьме атеистического уголка.

Когда, проводив гостей, Фридман вернулся в свой кабинет, он прошелся из угла в угол, пытаясь остыть, потом остановился возле окна, непослушными пальцами отодвинул шпингалет. Сухо затрещала приклеенная бумага, и в окно, тяжело сползая на пол, ворвался промерзший за вечер воздух. Упираясь ладонями в подоконник, Олег Яковлевич жадно вдохнул его. Холодком обожгло изнутри, но Фридман продолжал вглядываться в синеватые сумерки рейда. Там, закованные в лед, стояли суда, и редкие дежурные огоньки посверкивали в каютах. Свет, рвущийся из-за спины, выносил тень Фридмана в эти сумерки. Огромная, она убегала за пристань, рассеиваясь в мраке замерзшего озера.

Получилось! Вот и получилось, как планировал Фридман!

Рукавом пиджака вытер он заслезившиеся глаза и закрыл окно. Было холодно, и он торопливо оделся. Но ликование, какое-то отчаянно-детское ликование переполняло его, и, вскользь подумав, что нельзя выходить на улицу с этой счастливо блуждающей по лицу улыбкой, Фридман вернулся уже из дверей и сел за стол.

Он вспомнил про Самогубова, который так и не появился на совещании, хотя что бы это изменило? — и, чувствуя, как твердеет, становится непроницаемо-властным, как и положено первому человеку в поселке, лицо, Фридман встал.

Было уже начало девятого, и его, Фридмана, должно быть, уже ждали у Самогубовых. Сегодня у Вени был день рождения.

ПИВО «ДИПЛОМАТ»

Так часто бывает... Иногда начинаешь рассказывать и вдруг вспомнишь, что хоронишь человека, родителей которого еще и не знакомил между собой. Всякое, конечно, бывает в жизни, но лучше избегать таких накладок, и поэтому сразу вернемся назад...

В этот день Вене Самогубову стукнуло тридцать три года. Утром, когда он проснулся, дома уже никого не было. Жена Вера ушла на работу, а дочка — в школу. Нехотя Самогубов поковырялся в «волгодоне» — гигантской сковородке, что стояла на плите, но есть не хотелось, и, бросив в «волгодон» вилку, принялся одеваться.

Он долго крутился перед зеркалом. Надел купленный еще на свадьбу, но почти неношеный костюм... Таких костюмов теперь уже не носили, но все равно выглядел в нем Самогубов весьма важно. Подумав, нацепил на шею галстучек-сеточку. Галстук тоже дожил со дня свадьбы... Самогубов перебрал и другие галстуки, но все они были или помятые, или с пятнами, и пришлось остановиться на «сеточке». Олег Яковлевич вчера предупреждал, чтобы на совещание все явились при полном параде.

Наклонившись перед зеркалом, Самогубов провел ладонью по редеющим кудрям и аккуратно водрузил на голову фуражку с крабом. В фуражке, прикрывшей залысины, он сразу помолодел... Подмигнул себе и только тогда накинул пальто. Чуть покачиваясь от непривычной стесненности в движениях, вышел на улицу.

О, как прекрасны предвесенние дни, когда снег уже почти стаял, а лед с озера еще не прошел, и поэтому все вокруг словно бы замерло в предпраздничном ожидании. Подрагивали в палисадниках ветки с набухшими, готовыми — вот-вот! — выбрызнуть зеленое пламя почками, а из-за домов, из-за старых покосившихся заборов просачивается, кружит голову нежный запах просыпающейся земли. И так сухо и чисто в поселке, что весь он, с побелевшими за зиму дощатыми тротуарами, с просторными палисадниками под окнами, похож на квартиру, в которой уже прибрано к приезду хозяев, но хозяева не едут, задержались где-то в дороге...

Хорошо было. Ярко синела под солнцем река, воздух был свеж

и просторен. Отогнав виляющего хвостом Урвана, Самогубов бережно прикрыл калитку. Неразношенный костюм хотя и стеснял движения, но при этом как-то подтягивал, делал движения сосредоточенными, точными.

Стараясь не запачкаться, Самогубов перебрался через ручей. Ручей был широким. Рокочущим потоком рвался из-под кондровского забора и, разбившись о придорожные валуны, стихал, мутновато разливаясь по дороге.

Ручей служил естественной границей поселка. Хотя дальше и стояли дома Марусиных, Самогубовых, Тереховых, наконец дом Кешки Сутулова, наполовину забравшийся на территорию рэбовских мастерских, но поселком они как бы и не считались — все блага заберегской цивилизации простирались только до ручья: здесь кончался тротуар, и даже фонарями улица дальше не освещалась. Дальше шли, как утверждал Кешка Сутулов, не Забереги, а Выселки — совсем другой административный пункт...

Года два назад поговаривали о строительстве мостика через ручей, и Кешка Сутулов предложил тогда избрать его выселковским старостой, чтобы он, как официальное лицо, мог войти в соответствующие инстанции с требованием выделить ассигнования на строительство магистрального акведука Забереги — Выселки... Кешка и деньги тогда занимал под эти ассигнования, рассказывая, будто знает место, где по дешевке можно купить бетонные опоры и перекрытия. Только никто ему денег не дал, и разговоры о строительстве моста сами собою прекратились.

Да и Бог с ним, с Кешкой-то.

Выселки действительно отделялись от поселка. Самогубова, когда он женился на Вере и стал жить здесь, первое время очень удивляло, что здешние жители даже в домашних разговорах и то никогда не забывали о своей отделенности от поселка и говорили: «Надо бы в Забереги сходить за хлебом», словно это невесть где было, а не в пяти минутах ходьбы. Впрочем, Самогубов только первое время удивлялся, а потом привык и незаметно начал говорить точно так же.

Удивительно было и то, что никто не строился между заколоченными домами Кондровых и Марусиных, хотя место было завидное — прямо на берегу реки.

Правда, ходил здесь в этом году шофер Коля Рощин, но так ничего и не высмотрел, ничего не решил — перенес строительство до лучших времен. Но теперь вообще мало кто строился сам. Все норовили получить казенную квартиру в каменных домах, что поднимаются за пустырем позади Выселок.

«Кто ж это будет для восьми человек мост строить? — прыгая с камня на камень, подумал Самогубов. — Глупое дело, девочки...»

Сразу за кондровским ручьем начинался тротуар. По другую сторону набережной тянулся отсюда серый забор речной обстановки. Иссохшие доски чуть разошлись, и сквозь щели были видны бакены, лежащие на берегу. Здесь Самогубов остановился, поправил фуражку и, засунув руки в карманы, зашагал — теперь уже вразвалочку — дальше. Скоро начали попадаться знакомые. Самогубов останавливался с ними, толковал о погоде, о видах на нынешнюю охоту — сам же, между прочим, направлялся в столовую.

Столовая находилась возле паромной переправы, и всегда здесь, дожидаясь перевоза, стояли грузовики, но сегодня их было как-то необычно много — хвост тянулся аж за сельповский магазин! Штук семь машин стояло...

«Интересно-о, девочки!» — подумал Самогубов и толкнул темно-коричневую дверь. Табачный дым и шум голосов обрушился на него, и он остановился на пороге, оглядывая помещение.

Казалось, что в столовой собрался торжественный кворум для решения насущно важных проблем поселковой жизни — все организации поселка, все возраста, все профессии были представлены тут.

Прямо у входа, сдвинув столики, расположились рабочие рэбовских мастерских. Они слушали Питерцева — известного заберегского браконьера. Тот рассказывал о зимнем рыболовстве.

— Значит, так... — поучал он. — Возьмешь чурку и иди по льду. Рыба на озере завсегда ко льду жмется. Хлопиешь чуркой и руби прорубь. Твоя...

— А ежели обухом?

— Нет! — покачал головой Питерцев. — От обуха звук не тот. С такого звука рыба на глубину уходит. Ни ей жизни, ни тебе ухи.

— Каким поленом лучше? — доставая записную книжку, поинтересовался из-за соседнего столика директор школы Коммунар Орестович. — Еловым? Березовым?

Все знали, что на досуге Коммунар Орестович работает над книгой «Записки старого рыбака», и поэтому никто не удивился записной книжке.

— Еловым хорошо будет... — важно пояснил Питерцев. — Только крепко надо бить.

— Ясно! — Коммунар Орестович пометил что-то в своей книжке. — А если лед прошибешь, тогда что?

Питерцев пожал плечами...

— Если в прорубь попадешь
И ко дну прилипнешь.
Полежишь денек-другой,
А потом привыкнешь... —

пропел из-за своего столика вознесихинский учитель Кешка Сутулов. Он наливал сейчас в кружку пиво для своего черного козла Борьки. Сам Борька, опираясь передними копытцами на стол, стоял рядом и тряс бородой, наблюдая, как льется пиво.

Коммунар Орестович неприязненно посмотрел на Сутулова и спрятал записную книжку в карман.

Продолжить свои наблюдения далее Самогубову не удалось. Его дернул за рукав орсовский шофер Коля Рощин.

— Ты глянь-ка! — сказал он. — Вот это пиво, а? Восемнадцать градусов! — он покрутил головой и уважительно добавил: — Чешское...

Лицо у Коли Рощина было простодушным, с толстым бесформенным носом, на котором всегда сверкал красный прыщик.

Усмехаясь, Самогубов взял из его рук бутылку и повертел ее.

— У их градус другой! — важно проговорил он. — Было бы восемнадцать, так и стоило бы рубля два... Градус себе цену знает!

С бутылками они протиснулись к окну, где сидели ребята с зимовавших в Заберегах самоходок. Те зашевелились, рассаживаясь поплотнее, чтобы всем хватило места.

Вообще-то Коле нравилась любая компания, но сегодня пароходные говорили только о предстоящем совещании на пристани, и Коля сразу заскучал. Он пил пиво и наблюдал за козлом, который, позабыв про хозяина, бродил между столиками. Вот Борька остановился возле одиноного Клепикова и печальными глазами уставился на него.

Клепиков занимался тем же промыслом, что и Питерцев, но если на его удачливом коллеге долгие годы браконьерства и следа не оставили, то Клепикова они словно бы выжгли изнутри. Клепиков был страшен не столько благоприобретенным физическим уродством, сколько студеной темнотою, запекшейся в единственном глазу...

Кивнув Клепикову, Коля Рощин торопливо отвернулся, прислуши-

ваясь к разговору о пристани. Говорил сейчас Самогубов. Он так горячился, доказывая необходимость перевода пристани в город, словно сам себя старался убедить в этом. Пытаясь как-то пристроиться к разговору, Коля спросил, не освободится ли какая квартира в каменных домах, ежели столько начальников уедет в райцентр, и все сразу замолчали, об этом как раз и старался не думать Самогубов, доказывая, что пристань надо переводить...

— А как же, девочки? — откинувшись на спинку стула и барабаня пальцами по столу, сказал он. — Конечно, придется уезжать. Чего здесь будет людям делать?

И замолчал, продолжая барабанить пальцами и поигрывая своей красивой бровью.

— Эх, тварь-тварь... — проговорил тут из-за соседнего столика Клепиков. Запустил корявые пальцы в черную козлиную шерсть и, опираясь на козла, медленно встал. — Один ведь ты, Борька, может, и есть тут человек, а остальные — дерьмо все.

Махнул рукой и, стуча протезом по затоптанному полу, двинулся к двери. На пороге оглянулся и показал два растопыренных пальца. Кому? Никто кроме Коли Рощина и не заметил в этой сутолоке, как кивнул в ответ Питерцев. Клепиков же отвернулся и, ударив железной ногой в дверь, распахнул ее.

Скоро и пароходные, допив пиво, начали подниматься, а Самогубов не пошел с ними, решил посидеть в столовой до совещания. Он вытащил из кармана серебряный полтинник и показал его Коле.

— Блесну хочу сделать...

Думая о квартирах, которым предстояло освободиться в каменных домах, Коля повертел полтинник с кузнецом и вернул его Самогубову.

— Еще пива возьмем? — спросил он.

— Конечно, надо еще взять, — усаживаясь за столик, ответил за Веню Кеша Сутулов. — Кончается уже пиво.

И полез в карман за деньгами, но тут случился конфуз. Козел допивавший пиво из клепиковской кружки, так увлекся, что и не заметил, как ударила между ногами пенистая струйка.

— Борис Георгиевич! — закрывая лицо руками, воскликнул Сутулов.

Коля Рощин подождал, не вспомнит ли Кеша о деньгах, но Сутулов не отнимал рук от лица, а пиво и правда кончалось, и, взяв протянутую Самогубовым трешку, Коля встал и, обходя разлившуюся по полу желтоватую лужу, направился к буфетной стойке.

Да, вот так развертывались в тот день события в столовой у перевоза. Заходил сюда и начальник заберегской милиции Аркадий Павлович Свиридов, но ничего подозрительного не заметил.

Еще с войны, когда Аркадия Павловича царапнуло по виску осколком, кожа подтянулась и один глаз навсегда сделался веселым: казалось, что Свиридов подмигивает им кому-то... Веселым, подмигивающим глазом и смотрел сегодня на подгулявших земляков начальник милиции...

И на этом и можно бы закончить повествование о пиве «Дипломат», но объективности ради упомянем и те видения, которые имели место в тот день и одно из которых приключилось с Колей Рощиным.

Когда пиво было допито, омерзительно-вежливый Кеша Сутулов заявил, что желает угостить своих друзей, и начал объяснять козлу важность этого мероприятия. Но объяснял он это как-то очень путанно, призывал козла не жаться, убеждал, что многое в его будущности зависит от этих людей. Но Борька уже совсем запьянел, упрямо тряс головой и поить компанию за свой счет не собирался.

— Борис Георгиевич! — горестно восклицал Кеша. — Какой же вы жмот, Борис Георгиевич!

И тогда Коля Рощин всерьез обиделся на козла и, нащупав в кармане комок денег, встал из-за стола сам. К прилавку Коля двинулся — была все-таки крепость в пиве, зря Самогубов на него грешил — кружным путем. Дважды подсаживался на колени к вознесихинским мужикам, трижды ронял со столов пустые бутылки... Потом все вдруг слилось в тумане, и, очнувшись, Коля увидел, что сидит напротив сына начальника милиции, работавшего в рэбовских мастерских сварщиком.

— Эх, Лешка-Лешка... — сказал Коля и тяжело вздохнул: Лешкино лицо напоминало ему отцовское — с желтоватой послевоенной фотографии. — Ну, подумай сам: ушел — не сварено, пришел — все съедено... Разве это жизнь, а?

Лешка что-то ответил, но Коля не расслышал. Обхватив руками голову, он хрипловато затянул песню, услышанную от студентов стройотряда, которых прошлым летом часто возил на своем грузовике:

Я — начальник автоколонны!
Можно выпить. Я — главный чин!

И как всегда после этих слов накатило на Колю. Вспомнился и отец, сгинувший в лагерях, которого Коля только по фотографии и знал; вологодская деревня, из которой пять лет назад слинял Коля,— все вспомнилось...

Что за мною? Все трасса, трасса
Да осенних дорог кисель.. —

тянул он и тут увидел, как машет ему рукою Самогубов, подзывая к себе. Он сидел сейчас с председателем рабочкома пристани Елистратом Петровичем Тереховым.

Коля как-то удивительно легко переместился туда.

— Смекаешь? — сказал ему Самогубов. — Вот я, девочки, обещал насчет квартиры поговорить и поговорил. Елистрат Петрович уже и согласие свое выделил... Чего, говорит, человеку маяться? Не, не дело это, не ремесло. Тем более что квартир этих, когда уедут от нас все, черт знает, сколько освободится. Да и что такое в государственном масштабе миллион? А тут квартира... Тьфу! Плевое дело...

— Ну! — сказал Елистрат Петрович и зачем-то потрепал Колю по плечу.

— Ага! — Коля облизнул языком пересохшие губы и открыл глаза.

— Ну! — тормошила его буфетчица Дуся Савунькина. — Давай, начальник, подымайся. Закрываемся...

Действительно, столовая уже опустела. Только над столиком, за которым в Колином сие раздавали квартиры, скорбно пригорюнилась васнецовская Аленушка...

«Вот тоже, — обиженно подумал Коля, — а еще кореш... Только присниться и умеет».

И, застегнув на одну пуговичку пиджак, надетый поверх толстого свитера, побрел домой, к тетке Кате.

Коля и сам потом соглашался: да, не дело, не ремесло так пить, но все равно не мог понять, почему явь и сон неразличимо слились и — самое обидное! — все полезное для Коли случилось как раз во сне. «Должен тут какой-нибудь смысл быть... — думал Коля и скреб толстыми пальцами затылок. — Не может не быть смысла». И долго еще дулся на Самогубова за эту, как он выражался, афёру со сном.

А Самогубов ушел из столовой вместе с Заморозковым, которого привел за его столик Кеша Сутулов.

— Я вам мастера привел, Вениамин Александрович... — сказал Сутулов. — Вы насчет блесны беспокоились... Но вы, кажется, совещание сегодня должны проводить? Вам, наверное, некогда?

Свойство Сутулова становиться тем вежливей, чем сильнее он был пьян, знали в Заберегах многие... Но Самогубов как-то позабыл сейчас об этом, и вежливость Кеши понравилась ему.

— Вот еще... — оттопырив губу, сказал он. — Это, девочки, не вашего ума дело! Как решу, так и будет.

— Совершенно правильно, Вениамин Александрович! — поддержал его Сутулов. — Очень вы верно заметили, что если эти начальники сюда прилетели, чтобы ваше мнение выяснить, то не отвалятся у них ноги и домой к вам зайти. С какой стати вы куда-то идти должны?

Неизвестно, то ли импортные градусы так действовали, то ли тяготение земное изменилось, но Самогубову, который не пил сегодня ничего кроме пива, показалось вполне резонной мысль, высказанная Сутуловым, и он решил, что и правда успеет еще насовещаться на своем веку...

Так вот и сложилась компания по изготовлению блесны, и, надо сказать, дорого обошлась эта блесна Самогубову. Сутулов сразу потребовал две бутылки портвейна, чтобы замочить договор.

— Хозяин угощают! — объяснил он козлу. — Вы понимаете это, Борис Георгиевич?

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛЕСНЫ

Ваня Павлович Заморозков объявился в Заберегах в те давние времена, когда дипломом называли даже удостоверение электрика второго разряда, которое показывал Лукерьин брат, приезжавший в отпуск.

— Дипломированный он! — рассказывала тогда Пешнева с крылечка посповского магазина. — Електрик. Все верхнее образование постиг!

Вот тогда-то и появился в поселке механик Заморозков. В отличие от Лукерьиного брата у него не было даже и удостоверения электрика, но зато имелась справка, в которой черным по белому было написано, что механик Заморозков И. П. первым проголосовал в день выборов. И, конечно, никто не рискнул требовать у Заморозкова остальные удостоверения. Ведь подобное любопытство вполне можно было расценить как недоверие к избирательной комиссии, выдавшей Заморозкову И. П. такую справку. Впрочем, никто и не требовал. И правильно. Тем более что худо ли бедно, но Заморозков в первый же день отремонтировал часы Елистрата Петровича, которые тот привез с войны. И пилорамы не испугался новоявленный механик. Во всем разобрался, все наладил, и часы у Елистрата Петровича стали ходить, и пилорама стала бревна пилить, и вообще столько хороших дел произошло в Заберегах, что как бы даже и сама здешняя жизнь не то чтобы, конечно, лучше, но сноснее как-то сделалась.

Когда же провели в поселок электричество, а это вскоре после полета Гагарина в космос случилось, наступил звездный час и для Заморозкова. Раздобыв самоучители, Ваня Павлович не только электротехнику, но и саму электронику в совершенстве постиг — ремонтировал телевизоры лучше, чем в районном ателье. И тут даже недоброжелатели, которых у любого человека хватает, вынуждены были признать его талант. И так пошло дело, что Зинаида, жена Заморозкова, уже и сосчитать не могла все совместительства своего супруга. Но потом почувствовал Ваня Павлович, что и его обкладывают. То ли специалистов больше развелось, то ли техническое знание в цене упало, но пришлось расстаться с одним совместительством, потом с другим, и сейчас, можно сказать, Ваня Павлович вообще без работы остался — только в трех местах и числился он: электриком на подстанции, учителем труда в школе да еще техником в больнице... Правда, когда придумал он, как переделывать стиральные машины для скоростной заварки браги, его пошатнувшийся авторитет начал восстанавливаться, но кроме славы — увы — великое открытие ничего не принесло ему... Обжимали Ваню Павловича, со всех сторон обжимали. Поэтому и стал он в последние годы очень сильно задумываться.

— Понимаешь! — обнимая Самогубова, сказал Ваня Павлович. — Волны, парень, это и есть волны. Волна тебя поднимет, аж до небес, волна тебя и опустит.

— Куда?

— В ларек волны нас опускают... — услужливо пояснил Сутулов мысль Вани Павловича. — Товарищ Заморозков говорят, что нам в магазин надо зайти, если вы, конечно, Вениамин Александрович, не передумали блесну делать...

— А-а... — сказал Самогубов. — Ну да... Конечно, надо зайти.

— Ученые все... Аспиранты... — пробурчал Заморозков, намекая на долгие годы, проведенные Кешкой в стенах различных институтов, однако останавливать Самогубова, направившегося к ларьку, не стал. По опыту знал Заморозков, что вино весьма способствует напряженной мыслительной работе, что совершается в нем.

Рэбовские мастерские начинались сразу за рухнувшим забором сутуловского огорода. Здесь, возле кузницы, стояла школьная лошадь Андромеда. Роняя прозрачные нити слюны, безучастно смотрела она на поднятый в доки и покинутый всеми буксир «Лиза Чайкина». А в пространстве между старой школьной лошадью и довоенным буксиром — стучали молоты, лязгали цепи, хрипела пилорама. Часов пять назад, когда пронеслась по поселку весть о восемнадцатиградусном пиве, мастерские в полном составе рванули в столовую, и теперь, когда выносили оттуда во двор пустые ящики, в мастерских стучали и лязгали, догоняли упущенное время, завершая задержанные шабашки.

Хмель по дороге немного развеялся, но Самогубов стоял в расстегнутом пальто, тяжело обвисшем на его плечах от двух бутылок, засунутых в карманы, и не вполне ясно понимал, почему он не на совещании, на котором должен быть, а здесь, в мастерских, и чего хочет от него сварщик Лешка. В брезентовых брюках — одна штанина вправлена в сапог, другая прожжена и болтается навыпуск — тот стоял перед Веней и, усмехаясь, смотрел на него.

— Вы за вино не полтинником ли рассчитывались, Вениамин Александрович? — озабоченно спросил Сутулов, наблюдая, как роется Самогубов в карманах. — Вы мне фугасы передайте. Я подержу...

Но и двумя руками не удалось ничего нашарить в карманах. Полтинника не было, не из чего было делать блесну.

— Надо в ларек бежать... — невозмутимо сказал Ваня Павлович, усаживаясь на кислородный баллон и аккуратно пристраивая возле ног семьсотпятидесятиграммовые бутылки с вином. — Давайте с Сутуловым и сгоняйте, а мы тут подождем.

— Может быть, вы, Вениамин Александрович, с Борисом Георгиевичем сходите? — не отрывая глаз от бутылок, спросил Сутулов. — У меня нога чего-то не того...

— Того у тебя нога, того...— безжалостно сказал Ваня Павлович.— Ты, Иннокентий Сергеевич, не беспокойся. Мы тут сидеть будем, вас ждать.

Наступал вечер. Стихал шум в мастерских — рабочие расходились по домам, и в наступившей тишине различались и голоса за рекой, и крик ворон в больничном саду.

Темнел заречный лес, к самой воде прижимавший дома. За лесной биржей, на той стороне, мрачно поднималась скала Карьешка.

Почти у воды в скале чернела амбразура, а наверху, завершая скалу, стоял дом Клепикова.

— Слушай! — сказал Лешка, вставая. — По-моему, они уже нализались где-то... Не буду я больше ждать.

— Может, и нализались... — миролюбиво согласился Заморозков. — А может, и ты потянешь, согреешься?

И он взболтнул остаток вина в бутылке.

— Да ну тебя! — ответил Лешка и начал сматывать шланги.

Заморозков пожал плечами и сделал еще глоток из горлышка.

— Хороший портвейн Веня взял... — пожевав губами, похвалил он. — Я вот чего, Леша, думаю, сколько я уже вина выпил, сколько начудил, а ничего раньше не брало. А теперь пошла волна на убыль — и тут хоть пей, хоть не пей, а все равно никуда не денешься. Вот и непонятно мне, неужто все только и есть, пока волна тебя поднимает? А как кончится она, так словно тебя и нет уже, и не было...

— Ты бы не пил больше... — посоветовал Лешка.

— Дак понятно, надо людей дождаться... — Ваня Павлович отставил в сторону пустую бутылку. — Только я так думаю, что все равно неправильно это. Вон я по радио-то слышал, говорили. Будто какую-то мошку потравили ядохимикатами... А из-за этой мошки птичка, которая ее клевала, вымерла, а из-за птички зверек. В общем, есть предположение, что все население той страны скоро того, вымрет, значит...

— Ну и что? — спросил Лешка, убирая смотанные шланги в пустой шкафчик трансформаторной будки.

— Народ жалко... Я так предполагаю, что таким жучком любой человек может быть. Только пропадет кто, а там, глядишь, никого и не останется. Тут ведь что, Леша, главное... Если на волнах движемся, то главное, чтобы опора какая была. А ее нет... Вот поэтому и может все кончиться...

Лешка откручивал сейчас манометры с баллонов и ничего не ответил Заморозкову, да Заморозков и не ждал ответа. Он смотрел на тихую, текущую рядом реку, на тени, что, сгущаясь, скользили у берегов, на сливающийся в черную полоску зареченский лес. Уже зажигали огни, и в клепиковском доме на вершине скалы тоже вспыхнули окна. Еще Заморозков смотрел на лицо Лешки, и ему казалось, что оно смутно напоминает ему лицо прежнего начальника заберегской пристани Петра Петровича Ершова... Хороший был мужик, не грех и помянуть его...

И он сосредоточенно принялся раскупоривать вторую бутылку.

Уже ушел домой Лешка, а Заморозков сидел на берегу, тянул из горлышка вино и все глубже погружался в сумерки воспоминаний, в то далекое время, когда приехал в Забереги. Славные были годы, если вспомнить... Голодно, тесно, а все ж жили, и когда дело доходило до артельной работы — работали... Сообща, артелью строили пристань. И Петр Петрович Ершов ходил плотничать, и Аркадий Павлович Свиридов, и Клепиков — бравый еще в ту пору паренек в офицерской гимнастерке — все работали. А сейчас как жизнь развела? Эх...

Заморозков махнул рукой, пытаясь сосредоточиться на мысли, что поманила его и пропала вдруг... О чем он думал? Опора... Сваи, которые они ставили... Странно... Исчезла мысль, словно ее и не было. Заморозков посмотрел в сторону Богачева, где жил, но не пошел туда. Пошатываясь, встал и зашагал в поселок. Захотелось посмотреть на те сваи. Почему-то Заморозков решил, что, как только увидит их, так сразу и вспомнит мысль. Так он и оказался на пристани. Осторожно спустился на еще крепкий здесь лед. Потрогал рукой темную, прямо торчащую изо льда сваю. Которые он ставил? Эту, что ли? Или, может быть, ту?

Осторожно двинулся в темноту и тут-то и вспомнил все. Да! Вот что ему тогда мелькнуло: опора стоит, а человек, который ставил ее, уже переломился, умер то есть...

Улыбнулся Заморозков, прижимаясь к обледеневшей, но все еще крепкой свае, но сразу же погасла улыбка. Темно стало вокруг — потому что в неведомую глубь вела эта мысль. Стало страшно и холодно, как бывает, когда, распахнув дверь из теплого дома, встанешь на пороге...

— Волны... — пробормотал Заморозков. — Волны...

И тут что-то темное пролетело сверху и упало на лед.

Заморозков, холодея, шагнул туда, но это, темное, оказалось обыкновенным спасательным кругом. Как он только свалился сюда? Что означало его появление?

Заморозков удивленно поднял голову, и тут другой круг больно ударил по плечу. Инстинктивно Заморозков прикрылся руками, а спасательные круги летели и летели сверху, и не было спасения от них, а наверху гремели доски настила, сливаясь, гудели там голоса, толпились люди... Зажимая рукою поцарапанную спасательным кругом щеку, Заморозков покорно опустился на лед и закрыл глаза.

Он не помнил, как вытащили его наверх, как что-то расспрашивали у него строгие начальники, как он остался один и поплелся домой... Не помнил... Убаюкивая, несли его тихие волны, которые еще не кончились пока для него...

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Полчаса перебирал Самогубов в ларьке рассыпанную по прилавку мелочь, но своего полтинника так и не нашел. По совету Кешки Сутулова он купил еще бутылку и вместе с козлом отправился домой. Но Вера козла не пустила в дом, и, обидевшись, Кешка ушел. Самогубов не сразу сообразил, что уходит тот с бутылкой, а когда это дошло до него, он обиделся на жену. Выпятив губу, сидел Самогубов у стола на кухне и слушал ворчание жены, дескать, опять не поменяли баллоны, в старых вон уже кончается газ. Было жарко — рядом приготовления шли большие, топилась русская печь.

— Чего насовещали-то сегодня? — вытирая кистью руки пот со лба, спросила Вера.

— Я блесну хотел сделать... Не ходил на говорильню эту... — хмуро ответил Самогубов и как бы невзначай спросил: — У нас там, девочка, ничего выпить нет?

— Сейчас я тебе дам выпить! — пообещала Вера. — Чтобы ты совсем нализался...

— Эт-та ты зря, девочка! — нахмурился Самогубов.

Жена, однако, перетерпела его хмурость, вернее, за делами и не заметила ничего, и Самогубов встал. Обдумывая, идти или не идти ему к Кешке, вышел на улицу. Оглянул по-хозяйски двор и принялся складывать в поленницу разбросанные возле сарая поленья.

— Ты совсем с этой водкой одурел, да? — выскочила на крылечко Вера. — Ты бы еще уборную шел чистить в новом костюме!

Веня матюгнулся и запустил поленом в пробегавшую мимо курицу. Та, растопырив крылья, отчаянно кудахтая, отскочила в сторону.

Самогубов прошел в дом и улегся на оттоманке, над которой висели крест-накрест ружья, а над ружьями — прямо по центру — свадебная фотография.

В боковушке готовила уроки Наташа, и Самогубов, лежа, смотрел на дочку, ему было приятно, что вот старается, учится она... С этой мыслью незаметно и заснул, и спал, пока не начали собираться гости.

Фридман пришел на день рождения, когда все уже сидели за столом. Олег Яковлевич опоздал на полтора часа, но все равно обиделся, что его не подождали. Виду, однако, не подал. Только, когда садился

за стол, спросил как бы безразлично, адресуясь к Самогубову: «Ты чего, Веня, на совещании не был?» — «Блесну делал, Олег...» — «Блесну?» — «Ага, блесну...» — и, подняв свою рюмку, Самогубов сказал:

— Ну что? Поехали, девочки?

Ехать оказалось совсем близко... И, наверное, в этот вечер просто бы напились все, как это часто бывает в Заберегах, и ничего примечательного не случилось бы, но... Все испортил Елистрат Петрович Терехов.

В самый неподходящий момент, когда под влиянием выпитого мягчеет душою и добреет человек, когда любовь к ближнему, сбрасывая шелуху расчетливости, резонов и выгод, ширится и ликует, он бестактно спросил: как же теперь народу в Заберегах жить, особенно тем, которые на пенсию собираются, если работы не будет?

Фридман нахмурился. Вот этого он не любил. Вот этого не надо. Не надо на жалость давить. Каждый как умеет устраивается. И еще он подумал, что очень даже правильно он не пригласил Терехова на совещание. Елистрат Петрович и там бы на жалость давить начал... Вслух же Фридман сказал другое. Он сказал, пренебрежительно усмехнувшись, что, конечно, пенсии дело важное, но ради пенсий держать здесь пристань не стоит. А впрочем, всем, кто захочет перебраться в райцентр, будут предоставлены места в общежитии, и со временем — тут Олег Яковлевич снова чуть повысил голос — со временем он постарается помочь и с квартирами.

— Так нам-то что, тоже в общежитие перебираться придется? — спросила Елена Ивановна, и главврач Прохоров, сидевший рядом с нею, не удержался и засмеялся — ему показалась очень смешной эта ситуация: его квартирная хозяйка, Елена Ивановна, селится в рабочей общаге...

Фридман строго посмотрел на Прохорова, но тот продолжал глуповато смеяться, и Фридман перевел взгляд на Самогубова. Все это ему совсем не нравилось. Как-то интересно получается, если он согласился прийти на день рождения, то разве это значит, что с ним можно обращаться как с ровней?

— При чем тут ваши пенсии?! — раздраженно сказал он. — Тут дело в экономическом эффекте. Государство оказывается в выигрыше, а не мы. Понятно вам это?

И снова строго оглянул присутствующих.

— Да брось ты, Олег! — поворачивая черные колки на гитаре, сказал Самогубов. — Я ж тоже считал. Ни хрена не будет эффекта. Да и что такое в государственном масштабе — плюс минус миллион? Тьфу...

— Хватит вам о работе говорить! — рассердилась Вера. — Каждую весну только и разговоров о пристани...

— Ну! — подтвердил Веня. — Глупое дело.

Он провел пальцами по струнам гитары и сразу, уверенно подхватывая мотив, запела Вера:

По-о деревне, с шумным интересом
Бабы много говорят такого...
Будто Таньку видели за лесом
С комсомольцем Гришкой Казаковым...

Вера похорошела, запев, глаза заблестели, щеки зарумянились, а платье, мешковато пошитое в районном ателье, ожило, сливаясь с гибким и сильным телом. Вызывающе звонко лилась песня, и мужчины, сидящие за столом, отчаянно завидовали комсомольцу Казакову...

— Ну и что? Кому какое дело? — дерзко звенел сильный Верин голос, и Прохоров, зачарованный историей любви деревенской Таньки с комсомольцем Казаковым, весь подался к Вере и ногою нечаянно коснулся ее ноги. Прикосновение обожгло Прохорова, как мальчишку,

но Вера не отодвинула ногу, наоборот, плотнее прижала, и Прохоров почувствовал ее сладкое, дурманящее тепло...

Слух прошел без паруса, без весел:
Будто Танька сильно пополнела...
Будто Таньку комсомолец бросил...

— пела Вера, и глаза ее манили, звали с собой, где нет ничего кроме Таньки и комсомольца Казакова.

Туда, поближе к Таньке, захотелось и захмелевшему Олегу Яковлевичу. Он тоже чуть подался вперед и под столом протянул руку к Верному колену, но не рассчитал и положил руку на колено Прохорова. Тот испуганно отдернул ногу, и Фридман не удержался, навалился грудью на стол, разлил рюмку.

— Эк вас развезло, Олег Яковлевич... — ехидно посочувствовал Елистрат Петрович.

— Бывает... — небрежно сказал Самогубов. Прижимая одной рукою к себе гитару, он потянулся за своей рюмкой и поднял ее.— Ну что, за девочек?

Трезвея, Фридман подумал, что не надо было бы вообще приходить сюда. Тем более утром рано вставать, надо сходить к Питерцеву за рыбой для секретаря райкома.

— Мне пора! — сказал он. — Ты не волнуйся, Веня. Я тебя прикрыл, когда спрашивали, почему тебя нет. Учти только на будущее — нельзя так.

— Кого ты прикрывал? — хмуро спросил Самогубов, наливая себе в рюмку водки. — Если бы я пришел с этими расчетами, хрен бы тебе чего удалось!

Вот этого Фридман не ожидал. Его должны были бы удерживать сейчас, а вместо этого... Он криво улыбнулся и, посмотрев на часы, холодно простился.

Он уже шел по двору, когда из освещенных окон снова ударила песня:

Это бабам попросту завидно...
Знать, они свое отцеловали...

И Фридман попытался усмехнуться высокомерно, словно это совсем и не касалось его, и вроде бы получилась усмешка, но тут, когда Фридман распахнул калитку, дорогу ему загородил черный козел.

— Бе-е... — сказал он Фридману.

А у Самогубовых в тот вечер долго еще не стихали песни. Помолодевшая Вера сидела у стола и, влюбленно глядя на Веню, тоже как-то помолодевшего, пела.

— Какой он кудрявый! — восхищенно сказала Наташа, прижимаясь к матери.

— Иди спать... — ответила Вера дочке, прислушиваясь, настраиваясь на мотив песни, которую завела Елена Ивановна.

Пели у Самогубовых. Даже за рекой было слыхать, как пели.

А Елистрат Петрович тоже захмелел, и тоже пел вместе со всеми, а потом все допытывался у Самогубова, что это за расчеты такие Веня делал...

ЮРОДИВОЕ

Забереги от мастерских до перевоза тянулись редкой цепочкой домов вдоль реки, и только за Выселками намечалась еще одна улица — там строили двух- и трехэтажные каменные дома... От перевоза же поселок расползался в ширину. Двумя переулками: Колхозным и Кладбищенским удалялся от реки и обрывался пустырями перед ле-

сом. Раньше на пустырях стояли каменные дома, но война оставила от них только развалины, которые в послевоенные годы разбирали на кирпичи для печей и фундаментов, а потом так и бросили, пока земля не засосала их в себя. Теперь на этих пустырях летними вечерами, в кочках, в мелкой болотной воде, жалобно кричали кулики...

Зато на северо-востоке поселок упирался в канал и в райцентровский проселок и как бы разделялся здесь — тянулся по бечевнику еще километра на полтора, а на райцентровском проселке вскоре обрывался. Дальше шли кустарники, поле с трансформаторными будками подстанции, потом снова кусты и скрытый в кустарнике аэродром.

Сегодня на аэродроме было многолюдно. Ждали самолета из города, но самолет задерживался. Начальство, дожидаясь его, грелось в вагончике радиостанции, а ребята с самоходок, наладившиеся улететь этим же рейсом, топтались в сторонке, возле березовой поленницы. Чтобы согреться, они тихонько матерились и слушали рассказы Кешки Сутулова.

Чуден и страиен мир!

Про Кешку в Заберегах разговаривали разное. Говорили, что спился он с горя, только никто этого горя, как ни старался, вспомнить не мог — очень даже неплохо у парня жизнь складывалась. Правда, вырос он без родителей, у бабки, но закончил школу с хорошими отметками и сразу, не в пример другим, поступил на дневное отделение института. Неведомо откуда, но обнаружились в нем способности к иностранным языкам, и хотя учиться он ленился, никто не выгонял его из института — давали отпуска какие-то, болезни позволяли симулировать. Из института Сутулов сам ушел. Проболтался еще год в городе, но так и не приткнулся нигде и, когда умерла бабка, вернулся в поселок, словно только бабкиной смерти и ждал.

Мало уже кто помнил, как шел он вечером с автобуса в потертых заграничных портках с тощеньким портфельчиком в руке...

Ходил он тогда по улицам медленно. Может быть, в городе так научился, а может, и правда, из-за болезни какой. Только здоровался вежливо, и хотя сам и не заговаривал, но отвечал всегда обстоятельно: и про погоду, и про виды на урожай в Калнфорнии. Любил подолгу сидеть в столовой, и нетактичные заберегцы первое время пытались разузнать, собирается ли он на работу устраиваться или будет та́к жить — тунеядствовать, как в газетах пишут.

— Не собираюсь пока... — задумчиво отвечал Кешка и медленным движением смахивал со своих заграничных порток невидимую пылинку. Любопытный тогда ощущал всю суетность своего вопроса и, чтобы загладить вину, шел купить Кешке пива. Сутулов принимал пиво величаво, как будто на приеме в иностранном посольстве. Неторопливо отхлебывал и, поднимая от кружки глаза, говорил, что будто бы имеются у него сведения, что скоро по реке пойдут иностранные суда и на пристани появится должность переводчика с окладом в восемьсот рублей...

— Вот туда и определюсь, пожалуй...

Впрочем, иногда говорил Кешка, что якобы собираются весь северо-восток заселить жителями среднеазиатских республик — он сам про это в Москве слышал — и без знания языков тогда пропадешь здесь...

— А пока... — Кешка отставлял от себя пустую кружку. — Пока я подожду немного.

И так он сумел себя поставить, что за два года жизни в Заберегах никто и не побеспокоил его. Придумывали, правда, разное. Одни считали Сутулова корреспондентом газеты, присланным разведывать забeрегские беспорядки, чтобы потом в фельетоне вывести на чистую воду всех начальников.

— Разоблачит он их, шимозеров! — говорили эти жители.

Лукерья же, однако, имела свою точку зрения на сей счет. Она

рассказывала, что утром выходит Кешка из дома на пустырь и все ходит, ходит, нюхает разные цветочки.

— Не иначе как знахарь он! — говорила она и для убедительности закатывала глаза. — Бабка-то ведь тоже у его колдунья была.

И так Лукерья была убеждена в своей правоте, что даже носила к Кешке курицу, которая не в гнездо неслась, чтобы заговорил он ее. Сутулов заговорил курицу за трешку, но вскоре эту курнцу задавил своим грузовиком Коля Рощин.

А вообще жил Сутулов в Заберегах очень тихо. И когда рабочие из мастерских проходили мимо его дома, ничего особенного они не замечали. Так никто и не заметнл в Заберегах, что совсем спился парень. Только когда принялся Кешка пропивать вещи из дому, попробовал было вмешаться сердобольный начальник милиции Свиридов, но напрасно взялся он трудоустроить Сутулова, боком это вышло ему. В тот же день рассказывал Кешка в столовой, что будто бы в отделение милиции срочно потребовался переводчик с персидского языка, и хотя он, Иннокентий Сутулов, специализировался по арабским языкам, но именно его приглашают занять эту должность.

— Я отказывался, конечно... — задумчиво рассказывал Кешка. — Но Аркадий Павлович так настаивал... Сказал даже, что, если откажусь, привлечет как тунеядца. Вот и приходится соглашаться... Хотя персидский? Нет, это совсем не мой профиль...

И долго еще донимали Аркадия Павловича доверчивые заберегцы, недоумевающие, зачем это потребовался в поселке переводчик с персидского. На всякий случай, чтобы дело не дошло до района и не спрашивали там, зачем Аркадий Павлович обзаводится переводчиками с санскрита, Свиридов перестал донимать Кешку вопросами трудоустройства, отступился от него, тем более что вскоре Кешка сам за ум взялся. Определился учительствовать в вознесихинскую восьмилетку по иностранному языку и литературе. Там, в леспромхозовском поселке, дали ему квартиру, там он завел себе козла и споил его... В общем, прочно прирос к новому местожительству, хотя и Забереги, конечно, не забывал.

Объяснял Кешка, что дачу — так он теперь свой заберегский дом именовал — проведать приходит.

— Как бы не сперли чего... — озабоченно объяснял он Аркадию Павловичу. — На милицию-то ведь теперь мало надежн...

Правда, что можно было спереть в этом доме, Кешка и сам бы не ответил, но в Забереги наведывался регулярно. И, как правило, не однн, а со своим козлом, который якобы отгонял от него на лесной дороге недобрых людей.

Вот и сегодня с черным козлом приперся он на аэродром.

Борька стоял в стороне от компании и, встав на задние ноги, обгладывал с мачты недоошкуренную кору. Антенна тряслась, и радист время от времени выбегал из вагончика и матерился.

— Борька! — стыдил козла Сутулов. — Ну ты бы хоть начальников постеснялся... Что они в Ленинграде про тебя рассказывать будут? Что я не кормлю тебя, да?

Козел, однако, не обращал на его укоры внимания, продолжая заниматься своим делом.

— Не... Никакого у тебя стыда нет! А я ведь, можно сказать, только и живу... — Кешка замолчал вдруг, его взгляд упал на модные полуботинки моториста с «Корсакова». — Ты переобувайся уже, чего мерзнуть-то...

— В чего переобуваться? — мрачно спросил моторист. — В носки, что ли?

— Да ты что?! Валенок, что ли, не взял?!

— Куда в городе в валенках?

— Ну, если ты в этих ботиночках полетишь, то и носки тебе в

городе не потребуются... — сказал Кешка и, повернувшись к Борьке, снова строго прикрикнул на него.

— Да ну... Чего страшного-то?

— Да ничего, конечно! — успокоил его Кешка. — Просто, слышали, может, в прошлом году практикант один летел. Так ампутировать, говорят, ему пришлось ноги. Хорошо человеку. Еще вся жизнь впереди, а уже на полном государственном иждивении.

— Да ну... Люди-то летают...

— А я что говорю?! — возмутился Кешка. — Конечно, летают. Вон мужик вознесихинский два года назад летал... Ботинки по дороге потерял, пьяный был, и то ничего. В Ленинграде купил себе тапочки спортивные, так и вернулся в них. И все ничего. Он этой осенью только заболел. Бензопилой палец отхватило...

Моторист почесал в затылке.

— Да ну... — сказал он. — В магазин-то все равно не успеть...

— Чего там, — откликнулся старпом с «Шуи», — Кешка слетает...

— Не-е, не успеет...

— Говорите больше, — сказал Кешка, — тогда точно не успеть будет...

Кешкины слова и решили дело. Все зашевелились, доставая трешницы, и скоро Кешка исчез в низкорослом кустарнике, отделявшем аэродром от Заберег.

До Заберег даже и неторопливым шагом ходьбы всего минут на двадцать, но прошел уже час, а Кешка не появлялся. Пароходные заволновались, тем более что, тарахтя, вынырнул из-за верхушек деревьев самолет и начал заходить на посадку.

— Проходимец! — ругался на Кешку моторист с «Корсакова». — Шимозер паршивый!

Мог ли он знать, что Кешка уже давно вернулся и сидит сейчас, притаившись за поленницей. Одной рукой он прижимал к груди бутылки, а другою — обнимал за шею козла. Кешка хотел устроить сюрприз и незаметно прокрался за поленницу, но, услышав нехорошие разговоры про себя, обиделся и решил не выходить. Поглаживая козла, совсем пригорюнился он.

Уже залезли кредиторы в фанерное брюхо самолета, уже стало плохо слышно, как матерится моторист с «Корсакова», — видимо, пилот закрыл дверку, а Кешка все еще сидел за поленницей и горевал. И только когда заревел двигатель и, поднимая снежную пыль, завращались лопасти пропеллера, когда побежал самолет по взлетному полю, понял Кешка, что нехорошо из-за своей пустячной обиды оставлять людей без выпивки. Поднявшись, выбежал он на взлетное поле, и пароходные видели его — такого близкого и недоступного — со сверкающими на солнце поллитрами в вытянутых вслед самолету руках. Сутулов побежал даже, раскинул в стороны руки, словно и сам хотел взлететь вслед за самолетом, но не смог... С тоскою смотрели моторист с «Корсакова» и старпом с «Шуи», как стремительно уменьшается Сутулов. Вот и все, пропал он вместе со своим черным козлом за верхушками деревьев. Набирая высоту, поднимался самолет в небо.

А лететь, это Кешка правильно сказал, было холодно. До Ленинграда все вымерзли.

Кешка не знал, что за его появлением из-за поленницы наблюдает с проселка Самогубов. Самогубов торопился на аэродром, чтобы, как и советовала ему Вера, поговорить с начальником пароходства... Но перед тем как идти на аэродром, он заглянул к соседу, Елистрату Петровичу Терехову, и тот предложил похмелиться. Так что же, Самогубов должен был обидеть соседа? Нет. Не мог он обидеть человека... Он сидел, пока не добили всю бутылку. Говорили о Фридмане, о том,

что двадцать должностей пропадает в поселке. «Двадцать восемь...» — поправил Веню Елистрат Петрович. Ну тем более... Двадцать бы еще пережили, девочки, а двадцать восемь, нет, туговато придется... Народ-то с хозяйствами весь, куда в общежитие лезти? А некоторые и пожилые уже. Перед пенсией бы хорошую зарплату надо, а теперь что? Соси, как говорится, лапу... — Оно, конечно... — бормотал Елистрат Петрович. — Тем, на пенсию которые выходят, хуже всех. И так одни шимозеры кругом, а тут еще и пристани не будет. Вот нехорошо, как Фридман затеял. Ты бы, Веня, не скрывал от начальства правды... — Какой правды? — Ну расчетов своих... — А, этих-то? — Этих... Давай мы их вот с письмом-то тут и упакуем. Воно оно у меня тут, написанное лежит. А ты и снесешь на аэродром, начальнику и вручишь прямо в руки...

Самогубов хотел было отказаться, но обижать соседа не хотелось, и он кивнул. Правда, за тем задушевным разговором на аэродром он опоздал. Пришел, когда самолет с начальником пароходства уже взлетел.

Зато увидел Самогубов, как прячется за поленницей Кешка Сутулов.

— А-а... — не смутился Кешка. — Ты... А я, Веня, вот с ребятами ладил выпить. Сколько уже раз они меня угощали. Ну, думаю, дай тоже их угощу. Только вот, — лицо Сутулова стало печальным, — опоздал...

— Ага... — кивнул Самогубов. — А мне показалось, что ты за поленницей сидел.

— Это с похмелья у тебя, Веня... — сочувственно вздохнул Кешка. — У меня тоже, если не похмелюсь, галлюцинации бывают. Одно время я даже думал, может, я прорицатель какой, а выпьешь — все проходит. Ты случайно закуски-то не захватил из дому?

— Нет...

— Жалко, — сказал Кешка. — Я думал, ты догадаешься, сообразишь насчет закуски. Думал, сядем с тобой, выпьем как белые люди.

— Дак ведь можно и так выпить... — неуверенно проговорил Самогубов.

— Можно, — согласился Кешка. — Конечно, можно и так, если на халяву. А когда свое, сам понимаешь, хочется, чтобы культурно...

— Да брось ты! — сказал Самогубов, и Кешка понял, что не уйти ему сегодня с бутылками. По себе знал, что от недопившего человека не уйдешь просто так. Он вздохнул и, зайдя за поленницу, опустился под кустом на чурку. Самогубов, подтянув на коленках брюки, присел рядом на корточки.

— Ты поосновательней устраивайся! — сказал Кешка. — Не видишь, в какую компанию попал? Борька у меня граммульку пропустит, и весь поселок готов на рога поднять.

Самогубов покосился на стоящего рядом козла и, хмыкнув, пересел на чурку. Подложил на нее, чтобы не испачкать костюмные брюки, пакет с бумагами, в который они с Елистратом Петровичем упаковали и Венины расчеты.

— Ну, поехали! — сказал Кешка, вытаскивая из куста мутноватые стаканы. — Потяни немножко, а то смотреть на тебя больно. Скоро тебе уже летающие тарелки мерещиться будут.

Одну бутылку так и выпили на похмелку. Вторую постигла такая же участь. А третью пыталась отнять у Сутулова Лукерья взамен той трешницы, которую она ссудила Кешке за задавленную Колей Рощиным курицу. Лукерья зачем-то ходила в Березовку и, увидев пьющих мужиков, решила восстановить справедливость. Бутылку ей, понятное дело, не отдали, но зато Кешка очень подробно растолковал, чем отличается инфляция у нас от инфляции в странах Запада, измученных

хронической безработицей. Причем говорил так вдохновенно, что Лукерье начало казаться, будто она понимает его.

— Пьяницы вы! — сказала Лукерья. — Вся совесть пропита, вот и придумываете свою инфляцию.

— Ладно, бабушка! — сказал Кешка. — Про борьбу за трезвый быт я вам в следующий раз расскажу!

И побежал догонять своего козла. Заторопился вслед ему и Самогубов.

Лукерья же долго еще смотрела на спешащих за козлом мужиков, и все не могла понять, что же занимает ее в этой столь обычной для Заберег картине...

Потом она подобрала две пустые бутылки, спрятала в сумку и только тут заметила на чурке намокший пакет с бумагами. Его Лукерья отдала встретившемуся ей в поселке Фридману.

Фридман очень обрадовался находке и долго благодарил Лукерью, что она обратилась с этими бумагами прямо к нему.

Третью же поллитру, которую удалось отстоять от Лукерьи, Кешка выпил вместе с Самогубовым у себя на даче, но потом позабыл про это, и ему стало казаться, что спрятал он бутылку в снегу по дороге между Заберегами и Вознесихой, и всю весну ходил искать ее, но так и не нашел. И поскольку после «пропажи» бутылки начались у Самогубова серьезные неприятности, усматривал в этом Кешка мистическую связь.

— Я сразу понял, — рассказывал он. — Раз бутылка этаким нечеловеческим образом пропала, значит, нехорошее начнется с Веней. А с другой стороны, как же иначе? Ведь если допустить, что со всеми бутылками такие казусы начнутся, тогда что? Ведь бутылок не напасешься...

И мужики, которым он объяснял это, согласно кивали головами: нельзя допустить такое, никак невозможно.

Глава вторая

АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ

В этом году зима как вцепилась в Забереги, так и не разжимала уже своих ледяных когтей... Три месяца выл ветер, палил, разрывая бревна, мороз, скрипели, охали связи, и побуревшие от времени опилки сыпались с потолка. Только мартовские оттепели и апрельское солнышко потеснили зиму, растапливая наметенные на задворках сугробы, но и сейчас не сдавалась зима, еще держался по ночам холод, и печи в комнатах топили каждый день.

Сегодня, вернувшись с кладбища, Аркадий Павлович сразу забрался на лежанку. Кряхтя, поворочался там, удобнее устраивая в добром тепле свое грузное тело, потом вытянулся на горячих камнях и замер, прислушиваясь, как тает скопившаяся в груди стылость.

Всю свою жизнь проработал Аркадий Павлович в поселковой милиции. Менялось начальство в Заберегах, менялась молодежь, только начальник милиции оставался прежним. Неторопливо, как и поселок, рос в звании и по-прежнему, хотя уже давно наработал пенсионный стаж, тянул служебную лямку. Вывел в люди детей, теперь остался только самый младший — Лешка.

Еще с войны, когда Аркадия Павловича царапнуло осколком по виску, один глаз у него сделался веселым, и, зорко следя за своими

подопечными, начальник заберегской милиции в зависимости от ситуации то, подмигивая, наблюдал за их фокусами, то с печалью и состраданием смотрел на них здоровым глазом, подписывая очередное дело для передачи в прокуратуру.

С годами службы Аркадий Павлович настолько освоился с этими пируэтами и верчениями, что и не задумывался даже, на кого и как следует смотреть в данный момент. Он двигался, всецело подчиняясь грозной музыке закона, что звучала в нем, двигался в каком-то диковинном танце, то медленном и плавном, то стремительном с мгновенными, сложнейшими поворотами. И если бы описать всю жизнь Аркадия Павловича, сгустив время так, чтобы зримыми стали фигуры танца, в котором он двигался с начала своей милицейской карьеры, — право же, презанятная получилась бы история. Я же сразу вынужден огорчить читателей — время, которое описывается в настоящей хронике, нарушило слаженность и элегантность движений товарища Свиридова.

Если раньше он жил, настолько сроднившись с законом, что все отступления от него угадывал и не умом даже, а каким-то особым милицейским чувством, то теперь словно уши заложило, и уже не различал Аркадий Павлович музыки, руководящей им, подсказывающей, как и куда двигаться...

Неспокойно стало.

Раньше Аркадий Павлович знал несколько немудреных заповедей: не выносить из избы сор, или если уж нельзя иначе, то выноси каким-нибудь задним ходом; знал, что, хвались не хвались, будто и иглы не подточишь, все равно мастера найдутся и бревном разворотят все сделанное тобой; и еще знал, что работа, особенно милицейская, суеты не терпит, и, торопясь из пожара выскочить, непременно в воде потонешь... Эти знания остались, но и они не особенно теперь помогали.

Еще прошлой зимой Аркадий Павлович заметил, что он все время мерзнет, и от холода не спасают ни унты, ни летчицкая куртка, присланные с севера старшим сыном. Изнутри мерз Аркадий Павлович, и только в этом году понял, что мерзнет от тоски и бессилия. Понял, когда провожали в места заключения сына буфетчицы Дуси Савунькиной — молодого, без царя в голове, парнишку.

История преступления Савунькина — такая простая и обычная для поселка — просто ошеломила своей дикостью измерзшего за долгие годы службы Аркадия Павловича. На день Советской Армии, основательно подогревшись спиртным, поехал Савунькин на танцы в Вознесихинский клуб и долго приставал к девкам, пока местные ребята не выкинули его на улицу. Савунькин обиделся и решил сжечь клуб вместе с драчливыми парнями и несговорчивыми девками. Откуда-то приволок канистру с бензином и, полив углы здания, подпалил клуб. К счастью, все успели выбежать. В суматохе только одну девку немного потоптали, но клуб в Вознесихе сгорел начисто.

Савунькина судили на выездном заседании райсуда. Все время Савунькин сидел молча, даже, кажется, задремывал порою, явно не понимая, зачем все это. Зато когда огласили приговор, вскочил и начал кричать. В милицейский «воронок» его пришлось затаскивать силком. Уже когда милиционеры почти запихнули Савунькина в машину, он оттолкнул их и, высунувшись из «воронка», выкрикнул:

— Подождите, суки! Вот вернусь — и Забереги ваши спалю!

Милиционеры затолкнули его и захлопнули дверку.

— Шутит... — неопределенно, то ли утверждая, то ли спрашивая, пробормотал стоявший рядом с Аркадием Павловичем плотник Петя Пешнев.

— Шутит... — ответил Свиридов, прекрасно понимая, что Савунькину ничего не стоит «пошутить» так. Он и клуб-то подпалил «в шутку»... И еще подумал Аркадий Павлович, что, наперечет зная своих «шутников», ничего он не может сделать с ними, пока не состоится их «шутка», а вся профилактическая работа, по крайней мере у них в по-

селке, пустое слово... Аркадий Павлович не знал, как и подступиться-то к ней... С тем же Савунькиным сколько раз беседовал, а помогло? Нет. Да и какая может быть профилактика, если большинство преступлений, совершаемых в поселке, бессмысленны, как этот поджог клуба? Если почти все самые тяжкие преступления порождены одной только дикостью, сидящей внутри людей? И дикость не от бедности, не от темноты — Савунькин, например, и десятилетку закончил, и жил с матерью, ни в чем не нуждаясь, — а от распущенности, от внутренней пустоты, которую никакой профилактикой не заполнить. Совсем холодно стало Аркадию Павловичу, когда он понял это. Гораздо страшнее, чем прошлой осенью, когда узнал о гибели здешнего рыбинспектора, кстати, так до сих пор и ненайденного...

Кряхтя, повернулся Аркадий Павлович на другой бок — горячие камни прожигали и сквозь разостланную на лежанке старую фуфайку.

Снова встала перед глазами похоронная процессия, красный гроб, плывущий впереди вереницы — все в темном — людей. Плакали женщины, скрипела — зачем ее нарядили сюда? — школьная телега; темные, в белых наличниках, смотрели на скорбное движение людей окна домов.

Похороны всегда невеселое дело, но такой тревоги, такой душевной смуты Аркадий Павлович еще не помнил. И не объяснить ее было тем, что хоронили заберегского старожила Петра Григорьевича Золотцева. Нет... Душевную смуту порождало неприличное для похорон шушуканье. Перешептывались в основном пожилые мужики, так или иначе связанные с пристанской конторой, но остальные тоже внимательно прислушивались к ним.

— Что ж это вы? — не выдержав, спросил Аркадий Павлович у Елистрата Петровича. — Другого времени не нашли пристанские дела обсудить?

— Так видишь ты... — ответил ему Терехов. — Больно уж споро они закрутились. Мы ведь думали, что поговорят опять и на том дело и кончится. Кто ж думал, что всерьез это. Шутка ли сказать: двадцать восемь должностей с поселка сымают!

— Переживете... Кто на должностях, тот с пристанью и уедет...

— Ага! — Терехов скривился. — Кабы так... Это Фридман уедет. А те, у которых хозяйство здесь, вот такие, как я? Мы-то куда денемся?

— Ну пристроитесь куда-нибудь... Вон два цеха от «Красной звезды», говорят, строить у нас будут.

— Ага... Пристроимся, — обиделся Терехов. — Тебе хорошо, у тебя пенсия выслужена, а нам, которым по три года осталось добрать? Не-е... Нам надо вместях держаться. Иначе сомнут.

Он быстро отошел от Аркадия Павловича, и Свиридов только покачал головой. Вот так всегда было в Заберегах. Ждали до самого последнего дня, надеясь, что как-нибудь все устроится, а когда ничего не устраивалось, когда прижимало всех, тогда и началось бурление страстей, махание кулаками после драки... Фридман тоже хорош. Экономика экономикой, но не мешает ведь и о людях подумать. Куда пристроить тех, которые не смогут в райцентр перебраться? Нет... О людях тут как раз и не думано. А сами они...

— Ага! — словно подслушав мысли Свиридова, громко сказала Лукерья. — Забегали, начальнички! Попала вожжа-то под хвост!

Аркадий Павлович строго посмотрел на нее, но сказать ничего не успел: Лукерья уже скрылась в толпе.

Свиридов досадливо поморщился, но тут же сообразил, что и сам, шагая следом за гробом, совсем не о покойном думает, а о посторонних делах — тягостно и неловко стало. Опустив голову и стараясь не слушать перешептываний вокруг, Аркадий Павлович дошел до кладбища, подождал, пока опустят в могилу гроб, и сразу заторопился

домой. Даже на поминки не пошел. Не мог. Так вдруг захолодело внутри, что едва доплелся до своей лежанки.

«Старый уже стал... — подумал Аркадий Павлович. — Совсем старик...»

Свет в комнате не горел, и в теплых сумерках дремотно бормотал репродуктор. Он рассказывал про тунгусский метеорит. Теплая дремота незаметно обволакивала Аркадия Павловича, утишая стыд и обиду. Уже в полусне подумал он, что надо скорее уходить на пенсию, раз таким стариком стал. Будет возиться с землей, будет ходить в лес, а зимой будет греться на лежанке, до одури вбирая в исстывшее тело ее умное, доброе тепло. Может, и отогреется тогда...

Гремела на кухне подойником жена Серафима, а тихий, сладкий полусон уже расползался по телу, и сквозь дремоту слышал Свиридов и голос репродуктора, и ворчание жены, но вмешиваться в эти звуки уже не мог, да и не хотел.

Проснулся Аркадий Павлович от громких голосов за перегородкой. Там, в большой комнате, разговаривал с кем-то Лешка.

— Вот так и сделаем, — объяснял он. — Закрепим корпус в тисках и сразу двумя горелками работать будем. И с наружной стороны нагревать, и изнутри...

— А когда?

Аркадий Павлович наморщил лоб, пытаясь вспомнить, кому из приятелей Лешки принадлежит голос, но не смог.

— Да хоть завтра, — ответил Лешка. — Приходи в мастерскую, и заварим.

— З-здорово! — проговорил невидимый собеседник сына. — Т-ты молодец, Алеша. Здорово п-придумал.

Аркадий Павлович улыбнулся — похоже, что сын разговаривает с главврачом Прохоровым.

Нашарив в темноте разношенные валенки, Аркадий Павлович сел на лежанке и свесил вниз босые ноги. Вытащил из кармана измятую пачку «Беломора» и, выбрав целую папиросу, закурил. Закашлялся от горьковатого дыма.

— Это отец, — раздался сыновний голос. — Разбудили мы его.

— Что же не п-предупредил? Мы, наверное, г-говорили громко.

Аркадий Павлович вздохнул и стал натягивать валенки.

«Надо было в каменные дома перебираться, давали ведь квартиру. Была б и сыну комната... Да все она, — покосившись в сторону кухни, где гремела чугунами Серафима, подумал Аркадий Павлович. — Корову ей, видите ли, подавай, а там хлевов нету».

Он зажег свет и, взяв с этажерки потрепанную книгу, сел к столу.

Разговор в комнате, между тем, продолжался. Только голоса стали тише.

— А т-ты завтра чего вечером делаешь?

— Да ничего вроде...

— Ты ко мне п-приходи. Мы завтра собираемся п-по поводу пристани...

— Вы?!

— Ага! А чего ты удивляешься?

— Странно просто. Тебе-то какое дело до нее? Начальники наши сами просрали пристань, а теперь бегают.

— Ты не п-понимаешь. Не в начальниках дело. Сейчас надо за п-поселок бороться, если ты п-патриот... П-понимаешь?

— Брось! Начальникам должностей не будет, чтобы заподручку с портфелями ходить, а ты патриотизм приплел. У нас с патриотизмом давно свои отношения. Если человек после школы не умотает в город,

это уже позор для семьи. Мать вон до сих пор не опомнится, что я после армии в институт не пошел. Соседей ей, видите ли, стыдно. Вот у нас какой па-три-о-тизм...

— Это д-деревенское у вас... Д-деревенские всегда в город стремились. П-просто вы и сами не заметили, как городом стали. П-поэтому и патриотизм только сейчас п-пробуждаться начинает.

Наступило молчание, и Аркадий Павлович вдруг сообразил, что он и не читает вовсе книгу, а напряженно ждет, что же ответит сын.

— Не знаю... — раздался наконец Лешкин голос. — Ты не местный, ты не понимаешь этого. Я когда после школы не поступил в институт, знаешь, как стыдно возвращаться было. Хоть куда, но только не домой. И ведь знал, что в городе тоже, пока не зацепишься, пока по лимиту там жить будешь,— не очень-то сладко придется, а все равно невозможно было вернуться. Стыдно. Я только в армии и избавился от этого. И когда вернулся, сразу легко стало. При чем тут — деревня у нас или город? Это в каждом такое сидит...

Аркадий Павлович встал и медленно прошел по комнате, остановился у часов — подтянул гирю, потом подошел к репродуктору и прибавил громкости.

— Хлеборобы Казахстана уже приступили к севу... — обрадованно сообщил репродуктор, и Аркадий Павлович выключил его. Потом приподнял на окне занавеску и выглянул на улицу. Желтые квадраты света падали в палисадник, выхватывая из темноты стволы деревьев. Деревья казались дымчатыми.

«Весна... — рассеянно подумал Аркадий Павлович. — А по радио снова мороз сулили».

Заглянула из кухни Серафима.

— Чаю не будешь пить? — спросила она. — Самовар кипит...

— Сейчас иду! — Аркадий Павлович подошел к комоду и взял чистую ученическую тетрадку. Сел к столу. Раскрыл тетрадку и задумался.

— Остынет ведь чай! — сказала Серафима.

— Да иду, иду сейчас, — ответил Аркадий Павлович. Подождал, пока уйдет жена, и старательно вывел на листке: «Рапорт».

ВОТ ТАК-ТО, ДЕВОЧКИ!

Весь день Веня Самогубов ничем не мог заниматься на работе, только сидел и думал: идти ему сегодня к Елистрату Петровичу или нет? И как только он не крутил, получалось, что идти не надо бы... Неловко было перед Фридманом, тот несколько раз заходил к Самогубову и, дружески подмигивая, рассказывал о разных пустяках, которые только другу и можно рассказывать. Как же теперь после этого идти туда?

Но и не идти было нельзя. Елистрат Петрович выпросил вчера тетрадь с черновиками расчетов, и получалось, что тетрадь Самогубов отдал, а сам прийти боится.

— Что с тобой? — дружески спросил Фридман. — Заболел, что ли?

— Да... — ответил Самогубов. — Да, Олег... Что-то я хреново себя чувствую.

И тут же радостно сообразил, что он действительно заболел, а главное — это выход. Он пойдет сейчас, спросит у Прохорова какую-нибудь таблетку, и все будет о'кей, девочки, он заболел, и точка.

Через полчаса Веня уже сидел в больнице, у Прохорова, и, выставив вперед литые сапоги, с интересом разглядывал растущую на полу лужицу. Это стекала с рифленых подошв вода.

Самого Прохорова в кабинете не было. Он только выглянул на секунду из соседнего помещения и, кивнув Самогубову, снова исчез.

— Вы п-понимаете... — доносился оттуда его возмущенный голос. — Ведь без насоса центрифуга работать не будет. К-куда он исчез?

— Это зеленый который?

— Зеленый, Иван Павлович, зеленый!

— Не знаю...

— П-послушайте. Ключи от лаборатории только у вас. Насос был в лаборатории. С-сейчас насоса нет.

— Что же, Евгений Петрович, вы считаете, что я спер его? — обиженно спросил Заморозков.

— Я не знаю, кто его с-спер! Я говорю, что ключи были только у вас!

— А вы не кричите на меня, Евгений Петрович. Если я бумажки не имею о верхнем образовании, это не значит, что на меня кричать позволено. У меня дома свой насос стоит, с подстанции украденный...

— Чтоб з-завтра же был насос! — Прохоров вышел в кабинет. Глаз его дергался. — П-пошли.. — сказал он Самогубову. — Хорошо, что зашел за мной. Т-там, наверно, уже собираются все.

Нет... И в уме Самогубов не держал, что можно так влипнуть. Собрание-то, на которое так не хотел идти он, оказывается, проводилось в целях конспирации у Прохорова! Да... Вздыхая, смотрел Веня, как одевается Прохоров, как уже из двери вернулся к столу и аккуратно зачеркнул в календарике еще один день, прожитый в Заберегах... Не сбежать было.

Обстановка у Прохорова не могла не смутить нормального человека. В углу — почти до потолка! — высились стопы книг, и, когда требовалось вытащить нужный томик, все сооружение обрушивалось тебе на голову. На гвоздях, вбитых прямо в стену, на плечиках, висели рубашки и пиджаки... Казалось, что хозяин недавно вселился в эту квартиру, а между тем квартировал Прохоров у Тереховых уже больше года. Мебели он не покупал из принципа. На его половине стоял лишь топчан, письменный стол с поломанной тумбочкой да еще несколько стульев, которые привезли Прохорову из амбулатории...

Народ начал собираться к семи. Елистрат Петрович принес трехлитровую банку самогона, гости тоже пришли не с пустыми руками, и поначалу трудно было понять, зачем все собрались. Но пили все, пили и время от времени поругивали Фридмана — Елистрат Петрович только что рассказал, что за ковры и холодильники, которые якобы числились на судах и которых на судах в глаза не видывали, придется рассчитываться капитанам, потому что разве с этими переездами соберешь это добро назад? Елистрат Петрович не обманывал капитанов. У него самого висели два пристанских ковра и возвращать их назад он не собирался. Но это у него два... А сколько, интересно, Фридман успел нахватать? Вот бы нагрянуть к нему с милицией да актик бы составить как положено!

С этим никто не спорил. Хорошо было бы прихватить Фридмана. Шутка ли сказать — такие тыщи теперь платить.

— А док? — возмущался Терехов. — Вон Вениамин Александрович прикинул, что не провести ведь будет этот док через шлюзы. А это, ребята, не тысячи...

— Ха! — сказал Самогубов. — Доки там новые надо будет заводить. — Но... — он повертел в воздухе пальцами. — В общем, это не имеет значения, девочки. В государственном масштабе плюс минус миллион...

— Нам-то за ковры не в государственном масштабе платить придется... — хмуро сказал капитан с «Шуи». — Из собственного кармана.

— Это да... — сочувственно кивнул ему Елистрат Петрович. — И для государства разорение, и для каждого тоже.

Но хотя вроде бы и говорили все по делу, Прохоров чувствовал, что все говорят не о главном. Елистрат Петрович совал капитанам какие-то бумаги, просил подписать их, однако капитаны, дружно ругавшие Фридмана, подписываться не спешили. Вот выпить — это пожалуйста, можно и песню спеть, и вообще, не в деньгах, девочки, как говорит Вениамин Александрович, счастье...

Не выдержав, Прохоров встал и вышел в соседнюю комнату. Здесь стояла русская печь, но этой комнатой Прохоров никогда не пользовался, и кроме печи здесь и не было ничего, только большой хозяйский шкаф.. Еще на скамеечке у окна стояло ведро с водой. Прохоров опустился на скамейку. За пыльными стеклами окна расстилался пустырь. Был виден и край больничного сада, где в верхушках тополей в синеватых сумерках вознились вороны. За пустырем темнел далекий лес...

Звенела в соседней комнате посуда, кто-то начал рассказывать анекдоты про Чапаева, кто-то: — А заяц и говорит! — пытался его перебить, Прохоров не слышал этого. Прильнув к окну, смотрел он на полоску зари, дрожащую над еловыми верхами, и ясно представлял себе, как, должно быть, хорошо бродить между деревьями, над сладковатой, талой водой, смеяться от счастья и думать о самом главном, о том, как не страшно пожертвовать собою для этих несчастных, не понимающих ничего заберегцев, как важно, — а не в этом ли и заключается высокая миссия сельского интеллигента? — открыть им глаза, заставить их полюбить свой край!

Кто-то толкнул дверь, и Прохоров быстро оглянулся. Вошел Самогубов.

— Там все кончилось... — сказал он. — Мне показалось, что ты сюда бутылку утащил.

Прохоров усмехнулся.

— Еще есть чего в-выпить... — он вытащил из шкафа спрятанную туда бутылку спирта. — Только р-развести надо...

Прохоров говорил твердо. Он уже знал, что должен делать.

Долго сидели в тот вечер... Прохоров читал захмелевшим капитанам отрывки из разных книжек, где было написано что-нибудь хорошее про Забереги. Размахивая руками, он говорил, что интеллигенция п-поселка должна спасти его, что н-на них и лежит ответственность за его будущее, и, конечно, дело не в коврах, не в должностях, не в доке, которые не п-провести через шлюзы, а в п-порядочности интеллигента...

И хотя туманно он говорил, хотя трудно было разобрать, о чем это, но всем очень понравилось, что вот они и есть настоящие интеллигенты, что на них ответственность, что они не просто сидят тут и нажираются, а жертвуют... Письмо, составленное Елистратом Петровичем, подписали все. И Веня Самогубов вместе со всеми.

— Вот так-то, девочки! — сказал он.

Порывался подписать письмо и Прохоров, но ему не дали. Письмо было от речников, а Прохоров на пристани не работал.

К концу же вечера так разгорелся заберегский патриотизм, что Елистрат Петрович притащил еще одну банку с самогоном, а Прохоров снова и снова рылся в книгах, пока не обрушил их на головы капитанов.

ЗАКРЫТИЕ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

На следующий день Самогубов проснулся до рассвета. Покосился на спящую рядом жену и, осторожно откинув одеяло, вылез из постели. Голова была тяжелой, мутной. Вчера он, похоже, перебрал у Прохорова...

Веня поискал в темноте тапочки, но их не было, и тогда босиком осторожно прошел по холодному полу на кухню, зачерпнул из стоящего у двери ведра ковшик воды. Вода была студеной — сразу заломило зубы.

— Не.., — пробормотал Самогубов. — Не дело так пить... Не ремесло, девочки...

Не зажигая света, прошлепал к столу и, усевшись, поджал озябшие ноги. Нашарил на буфете пачку папирос и закурил. Огонь спички на миг осветил кухню, но спичка погасла, и прозрачная ночная темнота снова хлынула в окно. На улице было тихо, только из-за реки доносился редкий крик петухов.

Затягиваясь папиросным дымом и раздувая крохотное зарево, Веня вспомнил, что Забереги называют — сорок озер на петушиный голос. Говорили, если запоет в Заберегах петух, то слышно его на сорока озерах...

— Глупое дело... — пробормотал он. — Какие тут петухи остались. По пальцам можно сосчитать, а скоро и тех не будет...

Размышляя так, Веня докурил папироску, но ложиться не стал. Зажег свет и, сняв с опечка будильник, поднес к уху — будильник ходил и показывал половину четвертого. Спрыгнул с печки кот Мурзик и, выгибая спину, подошел, потерся об ноги.

Веня думал... Уже давно он все приготовил для охоты, но не было настроения, а сроки поджимали. Еще не зная, пойдет ли он, — Самогубов натянул ватные штаны, свитер и без шапки вышел на крыльцо дома. Дул тугой ветер с озера, он доносил неясный шум, и Веня догадался, что там, на озере, пошел лед.

А кругом была ночь. По небу шли облака, и ни луны, ни звезд не было на небе, только какой-то свет и даже не свет, а так, потускневшие клочья его, ползли по черной земле огорода. Во дворе было светлее. В желтых прямоугольниках света из окон белели раскиданные возле сарая дрова, дальше шла густо-черная тень сарая, и оттуда, когда Веня уже с ружьем проходил по двору, черным шаром прямо под ноги выкатился Урван.

— Вот черт! — крикнул Самогубов. А пес кружился вокруг него, прыгал и не лаял, а тихонько скулил.

— Отстань! Отстань! — кричал Веня, прикрываясь от кобеля локтем, а сам шел к калитке, в проеме которой тускло блестела готовая принять озерный лед река.

Солнце уже встало и золотило верхушки далеких деревьев, когда Самогубов пробирался сквозь заросшие кустарником делянки к глухариному току.

В движениях его появилась упругость и вкрадчивость. Еще издали он расслышал песню и сейчас шел на нее, бесшумно ступая по влажной, ноздреватой земле, замирал, когда замолкал глухарь, и совсем не трудно было стоять на одной ноге с ружьем наперевес — Веня ждал этого любовного содрогания звуков, чтобы снова, таясь за деревьями, красться к цели.

Он уже почти добрался до осины, на которой тосковал, сладким голосом манил подругу глухарь, когда неожиданно смолкла песня.

Самогубов не удержался, ступил вперед, сухо треснуло под ногой, и тут — словно пелена застлала глаза — взлетела с соседнего дерева птица, и Веня мгновенно развернулся туда, навскидку выпалил выстрел за выстрелом из обоих стволов...

Он не попал в птицу, а с осины поднялся настоящий глухарь. Медленно, тяжело взмахивая крыльями, пролетел прямо над головой и скрылся в дальних деревьях, уже ярко освещенных солнцем.

Самогубов переломил стволы и, выкинув из них дымящиеся гильзы, вогнал новые патроны и, не целясь, выпалил по осине, по этому обманному, иудиному дереву,— комья влажной, похожей на глину коры

брызнули по сторонам... Выпалил Самогубов, словно салют давал, и первый раз в жизни — пустым — вернулся из леса. Словно заело внутри, лопнуло, и посыпались, покатились колесики — не собрать.

ШИМОЗЕРЫ

Вот и пошел с озера лед. Синеватые льдины, слепо толкаясь, наползая друг на друга, крошась, плыли мимо Заберег, и возле реки было холодно, зато в огородах задымили костры — жгли прошлогоднюю ботву, и к воде тянуло горьковатым дымом.

Только что закончилось собрание пристанского и орсовского актива, на котором распределяли оставшиеся должности, и из пристанской конторы по набережной медленно шли задумчивые заберегцы.

Отдельно от всех брел Самогубов. После охоты Веня немного поспал, и сейчас голова была совсем чистой, но все равно — голоса людей доносились как бы издали. Всего за два часа собрания из главных инженеров Веня превратился в рядового диспетчера, потеряв больше половины оклада.

Возле перевоза Веню окликнул Коля Рощин. Он сидел на крылечке столовой и старательно плевался, пытаясь попасть в окурок, что дымился на нижней ступеньке. Наискосок, под окнами милиции, стоял Колин грузовик. Рощин ждал парома.

Услышав о неприятности, обрушившейся на Веню, Коля шумно засопел и вытащил из кармана смятую пачку «Авроры».

— Да, жизнь...— сказал он.— А чего? У начальников на все — два слова, и оба правы...

Веня машинально взял сигарету из протянутой пачки и, разминая ее пальцами, полез в карман за зажигалкой, которую ему подарил на день рождения Прохоров. Чтобы зажечь огонек, требовалось вначале открыть портсигар, а потом захлопнуть его.

— Здорово придумано... — разглядывая зажигалку, сказал Коля.

— Да... — согласился с ним Веня. — Оч-чень даже оригинальная вещь, девочки.

Он присел рядом с Колей на крылечко. На пустыре, за милицией, Елистрат Петрович помогал смолить лодку Коммунару Орестовичу. Рядом полыхал костерок, сложенный из разбитых ящиков. Было тихо. Только шуршали на реке льдины.

— Соседу тоже хреново пришлось... — вздохнул Самогубов. — Ему вообще ничего не досталось.

— А зачем ему? — удивился Коля. — Зря он, что ли, с Коммунаром заподручку живет? Мне Заморозков жаловался, что ему придется уходить со школы. Терехова на его место берут...

— Вот как? — Самогубов значительно поднял бровь. — А ты чего думаешь? Орс-то ведь тоже в райцентр переводят.

— Начхать мне на орс... Шофером, что ли, не устроюсь? Да я в леспромхоз пойду, там еще больше платят... Или вообще уеду. Может, там хоть квартиру дадут...

Хорошо было Коле рассуждать. Если бы не висела на Вене семья, он бы тоже подался в райцентр. Как-нибудь да и прожил бы в общаге.

— Пойду я... — сказал он, вставая.

Он проходил мимо сельповского магазина, когда оттуда неожиданно вышел Фридман. Самогубов мрачно кивнул ему, но Фридман дружески улыбался.

— Ты нос-то чего повесил? — спросил он, словно и не знал о Венином продвижении по службе, когда его аж в диспетчера занесло.

— Ну-ну... — Фридман ободряюще похлопал его по плечу. — Выше голову. Сам понимаешь, что при твоем образовании и диспетчером очень даже неплохо...

Самогубов нервно хмыкнул. Получалось, что он еще и благодарить должен приятеля. Только при чем тут училище?

— А ты что думаешь? — угадав его мысли, нахмурился Фридман. — Тебя вообще по сокращению штатов предлагали турнуть. Но я же помню, как мы вместе тут начинали... Главное, ты у меня под началом остался. Пару лет поработаешь диспетчером, а там, глядишь, я и придумаю чего...

Самогубов ничего не ответил. Надо было бы повернуться и уйти, но он не уходил.

— Ну хочешь, — неожиданно предложил Фридман, — хочешь, я тебе вина куплю?

Во дворе тереховского дома, опершись на калитку, стояла Елена Ивановна и жевала ломоть черного хлеба. Муж отправился смолить лодку Коммунару Орестовичу и велел не ждать его к обеду. Елена Ивановна и не ждала его. Елистрат Петрович прихватил с собой бидончик с самогоном...

«Вот ведь дом у меня налаженный... — жуя хлеб, думала Елена Ивановна. — Обед варить не для кого».

И она с обидой думала о сыне, который третий месяц болтался в городе на каких-то курсах, о коте Барсике, загулявшем со своими кошками... Дома, правда, был квартирант, но он сидел на своей половине и что-то там писал.

Елена Ивановна еще издали заметила Самогубова и Фридмана и принялась размышлять, куда это они идут. Она загадала, что если мужики идут выпивать, то она тогда отправится к квартиранту и поговорит с ним...

Даже не остановившись, мужики прошли мимо дома Самогубовых и скрылись в доме Кеши Сутулова. Елена Ивановна облегченно вздохнула и отправилась к квартиранту.

С половины Прохорова был ход и на хозяйскую половину, но Елена Ивановна прошла с улицы. Прохоров сидел за столом и что-то писал. Стопы стоящих на полу книг возвышались за его спиной.

Остановившись в дверях, Елена Ивановна кашлянула.

— Женюшка! — позвала она.

— А? — спросил тот. — Что, Елена Ивановна?

— Вот ты скажи мне, старой... — Елена Ивановна подсела на краешек стула. — Чего это, Женюшка, в книжках-то только про графьев да казаков пишут? Про нашу-то жизнь нет ничего?

— Ну, что вы, Елена Ивановна? Я же давал вам книжку Белова.

— Я про нашу жизнь говорю, про русскую...

— А Белов разве не русский?

— Русский... — неохотно согласилась Елена Ивановна, огорчаясь, что не хочет с ней беседовать Прохоров. — Только чего он про шимозеров все пишет?

— А шимозеры кто? — улыбнулся Прохоров. — Немцы? Турки?

— Зачем турки? — Елена Ивановна обиженно встала. — Шимозеры они шимозеры и есть...

Она ушла, а Прохоров снова склонился над раскрытой тетрадкой, над дневником, который недавно начал он вести.

«Этот поселок... — писал он, наклонив голову, — особенный. Особенность его в том, что здесь коренного населения почти и нет. Многие переехали сюда из Остречин — села, попавшего в зону затопления, некоторые из Вологодской области, из Шимозёрского сельсовета, где разместили после войны какой-то военный полигон. Но остречинцы приехали раньше, приехали сразу после войны в разоренный, сожженный финнами поселок, они и восстанавливали его, а шимозеры появились позднее, и остречинцы относятся к ним с некоторым предубеждением. Много в поселке людей и из других мест, но они как бы и не при-

нимаются в расчет. Остречинцы и их называют шимозерами, хотя эти люди и не знают даже, что такое Шимозеро».

Прохоров задумался и отложил шариковую ручку. Встал.

Прошел по комнате, потом снова вернулся к столу.

«Что происходит в поселке? — подумал он. — Что происходит здесь с людьми?»

Внезапная мысль заставила его снова взяться за ручку.

«Когда заберегцы ругаются на шимозеров... — писал он, — они сами не могут понять причины своего раздражения. Это просто подсознательная реакция на то, что пришлые, чужие люди разрушили прежнюю счастливую жизнь. И хотя и прежняя жизнь, наверное, не была уж такой счастливой, хотя и не переселенцы из Шимозера виноваты в несчастьях поселка, но по главному счету заберегцы все-таки правы. Ибо именно пришлые люди, которым не дорога история этого поселка, его прошлое, и обращаются с этой жизнью так, как будто им не важно, что будет после них. А своей, коренной интеллигенции, которая могла бы правильно направить заберегский патриотизм, в поселке нет...»

ВОЛНЫ ВАНИ ПАВЛОВИЧА

Ключа на месте не оказалось, и Веня растерялся, но Фридман толкнул дверь — она оказалась незапертой. В доме сидел Заморозков, и на столе перед ним стояла початая бутылка водки.

Коммунар Орестович вызвал сегодня Заморозкова прямо с урока. Вызова Ваня Павлович ждал. Еще когда узнал, что пристань все-таки будут переводить, он понял — Коммунар Орестович не оставит в беде своего дружка Елистрата Петровича.

Но хотя и знал э т о Заморозков, все равно обидно было слушать разглагольствования директора, что, дескать, сейчас, в трудную для поселка минуту, все должны поддерживать друг друга, что Елистрат Петрович Терехов возглавил борьбу, и в первую очередь — товарищ Заморозков должен понимать это! — надо поддержать его... К счастью, высокопарную речь Коммунара Орестовича прервала ворвавшаяся в кабинет Шилиха.

— Спасибо, товарищи педагоги! — с порога закричала она. — Выучили молодежь! Большое вам спасибо!

Оказалось, что нынче ночью кто-то сходил по большому делу в трубу к Шилихе, и когда она затопила печь, весь дом наполнился вонью.

— Но почему вы решили, что это наши воспитанники? — возмутился Коммунар Орестович. — Вы что, видели их?

— Здрасьте! — сказала Шилиха. — Неужто взрослый человек на крышу полезет, чтобы посрать. Вы, вы, педагоги, такому выучили!

Трудно было поверить, что взрослый человек полезет на крышу. Коммунар Орестович нервно снял очки и принялся протирать носовым платком линзы. И тут осенило его.

— А может, это из Вознесихи хулиганы сделали! — сказал он.

Мысль эта, как ни странно, очень понравилась Шилихе.

— А и правда ведь, наверное, ихние... — раздумчиво проговорила она. — У их там и учителя все такие... Так что? Жалобу мне на их писать?

— Разумеется! — надевая очки, сказал Коммунар Орестович. — Разве можно такое безобразие спускать?

И он, довольный собой, потер руки.

— Вот! — сказал он, когда Шилиха ушла. — Понимаете теперь,

товарищ Заморозков, что воспитательная работа требует от педагога полной самоотдачи. Видите, как учащиеся Вознесихинской школы себя ведут? Разве мы можем допустить такое? Нет... Поэтому мы и приняли решение пригласить учителем труда Елистрата Петровича Терехова... Надеюсь, вы понимаете, что это не мое личное решение?

Заморозков все понимал. Зуб на него Коммунар Орестович держал еще с прошлого лета, когда к директору приезжала в отпуск жена из города, и Заморозкова угораздило переспать с нею. Случилось это по пьянке и в присутствии самого супруга. Коммунар Орестович, правда, сделал вид, что ничего не заметил, но как же не заметишь такое?

— Понимаю... — вздохнув, сказал Заморозков. — Чего не бывает, Коммунар Нестоялович... Патриотизм, понятно, дело такое.

И хотя Заморозков и сказал достаточно отчетливо, но опять Коммунар Орестович ничего не понял, а повторять оскорбление Заморозков не стал, просто ушел из кабинета директора, ушел из школы, и тропинка — до боли знакомая тропинка! — привела в брошенный Кешкин дом.

— А-а... — оглядывая вошедших, сказал он. — Пополнение...

В доме было холодно, дневной свет едва пробивался сквозь окна, задернутые грязными занавесками, и наполнял комнату даже не светом, а какой-то тоской по свету. В углу стояла большая русская печь и от нее тянуло в полумрак холодом.

Увидев Заморозкова, Фридман поморщился. В его планы не входило просто так напиваться сегодня. Поэтому-то, разлив по стаканам водку, он и не стал пить, только отхлебнул чуть-чуть и снова наполнил стаканы.

— Вот смотрю я на человеков, — сказал Заморозков, — и удивляюсь. Все вроде разные, а все по своим кругам ходят...

— По каким это кругам? — недоуменно спросил Фридман.

— Волны кругами идут, вот и люди также, — пояснил Ваня Павлович. — Ну смотрите. Вот, к примеру, хоть наш поселок взять. Старые люди, например. Тут и Коммунар Орестович, и я, и Свиридов, и Рябинин... Ну да мало ли? И ведь что главное? Мы с Коммунаром, может, терпеть друг друга не можем, а все равно ведь если нас с умом поставить по кругу между другими, то так один в другого переходить будем, что и отличия не увидишь. Вот я и удивляюсь, что этак у меня даже с врагом наикрепчайшая связь получается. Ни он без меня, ни я без него... А не будет кого, так сразу все и станем другими. Вот тут и говори против волн. Все люди разные, а расставишь как положено, и в круг сомкнутся. И пустого места в кругу не будет. Помрет кто-нибудь, а мы все равно притремся друг к другу, и снова замкнется круг. И никуда из него не денешься, не выпадешь никуда. Ну, это нашего призыва круг, которых еще война задела... А ведь и у вас тоже самое. Вот и вы друг с другом не так уж, чтобы очень, а все равно друг без друга не сможете, потому как друг в друге вы... И куда ни посмотришь, всюду эти круги: моложе призыв — меньше круг, потом все шире, пока совсем его не станет. Словно кто-то бросил камень, вот и побежали волны... В ветер, в бурю смешается все, а успокоится, и снова бегут волны... Вся жизнь по волнам устроена, и живая, и мертвая...

Самогубов слушал Заморозкова довольно рассеянно, но ему показались обидными рассуждения Вани Павловича.

— Глупое дело, девочки, — он оттопырил губу. — Что же, и эта чурка, — он кивнул на кругляш, лежащий возле двери, — тоже по волнам устроена?

— Конечно! А ты что думаешь? Смотри! — Заморозков схватил чурбачок и поставил его перед собою. — Видишь круги?

— Ну, — сквозь зубы сказал Фридман. — Годовые кольца

— Кому кольца, а кому и круги! Волны то есть. Бросили семечко,

заколебалась земля — родилось дерево. И все вокруг — волны. Стихия... Трепыхайся не трепыхайся, а все равно своей волны не изменишь. Волна поднимает тебя, волна и опустит, и не денешься никуда! А попробуешь выскользнуть, то так тебя волна закрутит, что ничего и не останется, всю душу вытрясет...

— Не волна я, — обидчиво сказал захмелевший Самогубов. — Не хочу я не сам жить. Вот так-то, девочки.

— Да ты и не жил ведь сам! — перебил его Заморозков. — Ты же, как все, жил, пока поднималась ваша волна... А теперь она на убыль пошла, вот ты и горюешь... А горевать не надо, новые волны придут...

— А я не хочу! И других не хочу. Я сам хочу!

— Разве это зависит от хотения? — грустно сказал Заморозков. — Не... Это ни от кого не зависит.

Самогубов деланно засмеялся.

— А ты... — сказал он. — Богоискатель ты, Заморозков!

— Как это?! — всполошился Ваня Павлович. — Ты не говори пустого-то. Обыкновенный я человек, просто на жизнь гляжу и смысл хочу в ней увидеть.

— Богоискатель! — твердо повторил Самогубов, радуясь, что вспомнил нужное слово, услышанное месяц назад на партучебе. О богоискателях тогда подробно рассказывал Коммунар Орестович. — Камень-то твой кто?

— Который камень?

— Ну от которого волны идут... Интересный он у тебя какой-то... Падает и не кончается ведь.

— Ну-у... — сказал Заморозков. — А я уж испугался... Откуда мне про камень знать. Может, это тунгусский метеорит. Воно по радиво про него говорили. Может, с него и побежали по земле эти волны. А как кончатся, другой упадет.

Веня взглянул на Фридмана, как бы ожидая от него помощи, и даже вздрогнул от неожиданности. Такие лица он видел только у товарищей по охоте. Прищурившись, как будто целясь в какую-то тварь, Фридман смотрел на Заморозкова и нехорошо усмехался.

— А ведь ты дурак, братец, — неожиданно резко сказал он, — а?

— А мы, русские, — спокойно ответил Заморозков, — по большей части все — дураки...

Он покосился на пустую, посветлевшую уже зелень бутылок и встал.

— Постой! — строго остановил его Фридман. — Ты эту дурь-то из головы выброси, лучше загляни ко мне — может, я тебе какую халтурку подкину.

— Дак ведь зайду... — ответил Заморозков. — Чего ж, если руки без дела пропадать будут, разве хорошо?

Он потоптался еще и ушел.

Фридман подмигнул Самогубову и вытащил из портфеля вторую бутылку.

— Вот народец, а? — сказал он. — За деньги отца родного забудут.

— Ну! — срывая с бутылки пробку, сказал Самогубов. — Народ такой здесь...

Фридман хмыкнул.

— А слышал? — спросил он. — Терехов, оказывается, анонимку на меня накатал. Ну что, дескать, ковры там, доки... И главное, подписи где-то собрал, сука.

— Слышал... — смущенно пробормотал Самогубов. Рука его задрожала, и водка плеснулась на стол. — Так чего же... Он же две банки самогона выставил... Не соображали ничего.

— Так ты что? Тоже, что ли, был там?!

— Ну... — Самогубов опустил голову. — Случайно получилось. А потом самогону выпили, совсем ум отшибло. Ты знаешь, он чего-то подсыпает туда... Насмерть бьет со стакана.

— Т-так... — сказал Фридман, и голос его задрожал. — Т-так... Значит, и ты, Веня, анонимку эту подписывал.

— Ну, я же говорю, самогон... Ну чего ты? Ну по пьянке же.

Самогубов заволновался, усаживая разобидевшегося Фридмана. Тот сел. Потом вдруг вытащил из портфеля бумагу, ручку.

— Пиши! — сказал он.

— Чего писать? — вытаращился Самогубов.

— А вот то и пиши, что по пьянке вы это заявление написали.

— Да ну... — сказал Самогубов. — Ну чего ты, Олег, я же и не знаю, как писать.

— Пиши. Я продиктую.

НА ОЗЕРЕ

Клепиков уже вторую неделю жил на озере. Кончался его недолгий отпуск — последние годы Клепиков сторожил мастерские — и уже отчаялся он увидеть свободную озерную воду. Днем то и дело выходил из избушки на берег — озеро сопело, кряхтело, фыркало, но до настоящего ледохода было еще далеко.

В последнюю ночь Клепиков долго не мог заснуть, а когда заснул, увидел во сне войну. Он бежал по полю, вокруг рвались снаряды и некуда было спрятаться от разрывов.

Он проснулся и уже открыл глаза, а грохот не смолкал. Только спустя минуту Клепиков догадался, что начался ледоход. Распахнул дверь избушки, и тугой от сырости ветер, словно живой, ткнулся ему в грудь.

В Заберегах Клепикова звали — полчеловека. И правда, мало чего осталось в нем от того бравого лейтенанта, каким пришел Клепиков с войны. Но голодно, голодно было в поселке, вот и взялся чудом уцелевший лейтенант за промысел.

С утра до вечера не утихала над озером канонада. По три, по четыре баркаса рыбы сдавал в буфеты голодных послевоенных пароходов Клепиков. На рыбу и дом выстроил на вершине скалы, на рыбу и корову купил.

Правда, случались и издержки. Взрывчатки навалом кругом, а бикфордов шнур приходилось экономить. Когда тол первый раз взорвался в воздухе, все обошлось сравнительно благополучно — только три пальца оторвало на правой руке. Зато на следующий раз — пришлось ложиться в больницу. Клепиков уже прыгал на деревяшке, но все равно не мог бросить промысел. И уже не из-за рыбы, не из-за денег, а из-за этих вот бьющих из-под воды белых столбов продолжал он воевать.

Когда случилось последнее, самое большое увечье — изуродованным оказалось все лицо, грудь, когда врачи думали, что он больше не выживет, — и тут не сдался. Оклемался. Начал сетями рыбачить.

Удивлялись в поселке: как он управляется, но Клепиков только отшучивался.

— Удобнее, когда два пальца... — объяснял он. — Так-то бы пять мерзло, а теперь только два. А без железяки просто и не знаю, как бы жил. Такая штука удобная... И рыбу в лодке можно прибить, и опять же не мерзнет никогда.

Шутил, и легче ему становилось. Так и жил — сам никого не жалел и себя жалеть не давал. А однажды вычитал в дочкином журнале про шахтера, который остался без рук и не только не скочеврыжился, а еще и писателем стал, и задумался.

— Насчет писателя враки, конечно, — разглядывая фотографию шахтера, говорил он жене. — Воно и руками-то не всякий сможет книжку написать, тут еще, небось, и способность иметь надо, а все-таки здорово — превзошел человек свое увечье... Карандаш в зубы — и шпарит себе.

Дальше он говорить не стал, а про себя подумал, что и он не хуже. Никогда на иждивении у государства не находился, никому не докучал своими увечьями, а главное — это в наше время совсем непозволительная роскошь — врага держал. Нет, не рыбинспектор был врагом Клепикова. Что рыбинспектор? Врагом Клепикова был смотритель маяка Питерцев.

Питерцев после войны сидел в лагерях и разгар рыбной страды по этой причине пропустил. Но, вернувшись, он принялся наверстывать упущенное такими темпами, что сразу стало ясно — вдвоем с Клепиковым им на озере будет тесновато. К тому же, вернувшись, Питерцев сразу прославился. В связи с открытием ГЭС островок, на котором до войны стояла избушка Питерцева, ушел под воду, зато на этом месте образовалась чрезвычайно богатая рыбой луда. И когда уточняли лоцию озера, луду так и обозначили — «Питерцева».

Из-за луды и началась война. Дважды резали друг у друга сетки, а на третий раз съехались — у обоих ружья заряжены, разъехались — ружья пустые, у Клепикова деревянная нога искрошена, у Питерцева предплечье перебито.

Вспоминая об этом, Клепиков стоял на крылечке избушки, и только темные сосны шатались за его спиной, а впереди скрежетало, дыбилось льдинами погруженное в мрак озеро. Там была жизнь. Клепиков вспоминал ее, и не воспоминания, а просто картины возникали перед его глазами. Он видел холодных, скользких щук, отливающих в шатком рассветном воздухе голубиным крылом; тугое серебро лещей вспыхивало перед глазами; там, в сухом желтом камыше, расставлял Клепиков свои сети; там обгорал от солнца и пота. А сколько было белых ночей, дрожащих над серыми озерными полями,— не перечесть... Нет... Все славно случилось в жизни. Добытчиком он был, а не служащим, и всякому должно хотеться так жить, чтобы и ветер был, и сонное бормотание большой, без края, воды.

Замерзнув, Клепиков вернулся в избушку. Горела на столе свеча, дрожало пламя, и тени метались по стенам, цепляясь за косматый мох, — вздыхал Клепиков.

«Не замогу ездить, — думал он. — Тогда и смерть будет. Сейчас, слава Богу, оклемался от зимы».

Он сидел так и думал, когда на крылечке раздались шаги и дверь распахнулась. Свечу задуло, Клепиков схватился рукою за ружье и тут же различил широкоплечую фигуру, возникшую в проеме двери. Это был Питерцев.

— Ну, пришел я... — сказал он. — Чего звал-то?

— Поговорить надо... — отставив ружье, Клепиков принялся зажигать свечу. Зажег. — Про Свиридова слышал?

— Чего он? — сбрасывая полушубок — в избушке было жарко натоплено, — спросил Питерцев.

— На пенсию уходит. Рапорт уже подал.

— Вот как... А кто вместо него?

— Жиганов... Кто же еще?

Питерцев выматерился коротко.

— Этого еще не хватало! — сказал он. — И так жизни нет, а если еще этого дурака назначат?

— Хреново будет... — согласился Клепиков. — Так что... — он наклонился поближе к Питерцеву, — не зевнуть надо. Нужно своего рыбнадзорщика в поселке посадить...

— А прежний что? — Питерцев внимательно посмотрел на Клепикова. — Думаешь, уже с концом.

— Больше полгода нет, дак куда пропал? — выдержав его взгляд, спокойно ответил Клепиков. — Нету, дак река, значит, прибрала.

— Ну... — согласился Питерцев. — Наверно, потонул. А дело ты хорошее придумал. Надо это дело оформить. У меня кой-какие начальники есть, рыбку любят, при случае и помочь могут, но лучше, чтобы свой человек был. Кого думаешь?

— Не придумал еще... — вздохнул Клепиков. — Посоветоваться вначале хотел.

— Ладно! — кивнул Питерцев. — Будем приглядывать человечка.

Замолчали.

Только дыхание колебало сейчас пламя свечи. Шумно дышал Питерцев. Метались по стенам косматые тени. Думал Питерцев.

— Значит, говоришь, порыбачим еще?

— Порыбачим, даст Бог.

— О луде моей ничего не хочешь сказать?

— А чего о ей говорить? — пожал плечами Клепиков. — Обчее озеро, дак чего на ём приусадебные участки разводить?

— Озеро, конечно, общее... — задумчиво сказал Питерцев. — А луда — моя...

— Название твое. А луда — обчая.

— Смотри сам... — усмехнулся Питерцев. — Ты у нас умный. Если про луду забудешь, целее будешь. Понял?

Теперь задумался уже Клепиков.

Снова заметались по стенам косматые тени.

— Не знаю... — задумчиво сказал Клепиков. — Многого я еще для себя недодумал. Вот, например, мысль есть, а, может, порешить тебя этим летом, а? Ты уж берегись, пожалуй.

— Да... — покачал головой Питерцев. — Осатанел ты.

— Живу помаленьку... — ответил Клепиков.

Питерцев нахмурился. Вот и поговорили. Тут посидеть бы, подумать сообща что-нибудь, ну, пускай не придумать, хоть поплакать, побыть вместе... И придумали бы, и поплакали бы, но невтерпеж стало Питерцеву, захотелось закурить, полез он в карман полушубка — там, в кармане, папиросы лежали.

За папиросами потянулся Питерцев, но Клепикову в неверном шатком свете свечи показалось, что потянулся он за ружьем.

— Ах ты, гадина! — закричал он, вскидывая тулку.

Нет, и Питерцев не растерялся. Кубарем слетел с лавки и, перевернувшись, схватил свое ружье, а потом — не целясь — нажал на курок.

Посыпалось разбитое стекло, свеча погасла, из темноты в ответ полыхнула клепиковская тулка.

— Жив? — спросил Питерцев.

— Жив... — отозвался Клепиков, и Питерцев выстрелил на голос. Этот выстрел оказался удачнее — вскрикнул Клепиков. Питерцев вскочил и, пригибаясь, выскочил из избы.

Клепикову действительно обожгло ухо. Но когда он увидел, что Питерцев выбежал, то позабыл про боль: у него был еще выстрел, и Питерцев уходил сейчас от верной смерти. Застонав от ненависти, метнулся к двери... В метрах двадцати от избушки бежал к лесу Питерцев. И то ли зрение подвело, то ли рука ослабла, но мимо прошла дробь, предназначенная врагу.

— Про инспектора уговор не забудь! — крикнул Питерцев, останавливаясь. — Слышишь, дурак одноглазый?

Шофер Коля Рощин, как и было договорено, заехал утром забрать клепиковскую рыбу и снасти. Он застал хозяина за странным заняти-

ем — тот сидел на ступеньках и, всматриваясь в лужу, обрезал ножом собственное ухо.

Коля долго потом возмущался этим.

— Прямо совсем грузовик осанитарили, — рассказывал он мужикам в столовой. — То побитого вези, то стреляного. Да что я вам — инвалидная команда, да?

Кстати, из этих разговоров и узнал о случившемся Аркадий Павлович Свиридов.

Прошел по Свири последний лед, и совсем тепло стало в поселке. Еще не появились на деревьях листочки, но так тепло, так чисто стало на улицах поселка, что долгими вечерами заберегцы долго не могли уйти в дома, сидели на скамеечках, на крылечках, на бревнах у берега, смотрели на чистую воду и слушали песни из-за реки. Этой весной рекрутов почему-то брали в основном оттуда да еще из вознесихинского леспромхоза, и редкий вечер там не гуляли.

А листья... Листья что ж? Только дождя не хватало, чтобы разбил он набухшие почки.

Глава третья

БОРЬКА ИЗ ГАВДАРЕИ

Вознесихинский козел Борька жил в гавдарее — забранном нестругаными досками пространстве между землей и лестницей, ведущей в орсовскую лавку.

Вчера в леспромхозе давали аванс. То и дело ступени лестницы тяжело прогибались под кирзовыми сапогами, и увесистые хлопья грязи плюхались в гавдарею. Весь вечер шли, никакого покоя не было. А в два часа ночи, когда уже налаживался Борька спать, завалились два «олимпийца». Хорошо еще хоть выпивку принесли, а то местные-то на дармовщинку норовят отоспаться, а потом поминай как звали. До рассвета слушал Борька их разговоры о Москве, об Олимпиаде, сочувственно кивал им, когда спорили они, разрешат ли вернуться в столицу или здесь пропадать оставят, а как допили, бодаться стал — выжил непрошеных гостей.

Худо Борьке похмелье. Рога так болят, что отломать их хочется. Выйдешь на воздух, припадешь дрожащими губами к талой водице, да разве хватит ее, чтобы напиться, чтобы затушить бушующий в козлиной груди огонь?

Борька с трудом оторвался от лужицы, тяжело вздохнул и побрел было по грязной, развороченной лесовозами улочке, но остановился. Некуда было идти, не к кому. Затряс головою козел. Плохо, ой плохо живется в поселке козам. Ленивы здесь люди. Сена и того давно уже не косят, приучают животных кормиться аки оленей северных, которых Борька по телевизору видел. Сошьют фуфайку, чтобы совсем не замерзнуть, и кормись как знаешь тем, что сам украдешь. А куда денешься? Некуда...

Такие вот некозлиные мысли шевелились в больной Борькиной головушке, да и сам он совсем на козла не похож был. Скорее уж на спившегося агронома... Такая же бородка грязным клинышком, такой же высокий лоб, а главное, глаза, вглядывающиеся в свет божий, словно в потемки. Когда зимою наряжали Борьку в кургузый Кешкин пиджачок, тогда совсем пропадало различие, и даже грязь, прилипшая к пиджачку, не могла скрыть Борькину интеллигентность.

Только одна беда от этой интеллигентности. Столько всего в голове, что и не разобрать даже. И все об опохмелке да о тщете жизни...

И кто знает, до чего бы Борька сегодня додумался, но тут, в красных сапожках, прошла мимо Алька Головешкина, работавшая в леспромхозовской библиотеке. Увидев Борьку, улыбнулась, пошла дальше, помахивая вербовой веточкой. Отвлекся Борька от нелегких своих мыслей.

Хоть он и терся всегда возле людей, но не любил их, всех презирал, за исключением Головешкиной да еще Кешки Сутулова. Алька доброй была. Всегда ему на зиму одежку шила, а Кешка, что ж? Кешку козел как товарища любил.

Шла Алевтина по улице, сверкали на солнце сапожки, шел следом Борька и тряс свалявшейся бородой. А навстречу им, от обочины к обочине, валил Сутулов. Увидев козла с Головешкиной, остановился, икнул от неожиданности и тут же, наморщив лоб, стих выдал:

О, вознесихинская Лорелея,
Зачем спала ты с Борькой в гавдарее?

А потом, растопырив руки, попытался обнять девку. Но Алька не растерялась, ловко толкнула Сутулова в грудь, и полетел тот в грязь у обочины. Но не остепенился.

— О, Алевтина! — закричал вслед. — О, роковая женщина! Не для нашего леспромхоза рождена ты со столь высокой душой!

Головешкина не обернулась, пошла дальше, помахивая вербовою веточкой, а Кешка, обнимая за шею козла, заплакал.

— Борька, — говорил он, — Борюшка...

Козел сочувственно вздыхал, пытаясь сообразить, что же ему теперь делать. От Алевтины духами пахло, а от хозяина — водкой. Наконец, опираясь на козла, тот встал, и Борька спиной потерся о его лавсановые портки — так он выпивку клянчил.

— Ну, чего ты, чего? — ворчливо сказал Кешка. — Не видишь, что ли, что сам побираюсь хожу?

Так и объяснились. Тряхнув головой, побежал Борька догонять надушенную Алевтину; вздохнув, пошел своей дорогой и опечаленный Кешка.

А зря...

Потому что, прислушавшись, мог бы узнать кое-что интересное для себя. За гаражом, возле которого происходило дело, громким шепотом переговаривались известные вознесихинские хулиганы — второгодники Васька и Генка.

— Он двойку тебе поставил? — спрашивал Генка.

— Ну, поставил...

— Проучим его?

— А зачем?

— Ну, он же тебе двойку поставил...

— Ну-у...

— Проучим?

— А-а...

Борька в самый раз прибежал на лесовоз, тот уже пары пускал. Почти вся вознесихинская молодежь: и местные, и «олимпийцы» ехали на лесовозе в Забереги.

Заскочил Борька на платформу — девки сразу в сторону шарахнулись, оберегая наряды, а тут еще моторист резко взял с места — совсем просторно козлу стало. Парни заулюлюкали, натравливая Борьку на девок, но он лишь рога опустил и сразу у всех охота шутить пропала.

— Спихнуть его надо, — сказал «олимпиец» Свечкин. — Чего он...

— Смотри, чтобы тебя самого не спихнули! — ответили ему, и Свечкин замолк, понимая всю нелепость своего предложения.

Кое-как расселись. Кто-то из «олимпийцев» включил было магнитофон, но дребезжащую запись было почти не слышно... Тогда местные парни перемигнулись и пропели горласто:

Ах, ты милая моя,
Какая интересная!
Все гуляла, всем давала —
Вышла взмуж честная!

Местные девки, однако, тоже помнили частушки:

Батька пропил мою шубу
Я пропил его кафтан,
Коли мамка заругает,
То пропью и сарафан!

И началось... А дрезина шла уже по затопленному участку пути, и клочья белого пара плыли над талой водой, клубились возле тонкоствольных осинок. Далеко, Бог знает в какие края уносились звонкие выкрики:

Батька точит острый ножик,
Мамка гирьку подает!
Сестра рево́львер заряжает —
На гулянку брат пойдет!

Так и доехали до Заберег, пугая птиц и лосей. Девки сразу по магазинам побежали, а парни с Борькой в столовую — заправиться перед танцами. Там Борька долго взирал на картину Васнецова «Аленушка», впитывая в себя ее сокровенную козлиную правду, пока, наконец, не пожалел его механик с «Корсакова».

— Пей уж, — сказал он, выливая в горло козлу остаток пива. — Пей, животное. Помнишь, как надули меня с хозяином, а?

И тут он рассказал историю с самолетом. История эта приятно развеселила вознесихинцев — все-таки радостно, что свой мужик так ловко заберегских пьяниц провел... Ну и, конечно, Борьке кое-чего перепало. Выпил козел граммов сто, и хорошо ему стало. А тут еще «олимпиец» Свечкин расщедрился. Схватил маленькую и прямо из горлышка стал Борьку поить.

— Брось ты, — пытались его образумить. — Ведь не довезем козла, совсем пьяный будет...

— А! — отмахнулся Свечкин. — Чего там! Гуляй, Борька, гуляй, козел... Выпей за нашу родную Советскую власть!

Ну и пошел кураж. Борька и стекло в двери выбил, и к всеобщему удовольствию буфетчицу Дусю Савунькину на пивную бочку загнал, и семь пирожных с витрины слопал. Хорошо, что Алевтина заглянула в столовую да увела козла на лесовоз спать, а то и не знаю, что бы было. Может, милицию пришлось бы вызывать...

Вдрызг напился Борька.

Когда он проснулся на лесовозе, было уже темно. В синем, прохваченном сумерками ельнике блуждали огоньки папирос, смеялись девушки, горланил магнитофон. Вознесихинцы возвращались с танцев.

Алевтину провожал Лешка Свиридов.

— А дак откуда ты? — смеясь, спрашивал он. — Чего-то раньше я не встречал тебя...

— Я — из Вознесихи дак, — простодушно, подстраиваясь под его игру, отвечала Головешкина. — Поварешкой на судах ходила, дак и не видел.

— А! Знаю Вознесиху, знаю... У вас еще козел там живет.

— Ну, дак... — Алька делала вид, что обиделась. — Только по козлу и знают нас... Прямо горе какое-то дак.

— А вы в Козлобродск переименуйтесь, — острил Лешка. — Дак, небось, вас тогда сразу городом назначат.

За разговорами дойти до лесовоза они не успели. Вознесихинские ребята девок не считают: одной больше, одной меньше — все равно по две на брата получается. Лесовоз гугукнул и скрылся в синеватом перелеске.

Осталась Алевтина с Лешкой в Заберегах.

Крепко напился Борька. Не вымерз и дорогой хмель. Поэтому и не обиделся козел, когда, подкравшись сзади, хулиганы-второгодники Васька и Генка вылили ему на спину ведро автола. Он только головой тряхнул и дальше пошел.

— Ага! — удовлетворенно сказал Васька, провожая взглядом наавтоленного козла. — Теперь он к нему тереться пойдет и весь костюм измарает.

Однако не дошел Борька до Кешки. Встретился ему по дороге милиционер Жиганов. Хотелось Борьке еще выпить, вот и начал он тереться о милицейские штаны.

— Н-но! — польщенно сказал Жиганов. — Я тебе...

И нагнулся, чтобы почесать Борькину спину. Тут-то и ощутил он пальцами вязкий автол. В ужасе бросился к фонарю: новая — о, милицейская мать! — только вчера выданная форма была безнадежно испачкана маслянистыми черными пятнами.

А учитель Кешка Сутулов, поджидаючи Борьку, безмятежно спал в это время на крылечке у своей квартиры, что напротив Борькиной гавдареи.

И когда прозвучали выстрелы, ошалело вскочил и в первое мгновение не мог понять, где же он находится. В кромешной мгле — небо было затянуто тучами — почудилось ему, что он в гавдарее. Заметался Кешка в поисках выхода, а двери-то и не было... Куда хочешь иди... Только куда идти-то из человечьей гавдареи?

Продолжение следует

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ

О ВРЕМЕНИ ДУМАЯ...

Человек в пространстве

Когда и смотрю на очерк земли, то в пространстве
вижу человека, у которого выпали волосы;
неизменны сороки в упрямом своем постоянстве,
преуспевшие в фальсификации соловьиного голоса.

Неизменны галки в пристрастии к печным трубам,
к потоку ветра, встретившемуся на изгибе полета;
как фигуристы по синему льду небосвода, над клубом
кружат стрижи и свистят кому-то, зовут кого-то.

Куда ни посмотришь, будь то стена, столб, карниз ли,
ива на берегу, камыш, цапля, реки теченье, —
неизменно и постоянно текут и текут мысли,
неизменно и постоянно жизни предназначенье.

Почему ж вырываем крепкие стебли с корнем,
почему же, встречаясь, не радуемся друг другу?
И, чашу наполнив радостью пополам с горем,
пьем в одиночку, а не пускаем по кругу?

Меняется гемоглобин и меняются гены;
меняется очерк лица человека в пространстве.
Из бытия между жизнью и смертью неизменно
проступает трагедия в шутовском убранстве.

МАКАРОВ Александр Михайлович родился в 1946 году в селе Еремееве Тамбовской области. Служил иа Северном флоте. Завершает учебу в Литературном институте им. Горького. Автор иескольких поэтических книг. Член Союза писателей СССР. Живет в Староюрьевском райоие на Тамбовщине

Ода

Все терпи да терпи... да когда же кончится
время чужого и долгого терпенья;
дождешься — и жизнь прошла, а хочется
петь при жизни и знать: услышано пенье.

Вот вчера с тобой мы цветам кланялись,
признавались в любви каждой ягодке;
яблоки на ветках довольны — разрумянились,
А сегодня где цветы? Где эти яблоки?

Поседела Родина, туман в излучине;
Застеклил морозец Лесной Воронеж.
Журавлей в небесах скрипят уключины.
Быстро летят мгновенья — не воротишь.

Ночь перетерпи, а солнце слезы высушит;
может, время, даст Бог, соединит звенья.
Все еще хватает терпенья выслушать,
а услышать нет никакого терпенья.

Что же делать? — спросишь, — так и до старости
будут лететь мгновенья? — Что отвечу?
Терпеливо работай до счастья усталости,
радости и грусти ни в чем не переча.

Ради птицы, которая занята пением,
ради всего святого послан голос:
ты терпи, терпи, и своим терпением
помоги терпеливым взрастить колос.

Ночь

Слышу шорох платья — оживает воздух;
вижу полусферы век, покрытых блеском;
мотыльки стучатся в фонари и звезды,
и сгорают с треском.

Мы теперь не любим, что вчера любили,
хорошо забыли, выходя из круга,
смятый запах луга, чистый запах пыли,
и кряхтенье плуга.

Человек ли это, кто не может прямо
подойти к старухе, что лежит на койке;
ей не нужен пряник, только слово «мама»,
пузырек настойки.

Смерть молчит, работает, не сходя с места.
Жизнь — почти не видно, знай, смеется где-то.
Мы с тобой замесим радостное тесто
грустной ночью этой.

Голоса проникнут в каменные стены,
навсегда останутся жить в аллеях сада
с теми, с кем живется, как и, впрочем, с теми,
с кем бы жить не надо.

* * *

*«Сия великая часть Европы и Азии,
именуемая Россиею...»*
Карамзин.

Я вышел из круга, где первую накрывает вторая волна,
и так без конца, накрывая друг друга, идут эти волны.
Поэтому не успел я прочесть Историю Карамзина,
а без нее человек неполный.

Без памяти жил я, не имея собственного лица,
удивляясь тому, что не сломлена жизни лозинка.
Сегодня увидел, что капля, сбегающая с листа, —
не капля дождя, а слезинка.

Похожий на саблю месяц в космосе полупустом
тень оставляет на сердце острым изгибом света;
видели древние греки, тыча в мой разум перстом,
лодку и волны глубокой Леты.

Время потеряно; месяц на землю готов упасть;
вместо лиц и событий какие-то пятна и глыбы.
Повторяю прилежно: «Сия великая часть...»,
а за мною звери и рыбы.

Шепот ветра...

не губи, мужичок, зеленое деревце,
ни кленовое, ни дубовое; посмотри,
в каждом дереве стоит красна девица,
слышишь звон ее слов: «озаре, узари...»

береги берега и таинственные течения
просяного, гречишного, ржаного полей;
каждый куст и цветок — очаги излучения,
генераторы импульсов жизни твоей;

у зари о заре и о времени думая,
преломи темноту и сиянье узри;
не послушаешь — тихо с земли тебя сдуну я,
пусть поет красна девица о заре у зари.

* * *

Тот, чье имя дано городам и улицам,
он с портрета глядит на меня и хмурится,
и на солнце щурится что твой кот.
Мысль его обо мне потаенно-таинственна,
как движение мыши под кучею лиственной,
путь извилист и непредсказуем ход.

Безыскусно-проста у меня биография,
и мое отношенье к его фотографии
не зависит от множества веских причин.
В силу ряда причин мы забыли о следствии,
первым встречным твердим о тяжелом наследстве и
о единстве, толкая друг друга, кричим.

Его имя сотрет жерновами история.
Сохраню я, чего бы мне в жизни ни стоило,
человекопортрет, чей нахмуренный взгляд,
перебрал мои дни, перемыл мои косточки;
расскажу ли об этом я сыну — как ласточки,
вверх сыновние строгие брови взлетят.

Речные зеркала

Я разглядел пылинку на листочке пижмы;
у ястреба в когтях — плоть, а в глазах — металл.
Речные зеркала пусты и неподвижны,
как мысли и слова о пустоте зеркал.
Речные зеркала деревья умножали;
а где же мы с тобой? Не помнит нас река.
Возьми и подними тяжелые скрижали,
осталась ли о нас хотя б одна строка?

Речные зеркала — осока, тина, листья;
внимательно всмотрись в коричневую слизь,
ведь это мы с тобой, и это наши лица,
ведь это разум наш, и это наша мысль;
ведь это наша жизнь, промчавшаяся быстро,
улыбкою любви мелькнувшая в окне.
Ярило, разъярясь, разбрасывает искры
и жарит облака на медленном огне.

В речные зеркала свет будет долго падать,
оставит в глубине косую тень крыла;
коричневая слизь, похожая на падаль,
как мгла, заволокла речные зеркала.
Иди, смотри! Постой, идти-смотреть не надо,
зови на Божий суд, звони в колокола;
не смогут избежать внимательного взгляда
речные зеркала, речные зеркала.

В глуши библиотеки

Между томами Манна и Толстого
живет мое несказанное слово;
Великий Ленин смотрит со стены
на рядового сына рядовой страны.

Спит Карл Маркс в тисненом переплете;
в глуши библиотеки мысль в полете,
хотя какой тут может быть полет,—
грызет усердно мышь тисненый переплет.

Детьми забыт отец соцреализма;
вдыхая сладкий дух социализма,
доярки дружно тянутся в буфет —
сегодня привезли две дюжины комет.

Я медленно закутываюсь в душу
Эдгара По; и эту явь нарушу
тревожным шумом крыл другого дня,
заполнив пустоту, убившую меня.

* * *

Как дела? Сомневаюсь, страдаю и плачу,
прожигаю последнюю в жизни удачу —
ощущенье вины
за страну, где в бескрайней печали во мраке
гнойным светом слезятся шахтеров бараки,
разговоры темны.

Мысли — пчелки, лишенные матки,— злым роем.
Терпеливую землю кромсаем и роем,
выгребаем руду;
вечным гулом заполнены свежие ниши;
из лоскутьев ночей сшиты серые мыши,
вран пророчит беду.

Моя совесть чиста — время, силы и дар свой
до последней тщеты я отдал государству,
но оставил себе
свет в окне, где есть место для кошки и Феба;
да лицом к лицу с небом, лицом к лицу с небом —
пожеланье судьбе.

След карандаша

В том доме, где ты жил,— гнилые стены,
трухлявый пол и ветхий потолок;
двадцатый век, рванув рубаху с тела,
зерно и кости в пыль перетолок.
Покрытая эмалью обналичка
хранит неслышный след карандаша;
не острым коготком певунья птичка, —
царапинку оставила душа.

Рост отмечая карандашной риской,
ты в сантиметры уложил судьбу;
двадцатый век, с глазами василиска,
морщинку прочертил на детском лбу.
Морщина заросла. Бухгалтер-старость
вычеркивает годы не спеша.
Исчезло все, но черточка осталась —
слегка небрежный след карандаша.

След оказался крепче стен древесных,
хотя и ниже низко падших лет,
в которых нас и многих неизвестных,
красивых и веселых больше нет.
У всех имелись в жизни прегрешенья,
и оказалось, не туда мы шли.
Беззвучный пепел — символ разрушенья —
сдувает время с горестной земли.

ПРОЗА

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ

БАРБАРОССА

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

15. БАРВЕНКОВСКИЙ КАПКАН

Не стану утомлять читателя нумерацией полков и дивизий, не стану перечислять имена их командиров, безвестно сгинувших, или тех, что обрели бессмертие в наших энциклопедиях, постараюсь быть скуп в цифрах и датах, стараясь донести лишь главную суть событий и всегда помнить, что на поле битвы все читается иначе, нежели читалось тогда на оперативных картах, а потом читается в мемуарах. Как бы ни философствовали в самых высших инстанциях, как бы ни мудрили в средних, все это было далеко от окопов, где солдаты всю мудрость жизни, политики, стратегии и тактики воплощали в едином душевном призыве:

— Бей их, гадюков! Тока бы прицелиться... Ишь, зад-то отклячил, а башку за пенек ховает. До свету не управимся...

Не в меру бодрые доклады маршала Тимошенко дали Сталину повод для резкого осуждения работников Генерального штаба:

— Если вас, любителей обороны, не подтолкнуть как следует, мы бы так и торчали на одном месте. А теперь, видите, как удачно все складывается у Тимошенко под Харьковом...

Верно! Наступление началось прямо-таки превосходно.

. . . .

Ударные силы нашей армии рвались на стратегический простор из невыносимой и тяготеющей над ними узости Барвенковского выступа, охватывая при этом Харьков с юга, а со стороны Волчанска двигалась на Белгород вторая группа, огибая Харьков с севера, и где-то — уже за Харьковом! — они должны были сомкнуться, чтобы устроить немцам хороший котел. Внешне все было задумано вроде бы правильно и сомнений не вызывало... Зато сразу же, с первого дня, возникли подозрения!

Но возникли они не там, где Тимошенко склонялся над картами, красным карандашом отмечая стрелы прорыва,—подозрения появились там, где в невообразимой пылище шагали наши солдаты, рассуждая меж собой, чтобы их не слышали командиры:

— Что-то не похоже на немца! Гляди, Вась, смываются от нас и даже не пальнут для порядку.

— Это как понимать? Вроде бы и далее нас заманивают.

— Да, братцы, чует сердце — не к добру...

Продолжение. Начало в №№ 2—5 за 1991 год.

В некоторых селах немцы оставляли богато накрытые столы со своим шнапсом и нашей самогонкой, навалом было пирогов, свинины, гусей и всякой другой снеди. Думали, что отравлено, поначалу боялись, а потом попробовали, никто не помер, и навалились. Колхозники говорили, что немцы сами пировать собирались, да вдруг разом снялись и удрали.

— А куда удрали-то? — спрашивали их.

— А шут их ведает. Бала-бала — и давай деру...

В одном месте разбили отступавшую штабную колонну с радиостанцией. Немцы оставили портфель желтого цвета, что определяло его секретность. В портфеле нашли бумаги с верными характеристиками наших командиров, и вечером, подвыпив, особист полка говорил:

— Всё знают! Кто пьет, кто трезвенник. У кого жена, у кого дети. Даже адреса домашние собирали. Мы, уж на что мы, и то своих же людей так не знаем... Капитан Панкратов, где ты?

— Да здесь я. А — что?

— А то, миляга, что ты вот с Шуркой Водянкиной шуры-муры на сеновале крутил, так даже это немцам известно...

Немецкая разведка даром хлеба не ела, и в тот же день, первый день нашего наступления, Паулюс был извещен, что Тимошенко на один километр фронта имеет лишь до 19 орудий и не более пяти танков. Новых же танков очень мало, чаще — старых модификаций с противопульной броней, на бензиновых моторах, почему они и вспыхивают, как спички. Впрочем, когда на фронте уже завязались бои, Паулюсу доложили:

— Тимошенко что-то уже почувствовал, потому что начинает вводить свои вторые эшелоны.

— Так рано? — удивился Паулюс. — Шмидт, вы слышали?

— Да, слышу. Все это очень странно.

— Но мы не станем самообольщаться, — сказал ему Паулюс. — В отличие от маршала, мы побережем не только вторые, но и третьи эшелоны. Сейчас многое зависит от энергии фон Клейста.

— Клейст не опоздает для удара с южного фланга, — заверяли его. — После неудачи под Ростовом ему необходима реабилитация под Харьковом, чтобы вернуть себе расположение фюрера...

В первый день наступления наши войска продвинулись вперед — где на десять-двадцать километров, а там, где немцы оказывали сопротивление, даже два километра брались с неимоверным трудом. Танки противника еще не появлялись, авиация только прикрывала отход своих войск или вела разведку. Немцы очень экономно расходовали свои силы, и на юге выступа (южнее Барвенково) они бросали в бой строительные батальоны, нам попался в плен солдат из похоронной команды и даже из команды по сбору трофеев («барахольщик»). За ночь Паулюс выкатил из Харькова свои ролики, и второй день наступления Тимошенко стал днем переломным.

Сопротивление ожесточилось. Паулюс запросил Адама, готовы ли к атакам панцер-дивизии Хубе и Виттерсгейма.

— Да, — отвечали ему, — всего триста семьдесят машин. Хубе и Виттерсгейм с нетерпением ожидают ваших распоряжений.

— Отлично. Не пора ли нам расшатывать фланги Тимошенко? На танки пусть Хубе примет пехоту. Заодно предупредите Рихтгофена, чтобы его четвертый воздушный флот выделил нам пикирующие бомбардировщики. Я подозреваю, что маршал Тимошенко, припомнив свою молодость, проведенную в конюшнях, обязательно прибегнет к помощи кавалерии... Конечно, — сказал Паулюс, — мне, генералу, както не совсем удобно учить маршала, но в этих условиях ничего другого не остается...

Удары танков и авиации Тимошенко воспринял на свой лад — как доказательство слабости противника.

— Ну, вот! — обрадовал он Баграмяна. — Паулюс уже на грани истощения, он транжирит свои последние козыри...

Силы противника сознательно им преуменьшались, а свои собственные — Тимошенко преувеличивал. Совершенно не понимаю (и объяснений тому нигде не отыскал), почему Семен Константинович был убежден в том, что на подмогу его армии идут свежие дивизии из... Ирана(?).

— Но, боюсь, они поспеют к шапочному разбору, когда мы своими силами разделаемся с фрицами, — говорил он...

13 мая уже наметилась неразбериха. Штабы соединений и штаб самого маршала работали в отдалении от передовой — иногда их разделяли 20—30 километров бывало, что и более. При этом они все время перемещались, не предупреждая фланговых соседей, радиосвязь работала безобразно, позывные частей перепутались, и в этой сумятице всеобщего воодушевления мало кто еще догадывался, что управление войсками было уже *потеряно*... Но Тимошенко, уверенный в себе, уверял Москву и свой штаб, что все складывается по плану:

— Я очень доволен ходом событий...

Маршал К. С. Москаленко (сам участник этих событий) по этому поводу писал: «Ошибочные оценки не были изменены в ходе боевых действий даже тогда, когда наши войска по существу *уже потеряли инициативу...*» Перелом обозначился, и теперь не мы, а Паулюс навязывал нам свою волю. Однако наступление еще развивалось, и к концу дня 14 мая определился даже четкий успех: с Барвенковского выступа мы шагнули на 50 километров, а со стороны Волчанска (севернее Харькова) пробили оборону врага вглубь до 25 километров.

Наверное, это и был тот самый счастливый момент, когда Александр Ильич Родимцев, оторвавшись от стереотрубы, вытер восторженную слезу:

— Вижу, шайтан вас дери... вижу! Дома, крыши, садики, фабричные трубы. Харьков! Пора слать туда наши разъезды.

В трудные моменты боя нас выручали «сорокапятки», шедшие в порядках пехоты (те самые орудия в 45 мм, которые в канун войны маршал Кулик и Сталин указали снять с производства), — именно эти пушки и стали нашей «палочкой-выручалочкой» в годы войны. Прекрасные наводчики-казахи с их острым зрением степных жителей раз за разом отмечали точные попадания:

— Жаксы, жаксы... о, бек жаксы! — восклицали казахи.

15 мая Клейст южнее Барвенково уже разворачивал свою танковую армаду, а маршал авиации Вольфрам Рихтгофен поднял в небо воздушный флот, который выстраивал над нашими войсками «небесную постель», обстреливая все живое, в строю «дикой свиньи» клином врезался в наши слабые авиационные звенья... Но любой натиск врага маршал Тимошенко не считал наступлением, расценивая его как жесткую оборону:

— Не сдаются, окаянные! Мы их переломим. Мы еще покажем, что умеем бить врагов по-суворовски: не числом, а умением...

Тогда же он заверил Сталина в успешности наступления. Между тем сражение уже распадалось на отдельные очаги, изолированные один от другого «пробоинами» в линии фронта, и в эти «пробоины» бурным потоком вливались резервы Паулюса, от Славянска с юга — начали проскакивать одиночные танки...

Иван Христофорович Баграмян запросил Южное направление — какова у них обстановка и где сейчас танки Клейста? Ответ из штаба Малиновского был утешительным:

— Клейст не шевелится. А мы следим, чтобы к Барвенково он не прорвался. В случае чего — предупредим...

16 мая стало последним днем нашего наступления. Наши войска еще продолжали нажим на Харьков, а местные жители, стоя у деревенских околиц, кричали бойцам:

— Да оглянитесь назад, родимые! Вы-то вперед идете, а за вами-то, эвон, уже немецкие машины шныряют...

Из Харькова вернулась конная разведка. Родимцев выслушал, что там творится: немцы перепуганы, госпитали эвакуируются, с балконов домов свешиваются трупы повешенных, один старик повешен даже вниз головой над панелью. Люди рвались вперед — на Харьков, но Родимцев каким-то подсознательным чутьем воина уже ощутил трагизм положения и решил перейти к обороне:

— Спасибо, ребята. Расседлывайте коней. Понимаю вас. Понимаю и харьковчан. Но город сейчас не взять...

— Как же так? Нас в Харькове обнимали, нас всех целовали. Мы заверили харьковчан, что не сегодня, так завтра...

— Расседлывайте коней, — отвечал Родимцев. — Понимаю вас и понимаю харьковчан. Но город сейчас не взять...

Наши войска все больше увязали в «оперативном мешке» Барвенковского выступа, будь он трижды проклят, и разве можно было тогда подумать, что громадная армия уже обречена...

Командующий 6-й армией распрямился над картой.

— Генерал Малиновский на юге не распознал угрозы со стороны броневого кулака Клейста, нацеленного вот сюда... от Краматорска, от Славянска! Не догадывается об этом и Тимошенко, а я, Шмидт, не завидую тем минутам свидания, которые уделит потом господин Сталин для приватной беседы со своим маршалом.

Явился Вильгельм Адам, крайне взволнованный:

— Ваш сын, капитан Эрнст Паулюс... ранен!

Паулюс остался спокоен (а скорее, он притворялся невозмутимым — даже сейчас, в проявлении отцовских чувств).

— Если мой сын ранен,— был ответ,— то его следует положить в госпиталь на общих основаниях. Если у меня будет свободное время, я навещу его. Пока все!

Р. Я. Малиновский с Южного фронта послал на помощь С. К. Тимошенко свой 5-й кавалерийский корпус. Тимошенко, узнав об этом, отправил Малиновскому свой 2-й кавалерийский корпус. Это напоминало обмен визитками вежливых людей, но тактически ничего не изменило в положении на фронте. Однако именно этот факт свидетельствовал о чем-то опасном: командование фронтов — ни Малиновский, ни Тимошенко! — еще не понимало близости катастрофы. Где-то уже летела в прорыв краматорская группа на звенящих гусеницах, а маршал Тимошенко, вспомнив молодость, надеялся задержать врага лихим набегом сабельной кавалерии.

— Орлы! — говорил он. — Разве кто устоит перед доблестной красной конницей, о которой в народе слагают песни?

Кавалерия уходила на верную смерть — с песнями:

С неба полуденного
Жарв — не подступи,
Конница Буденного
Рассыпалась в степи...

Уходящие в небытие, они видели своего главкома в широкой казачьей бурке и в кубанской папахе набекрень; маршал казался им далеким видением из эпохи гражданской войны, еще не ведавшей ожесточенной битвы моторов.

А танки горели! Горели танки. Наши...

А наша кавалерия была уничтожена авиацией. Генерал Гани Сафиуллин (из казанских татар) запомнил: «Лошади без седоков, в одиночку и группами, на полном карьере мчались в разные стороны. Вражеские истребители догоняли их на бреющем и уничтожали пулеметными очередями. Кони ржали, падали, пораженные пулями, они кувыркались через головы...» И, дрыгая ногами, они затихали в смерти,

а молоденький солдат, тоже видевший эту расправу, громко плакал, сказав Сафиуллину:

— Всегда их жалко! Мы-то люди, мы понятливые, мы знаем, за что кровь проливаем, а как им-то, бедным да бессловесным, как им объяснить — за что муку терпят?

Наконец генерал Баграмян, начальник штаба, и Н. С. Хрущев, бывший тогда членом Военного совета фронта, убедили твердолобого и донельзя упрямого маршала, что наступление выдохлось — пора занимать жесткую оборону.

— Да, — вдруг согласился Тимошенко, — я и сам вижу, что на войска из Ирана надежды слабые, мы вынуждены перейти к обороне, о чем я извещу товарища Сталина, а вы, Иван Христофорович, готовьте приказ по армии о переходе к обороне.

— Слава богу, что перестал артачиться. Наверное, и сам понял, что надо не свой престиж, а людей... людей поберечь!

Кажется, говоря так, Баграмян даже перекрестился.

. . . .

Было три часа ночи, когда Баграмян вдруг навестил Никиту Сергеевича, а глаза начальника штаба были в слезах.

— Что там еще? — спросил его Хрущев.

— Наш приказ о переходе к обороне... отменен.

— Кто посмел отменить? — сразу взвинтился Хрущев.

— Маршал. Он действительно разговаривал со Сталиным, после чего велел ПРОДОЛЖАТЬ НАСТУПЛЕНИЕ, а сам... пошел спать.

Хрущев сумрачно матюкнулся:

— Так когда же этот бардак у нас закончится?

— Я, — просил его Баграмян, — умоляю вас переговорить с товарищем Сталиным, который наверняка дал нагоняй маршалу, после чего Семен Константинович и отменил свое распоряжение. А далее наступать нельзя, иначе, сами понимаете... катастрофа!

Хрущев, мужик с головой, понимал: сначала Тимошенко водил Сталина за нос, увлекая его на Харьков, а теперь Сталин начал водить Тимошенко — и это опасно. Но понимал Хрущев и другое, опасное уже лично для него: переубеждать Сталина — это значило, что надо заставить Сталина признать свою ошибку, а Сталин признает ошибки за другими, но своих — никогда.

— Сначала позвоню Василевскому, — решил Хрущев.

Но звонок Василевскому ничего не прояснил.

— Товарищ Сталин на ближней даче, — отвечал начальник Генштаба, давая понять, что не он главные вопросы решает. — Да, это его распоряжение... да, на даче... звоните ему... товарищ Сталин счел необходимым... не знаю... желаю успеха.

Хрущев долго собирался с душевными силами.

— Звонить Хозяину, — сказал он Баграмяну, — все равно что давиться. Но... что поделаешь, если надо?

К телефону на ближней даче Сталина подошел Маленков.

— Подожди, — ответил он Хрущеву, — я сейчас доложу. — Последовала продолжительная пауза, после которой Маленков сказал, что товарищ Сталин говорить не желает. — Он просил тебя сказать мне, что надо, а я ему передам...

Делать нечего. Никита Сергеевич сказал, что нельзя отменять их приказ о переходе армии к обороне, как нельзя и наступать далее, ибо наше наступление отвечает замыслам противника, а в результате всей операции одна дорога — мы сами загоняем свою армию в германский плен.

— Мы и без того растянули линию фронта, — доказывал Хрущев, — а случись — последует неизбежный удар с левого фланга (от Клейста), так нам кулаков не хватит, чтобы отмахаться...

Маленков выслушал, просил обождать, переговорил со Сталиным, после чего опять вернулся к аппарату:

— Ты слышишь? — спросил он.
— Слышу, — отозвался Хрущев, замирая.
— Товарищ Сталин сказал, что надо поменьше трепаться, а надо наступать. Хватит уже! Посидели в обороне...
Разговор закончился, а Баграмян разрыдался.
— Все погибло, — говорил он. — На себе я крест уже поставил... мне все равно... людей! Людей жалко...
В большой стратегии, как и в большой человеческой жизни, случаются страшные трагедии, когда ничего не исправить.
Читатель, надеюсь, уже и сам начал догадываться — кто прав, а кто виноват, и читателю стало уже понятно — почему армия Паулюса вскоре оказалась на Волге!

16. ВРЕМЯ ИСКАТЬ ВИНОВАТЫХ

Паулюс навестил в госпитале раненого сына. Он сказал ему, что на полях сражений догорают груды развороченных русских танков. Цитирую слова Паулюса, сохранившиеся в военных архивах ФРГ:

«Мы взяли в плен русского офицера. Он сказал нам, что маршал Тимошенко однажды приезжал на передовую, чтобы наблюдать за танковым сражением: маршал видел наступающих вплотную немцев и свои танки, буквально разнесенные в клочья, на что он только проронил: «Это ужасно!» После чего ему ничего не оставалось, как молча повернуться и покинуть поле боя».

Этот рассказ Паулюса сыну завершается выводом германских историков: Паулюс не столько был рад своим успехам, сколько был озадачен вопросом: «Какими еще резервами может обладать его гидроподобный противник?..»
У гидры, как известно, на месте отрубленной головы сразу вырастают две новые. Но резервов у Тимошенко не было, ибо с первого же дня наступления он стал их транжирить. В пламени боев перегорели вторые и даже третьи эшелоны его резервных полков. Утро 16 мая стало последним, когда наши войска еще пытались наступать. На следующий день Тимошенко перебрался подальше от фронта — на левый берег Северского Донца, расположившись в районе Песков, не оповестив о перемене места ни свою армию, ни своего южного соседа Р. Я. Малиновского, — там, в этих Песках, он и затих, почему армия по сути дела лишилась командующего, а где он сам и где искать его — никто не ведал. «Штаб армии, — писал Баграмян, — остался, фактически, без управления, так как радиосредств не хватало» (точнее — их попросту не было, ибо авиация Рихтгофена гонялась за каждой автомашиной, похожей на походную радиостанцию). Именно 17 мая и случилось то, чего больше всего боялись...
Эвальд Клейст вдруг бросил всю свою танковую армаду вперед, как бы подсекая Барвенковский выступ с южного его основания, как подсекают дерево с комля. После полудня гарнизон Барвенково был размят в жестоком бою, Барвенково оказалось в руках противника. Но в наших штабах об этом до самого вечера ничего не знали. Ничего!..
Вечер этого дня застал Артура Шмидта на позициях близ Балаклеи, когда из сумерек тающего дня вырвался танк, заляпанный дорожною грязью и кровью раздавленных им людей. Моторы он заглушил перед штабной палаткою 6-й армии. Из люка выбрался сухопарый танкист в коротком кителечке, лоснившемся от машинных масел. Рукава были закатаны до самых локтей, а волосатые руки были сплошь унизаны браслетами разных марок, его пальцы сверкали золотом от обилия обручальных колец.
Он спрыгнул с брони танка на землю и крикнул:

— Дело за вами... Стоит вам ударить со стороны севера, и все русские останутся в нашем оперативном мешке.
— Вы откуда? — спросил Шмидт. — От Виттерсгейма?
Танкист расхохотался:
— Нет, я из группы Эвальда Клейста...
В руке Шмидта щелкнула зажигалка с «прыгающим чертиком». Он задумчиво раскурил сигарету и засмеялся:
— И чем только мой чертик не шутит!

. . . .

Как это ни странно, но Сталина намного раньше, нежели Тимошенко, иногда тревожила эта мощная танковая группа Клейста, до поры до времени как бы затаившаяся в степных балках, замаскированная в редких перелесках, но активно «выстреливавшая» отдельные танки в сторону Барвенково... Однажды в присутствии Г. К. Жукова, который разделял его опасения, Сталин созвонился с командованием Юго-Западного направления и, переговорив с маршалом Тимошенко, отошел от аппарата, успокоенный.
— Пока все идет успешно, — убедился Сталин. — И нет никаких причин для прекращения харьковской операции...
Но именно этот мнимый «успех» вызвал большую озабоченность работников Генерального штаба, которые давно почувствовали, что обстановка под Барвенково и Харьковом складывается не так уж мажорно, как об этом докладывает маршал.
17 мая на пороге сталинского кабинета в Кремле появился генерал-полковник Александр Михайлович Василевский:
— Хотя вы и распорядились, чтобы Генштаб не вмешивался в дела главкома Тимошенко, я все-таки решил вмешаться.
Сталин поднес спичку к своей легендарной трубке, но спичка догорела в его пальцах, он так и не раскурил трубку.
— Что вас беспокоит, товарищ Василевский?
— Беспокоит именно то, что совсем не волнует командование Юго-Западным направлением: группировка танков Клейста. Она подпирает с юга Славянск и всю ударную группу армий, силящуюся вырваться из мышеловки Барвенковского выступа...
— Вы разве хорошо знаете обстановку на юге?
— Она... критическая! — запальчиво сказал Василевский. — Могу выразиться иначе — она попросту угрожающая. Тем более что дельных резервов мы в этом районе не имеем.
Разговор Сталина с Василевским происходил в то время, когда о прорыве танков Клейста к Барвенково они оба еще ничего не знали. Верховный Главнокомандующий предпочитал в эти тревожные дни не подписывать приказы своим именем, чтобы не оставаться потом виноватым в принятых решениях, — он укрывался за общим и расплывчатым определением слова «Ставка» (а там как хочешь и понимай — кто в Ставке умный, а кто глупый).
Пройдясь вдоль стола, Сталин подумал перед ответом:
— Товарищ Тимошенко резервов у нас и не просит. Он хорошо обходится своими силами... А что вы предлагаете?
Что мог предложить Василевский? Самое разумное.
— Немедленно, — сказал он, — прекратить наступление на юге и все силы развернуть назад — для отражения танкового удара со стороны Клейста. Если мы, товарищ Сталин, не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Было поздно не завтра, а уже сегодня.
— Вы так думаете, товарищ Василевский?
— Уверен.
Сталин открыл графин с водою и закрыл его снова.
— Хорошо. Я еще переговорю с товарищем Тимошенко...
Но это был как раз тот уникальный случай, когда в Генштабе лучше знали обстановку на юге, нежели в безвестных Песках, где ук-

рывался маршал Тимошенко, думавший в это время не о том, как спасать армию, а как ему избежать гнева Верховного.

— Хорошо, — повторил Сталин, — сначала выслушаем товарища Тимошенко, с мнением которого нам нельзя не считаться.

И хотя Александр Михайлович видел, что зыбкая чаша доверия Сталина склоняется в пользу докладов Тимошенко, он, Василевский, решил продолжать свой диалог с Верховным, чтобы спасти армии, спасти знамена, спасти технику.

— Спасти хотя бы людей, — говорил он, не подозревая еще, что эти люди уже обречены. — Очень трудный диалог, но его надобно продолжить... з а в т р а!

18 мая Сталин встретил его иначе — слишком сурово.

— Кого мне слушать? — сразу спросил он Василевского. — Вас или товарища Тимошенко? Вы тут разводите панику, а товарищ Тимошенко считает, что угроза со стороны краматорской группы Клейста сильно преувеличена... в кабинетах Генштаба! Наступление, по словам товарища Тимошенко, развивается точно по плану, и нет никаких причин для его прекращения.

Александр Михайлович все выслушал.

— Товарищ Сталин, обстановка требует немедленного свертывания операции под Харьковом, иначе могут возникнуть трагические последствия не только для армий маршала Тимошенко, но и для всего советско-германского фронта. Сейчас, — сказал он, — может быть, как никогда, решается *очень многое*.

Молчание. Тишина. Каков же будет ответ?

— Я беседовал с маршалом, а вы — с кем беседовали?

— Со своим приятелем... Анисовым.

— А это еще кто такой? — удивился Сталин.

— Генерал, который из штаба армий Тимошенко дал мне самую точную информацию, и она, эта информация с передовой линии фронта, никак не подтверждает информацию маршала Тимошенко.

Сталин, отвечая, даже не повысил голоса:

— У вас свои приятели, а у меня свои. И мои приятели говорят не то, что говорят ваши приятели.

Василевский намеренно голос повысил:

— Товарищ Сталин! Первоначальный оперативный успех под Харьковом скоро окажется ничтожным пустяком по сравнению со стратегическим (а не тактическим) успехом противника. Мощь ударов Паулюса и Клейста не ослабевает, а растет час от часу. Как можно не замечать всего этого маршалу Тимошенко т а м, на фронте, я не понимаю...

— Сейчас поймете, — сказал Сталин.

Он подошел к телефону, его снова соединили с маршалом Тимошенко. Было неясно, что отвечал вождю Семен Константинович, но Верховный повесил трубку в прежнем настроении:

— Поменьше слушайте своих приятелей. Товарищ Тимошенко сказал, что операция развивается удачно, как и задумано. Наверное, ему на месте виднее, нежели нам — в Москве... И все-таки странно! — вдруг сказал Сталин. — Товарищ Тимошенко настойчиво убеждал меня в слабости противника, а теперь сам просит у меня резервов. Он же знает, что резервов для него н е т!

Однако Ставка ВГК нашла для Тимошенко стрелковую дивизию и две танковые бригады. Василевский сказал, что в лучшем случае они поспеют в сражение лишь через пять дней:

— А за этот срок все уже будет кончено!

. . . .

19 мая от общего управления войсками остались рожки да ножки: каждый стал себе командиром, а генералы падали убитыми с винтовками в руках, отстреливаясь вровень со своими солдатами. Однако маршал Тимошенко умудрился издать приказ — усилить натиск на

врага. Подписав этот приказ он моментально издал и второй — перейти к обороне. Судьба этих приказов выражена с достаточной ясностью: они были примечательны только тем, что ни один из пунктов приказов никогда не был выполнен. Приказы Тимошенко поныне покоятся вечным сном в архивах Министерства обороны СССР, но, дошедшие до внимания историков, они до войск Тимошенко так и не дошли...

Настал трагический момент, когда огулом зачеркивались не только результаты зимних успехов под Москвою, не только рушились надежды на освобождение Харькова и Донбасса, но уже возникла угроза полного окружения войск в Барвенковском выступе. «Видели ли эту опасность военные советы нашего направления? — задавался вопросом К. С. Москаленко. — Судя по всему, н е т, они не видели...» Тимошенко большим и мясистым пальцем перекрывал на штабных картах рокадные дороги противника.

— Здесь и вот тут... остановить немца танками.

— Где они, наши танки? Их нету. Как нет и горючего.

— Без паники! — диктовал маршал, сбрасывая папаху, чтобы освежить гладко бритую голову. — Уже идут свежие дивизии... из Ирана! В любом случае переломим немца. Пушки у нас новые, какие фрицам и во сне не снились. Все будет! А сейчас приказываю перекрыть дороги танками.

— Которых у нас нету?

— Приказы не обсуждаются, а выполняются...

Против танков Клейста пошла в бой кавалерия генерала Плиева, взятая из жалких остатков резервов. «Иначе говоря, — писал очевидец, — наши войска сами залезли в мешок». Когда же маршал авиации Рихтгофен поднял в небо свой 4-й воздушный флот, тогда, как вспоминали свидетели событий, «небо потемнело от самолетов». Остатки кавалерии тут же полегли костьми, немцы не жалели фугасок даже на одиночные телеги, бомбы сыпались на стада коров, телят и овец... Все живое уничтожалось!

Танки Клейста и Паулюса — с юга и севера — «перегрызали» пути отхода, давили людей на дорогах, разрезая коммуникации, ведущие к спасению на востоке. 23 мая случилось то, о чем боялся сказать вслух Баграмян, чтобы его не произвели в ранг «врага народа», но о чем не устрашился поведать Сталину Василевский, почему и был обвинен в «паникерстве».

Ударом с юга танков Клейста и натиском 6-й армии Паулюса с севера весь Барвенковский выступ был отсечен, и в кольце окружения оказались все армии маршала Тимошенко — с техникой, у которой не было горючего, со штабами и даже госпиталями.

В разгромленной Балаклее Паулюс встретился с Клейстом.

— Поздравляю, — сказал он. — Сейчас мне хотелось бы знать: где маршал Тимошенко? Угодил он в наш котел или выскочил?

— Ходят слухи, что его видели в Волчанске.

Паулюс повернулся к Артуру Шмидту:

— Перенацельте удар на волчанское направление... Адам, — позвал он своего адъютанта, — а что вы скажете, если я предложу открыть бутылку яичного ликера?

— Лучше уж коньяк! — хохотал Клейст.

— Но у меня строгая диета, — отвечал Паулюс, давая понять, что от этой дизентерии никак не избавиться. — Я сейчас ожидаю возвращения из Лейпцига доктора Фладе, который собрал кости фельдмаршала Рейхенау и после похорон обещает навестить мою армию. Говорят, он любой понос заменяет запором...

25 мая куда-то бесследно исчез маршал Тимошенко. Москва, встревоженная, чтобы маршал не угодил в плен, требовала отыскать его — хоть живым или мертвым, но чтобы маршала обнаружили.

— Найти Тимошенко! — негодовал Сталин. — Сколько людей там

оставили, не хватало еще, чтобы на потеху Гитлеру в Берлин привезли нашего маршала и бывшего наркома обороны..

Семен Константинович объявился в Валуйках лишь поздно вечером, усталый, голодный, весь какой-то помятый. Оказывается, он с самого утра просидел в придорожных кустах или прятался под мостом, ибо немецкие самолеты, расстилая на бреющем полете «небесную постель», гонялись не только за машинами, но охотились даже за каждым человеком на дорогах.

— Головы было не поднять, — оправдывался маршал. — Удивлен: куда делись наши замечательные сталинские соколы?..

Тем же вечером главком сидел в крестьянской хате, поедая вареники со сметаной. Это было там же, под Валуйками. Очевидец оставил нам точное описание этой сцены: «Старуха-хозяйка подсела рядом и долго смотрела на Тимошенко:

— Видела я тебя на портретах. Там ты моложе и бритый... Вона, у тебя танки были, всякие машины... самолеты летали. У меня сыночек в ту германскую унтером был. Как сел, сердешный, на Карпатах, так и не пустил немца. А ты со своими танками-самолетами вон куда закатился! Да где ж теперича остановишься?

— Назад вернемся, — мрачно ответил Тимошенко.

— Чего же взад-назад ходить? — спросила его крестьянка...

Тимошенко встал, поклонился хозяйке:

— Спасибо, мамо, за вареники и за разговор спасибо...

А разговор получился тяжелый, глубоко ранящий. Но приходилось терпеть, ибо глас народный — глас божий!..

Утром маршал в легковой машине выехал на позицию.

— Придержи, — вдруг велел он шоферу.

Возле молчавшей пушки сидели и молчавшие артиллеристы.

Подле валялись убитые. По ним ползали большие синие мухи.

Неподалеку лежали ездовые лошади с перебитыми ногами, с вывороченными внутренностями. Земля была перепахана воронками. Вдали догорали два немецких танка, еще дальше ползали по степи бронетранспортеры с немецкой пехотой.

Худенький командир, вчерашний школьник, с кубиками лейтенанта в петлицах застиранной гимнастерки тупо и равнодушно смотрел на подходившего к нему маршала в громадной мохнатой бурке. «Кто это?» Или опять киновидение из эпохи гражданской войны, воспетой режиссерами в довоенных фильмах?..

Семен Константинович остановился, спросив:

— Отдыхаете? А кто за вас будет вести огонь по врагу?

— А чем... вести? — спросил лейтенант. — Еще вчера были у нас два снаряда... Вот они! — и показал на горящие танки. — А больше снарядов нету. И где взять — не знаем.

(Генерал армии С. М. Штеменко не скрыл от нас зловещую правду: «В войсках не хватало боеприпасов и горючего, ХОТЯ ОНИ БЫЛИ на фронтовых и армейских базах. Их просто не умели подать. Впоследствии все запасы этих баз своевременно на восток не вывезли, и они достались противнику...»)

Тимошенко вернулся в свою машину. Долго сидел молча.

— Куда же теперь? — спросил его шофер.

— Сначала в Купянск.

— А потом?

— Наверное... скорее всего — в Сталинград!

Мимо них, обгоняя маршала, на полной скорости проскочил уцелевший танк с надписью на броне: «Вперед — на запад!».

— Во, драпальщик! — выругался шофер. — Довоевался, гад, до того, что запада от востока уже отличить не может... Такой вояка, глядишь, уже завтра в Сталинграде будет. Пивка, гад, выпьет да закусит волжской таранькой...

Семен Константинович вынул платок, долго вытирал мокрую от

испарины большую крутолобую голову мыслителя. Но даже сейчас он не терял присущего ему бравого оптимизма.

— Ничего! — сказал он. — Мы фрицам так надавали, что теперь они еще не скоро опомнятся. Наше дело правое.

— Никто и не спорит, что правое, — согласился шофер...

Жаль, не слышал Тимошенко, что в эти дни говорили о нем в кругу Паулюса:

— Как сложится теперь судьба этого маршала? Очевидно, Сталин казнит его, как он казнил и других неудачников.

— Однако, — заметил доктор-историк и генерал Отто Корфес, — ни Козлова, ни Мехлиса он не тронул, хотя эти люди в Крыму по сути дела решили судьбу Севастополя, который не сегодня так завтра будет взят Манштейном.

Полковник Вилли Адам сказал:

— Наверное, маршал Тимошенко, сделавший из своей армии наковальню, подставленную под удары нашего молота, сам догадается застрелиться. Вопросы воинской чести ко многому обязывают. Вспомните генерала артиллерии Беккера! Когда он запутался в вопросах баллистики, он покончил с собой — и был объявлен национальным героем...

Появился танковый генерал Альфред Виттерсгейм, потрясая свежей нацистской газетой «Фёлькишер беобахтер»:

— Ура, ура, ура! — возвестил он. — Командующий нашей прославленной шестой армией генерал Паулюс всенародно объявлен национальным героем... Убедитесь сами, — сказал Виттерсгейм, разворачивая гигантские листы газеты Геббельса. — Вот и поздравления... даже от Роммеля из далекой Ливии!

. . . .

Но Барвенковский и другие котлы еще жили, окруженные, не сдавались. Леса часто оглашались перестрелкой, взрывами последних гранат. Отрядами и поодиночке люди прорывались на восток. Это было нелегко. Это было почти невозможно. И все-таки они шли на прорыв. Иные с оружием. Иные даже без сапог. Случалось, выходили из котла целыми дивизиями. Сделав «прокол» в немецком фронте, люди штыками прокладывали впереди себя узенький коридор, стенки которого тут же смыкались за ними...

Именно в конце мая Родимцев встретил такую армию смельчаков. Сначала из леса выкатились сразу шесть Т-34, за ними двигалась пехота, артиллеристы с матюками катили на руках свои пушки (без снарядов). Люк переднего танка открылся, из него выбрался генерал Гуров, помахал рукою Родимцеву:

— Открыли «новую эпоху», яти их мать... начальники! Даже в прошлом году таких разгромов не знали. А — отчего? Решили, что немец дурнее нас, мы его пилотками закидаем...

Кузьма Акимович прошелся по броне танка, громко бряцая по ней сапогами. С гусеницы генерал спрыгнул на траву:

— Задали мы работу историкам! Теперь они поковыряются в архивах, чтобы выяснить — кто виноват?

Родимцев за эти дни высох. Почернел от беды.

— Ладно. Пора думать — где остановить фрица?

— Кажется, нас ожидает кривая и большая излучина Дона. Где же еще как не там удобнее всего держать оборону?

— Тихий Дон... — призадумался Гуров. — А я всю жизнь мечтал Шолохова повидать. Чтобы он мне книжку свою подарил. Мол, «дорогому Кузьме Акимычу на память...» Теперь на глаза ему не покажусь! Вдруг он спросит: «Что ж ты, размазня паршивая, на мой тихий Дон фрица за собой притащил?..»

Коротко бывало счастье тех, кто вырвался из окружения.

Особисты армии Тимошенко уже заводили на Гурова дело:

— Что-то подозрительно — как он из котла выбрался? Может, его немцы сами и выпустили... с заданием?

Вот тут Никита Сергеевич взорвался:

— Хватит сходить с ума! — закричал он на особистов. — Мало вам, что немцы столько народу перебили, так теперь вы тех, что недобиты, под свой трибунал суете... Что это за война такая, если человек воюет за родину, а в душе червяк шевелится: коли враги не убьют, так свои прикончат... Хватит! Доигрались. Вот результаты — сами едва живы, а враги радуются. Да, хватит...

17. ТРЕТИЙ ФРОНТ

За это время, пока случались наши несчастья возле Керчи и в безысходных боях под Харьковом, на периферии войны произошло немало событий, которые так или иначе, раньше или позже, но отразились на делах нашего фронта, и они, эти события, скажутся потом в самом пекле битвы за Сталинград...

. . . .

Гитлер постоянно третировал своего союзника Муссолини, но и дуче не оставался в долгу, безумно радуясь каждый раз, когда вермахту влетало от русских. Поражение немцев под Москвою он приветствовал словами: «Вот и подуло блаженными ветрами Бородино и Березины...» А его зять граф Галеаццо Чиано тогда же записал в дневнике: «Муссолини удовлетворен развитием событий в России, сейчас он даже не скрывает, что счастлив в связи с неудачами германских войск». Политика дуче была примитивна, но понятна: чем больше достается фюреру на Востоке, тем независимее становится он, дуче! Такова была подоплека его романа с Гитлером, и теперь ясно, почему любое известие об успехах русских Муссолини встречал почти умиленно.

— Не все же нам! — говорил дуче. — Мой приятель тоже бегает по сугробам, наклав полные штаны добра...

Гитлер доказывал Муссолини, что судьба его завоеваний в Африке зависима от усилий вермахта в России. Исходя из этого, он снова забрал авиацию со Средиземного моря, обещая взамен самолетов прислать свои подводные лодки. «Отныне, — записывал в дневнике граф Чиано, — английская авиация будет господствовать в нашем небе почти как в собственном...»

Муссолини навестил германский атташе Ринтелен:

— Запрос от Роммеля: почему не даете боеприпасов?

— Потому что ваша Германия не дает мне угля, необходимого для выплавки стали. У нас «снарядный голод». К тому же вы забрали из Италии ведущих инженеров на свои заводы...

Оставшись с зятем, дуче задохнулся от гнева:

— Фюрер, наверное, считает меня счастливым — хотя бы уж потому, что его посол в Риме еще не дает мне пощечин...

В окружении Муссолини граф Галеаццо Чиано более всех ненавидел Гитлера и его оруженосцев. За год до нападения на СССР он серьезно помышлял о договоре Рима с Москвою, чтобы таким политическим жестом сорвать все планы Гитлера. Это ему не удавалось. Не удалось и убедить тестя в том, что война Италии с Россией приведет к краху фашистского режима. Чиано, по мнению историков, был реальным и дальновидным политиком, но его руки были связаны женитьбою на Эдде, дочери Муссолини. Еще молодой человек, Чиано предвидел трагический финал — и свой и своей семьи, а потому жил, как на пиру Валтасара, целые дни пропадая на пляжах с полуголыми красотками. В конце войны Муссолини привязал его к стулу и расстрелял, как предателя, со словами: «Ты изменил мне еще в ту ночь, когда впервые залез под одеяло к моей дочери...» Но перед

смертью граф Чиано успел записать: «Политика Берлина по отношению к нам (итальянцам) была сплошной цепью вранья, интриг и обманов. С нами всегда обращались не как с партнерами, а как с лакеями...» Умный был человек, этот граф Чиано!

29 апреля дуче встретился с фюрером в Зальцбурге. Муссолини и сам любил поговорить, но Гитлер болтал и болтал, не давая слова сказать приятелю. Наконец он стал оправдываться в поражении под Москвою, все сваливая на русские морозы:

— Это был не стратегический, а, скорее, нервный кризис. Под сильным воздействием русского климата мои генералы сначала потеряли здоровье, а затем потеряли и головы. Ах, какие были морозы! — воскликнул фюрер. — У наших танков лопались радиаторы, у солдат пальцы, носы, уши и даже веки глаз, отмороженные, падали на землю, как сухие листья с деревьев, что, конечно, вызывало приступы нервной паники...

— Это ужасно! — согласился Муссолини (он же и сберег эту речь Гитлера о «сухих листьях» в анналах истории).

Гитлер заверил дуче, что в наступившем 1942 году предстоит скорое падение Ленинграда и конечный штурм Севастополя.

— Первый падет от голода, а на второй Манштейн обрушит всю мощь германской артиллерии самого крупного калибра...

Но при свидании в Зальцбурге фюрер **сам** просил Муссолини усилить войска КСИР новыми дивизиями, и дуче обещал.

— Надо убрать и Джованни Мессе, — настаивал Гитлер, — этот генерал не мог взять даже Хацепетовки, но зато все время ругался с нашими генералами. Согласен и на Итало Гарибальди...

Полковник Кьяромонти, прибыв с фронта, нахвастал дуче:

— У меня служил пулеметчик-сицилиец. В бою русские оторвали ему правую руку. И что же? Он нажал на спуск зубами и больше не разжимал их, пока от страшной вибрации пулемета у него не выскочили изо рта все зубы. Я сам, — говорил полковник, — потом и собирал на снегу эти белые зубы без единой в них пломбы.

— Галеаццо, — позвал дуче зятя, — ты слышал, какие герои в нашей армии? Таких надо принимать в партию без кандидатского стажа! Кьяромонти, назови мне его фамилию.

Но фамилию тот... забыл. Главным театром войны Муссолини всегда считал фронт в Африке. Но, отчаянно цепляясь за барханы пустынь, за редкие колодцы и одинокие финиковые пальмы, Муссолини никак не мог отказаться и от войны в России; после свидания с Гитлером он готовил армию АРМИР, которая должна была в войне с русскими заменить его корпус КСИР.

Муссолини помнил о просьбе Гитлера.

— Итало, — внушал он генералу Гарибальди, — твоя задача не отставать от немцев, чтобы мы не остались в дураках, получив в конце войны только фунт русского мяса, да и то с выдачи фюрера. Джованни Мессе хороший фашист, но он всегда поспевал к обеду, когда русские уже отмывали посуду после немцев...

Весною он послал в Германию делегацию инженеров и военных, чтобы детально ознакомились с советским танком Т-34.

— Мы такого еще не видели! — доложили по возвращении специалисты. — Это не танк, а какая-то прима, способная на своих траках делать воздушные фуэте даже посреди болота...

Гитлер сам предложил Муссолини купить у него свои разбитые в России танки T-III и T-IV, и тут дуче взвился до небес:

— Гитлер и здесь желает вытопить сало из комаров! Видно, допекли его русские. Теперь он гонит с конвейера новые танки, а нам всучивает свои дырявые кастрюльки... Я сам отвечу фюреру, что фашистский танк Р-40 даже на песках Ливии легко развивает сорок два километра — больше немецких!

В конце мая Рим навестил генерал Джованни Мессе, еще не

знавший, что его хотят спихнуть за борт за неумение ладить с немцами. Обеспокоенный слухами об увеличении итальянских дивизий в России, он рассуждал с дуче, как с товарищем по партии, открыто и четко, ничего не утаивая:

— Второй зимы в России нам просто не пережить... без тулупов и валенок! А немцы, кажется, уже мечтают о Волге. Нашу армию в России надо не увеличивать, а сокращать, пока русские не сократили ее до таких размеров, что для возвращения КСИРа домой вполне хватит одного товарного вагона...

Грудь Мессе украшал железный крест — от Гитлера, и крест Савойского ордена — от короля Виктора Эммануила.

— Не дури, Джованни, — отвечал дуче, — за столом мирной конфедерации, когда мы посадим Сталина на стульчак в нужнике, двести двадцать тысяч наших солдат в России будут весить больше, нежели шестьдесят... Давай бодрее смотреть в будущее!

— Давай, дуче, — согласился Мессе. — Я считаю, что эту авантюру на Востоке пора кончать, и пусть немцы сами возятся со Сталиным, а нашим ребятам там нечего делать.

— Ты паршивый фашист, Джованни! — упрекнул его Муссолини. — Тебе надо брать пример со своих солдат, которые не жалеют оставить в русских сугробах даже свои прекрасные зубы.

— Вместе с зубами останутся там и их головы.

— Что ты хочешь этим сказать, Джованни?

— Русские никогда не мешали жить Италии, и мои солдаты не понимают, каким ветром их туда занесло. Даже старые члены партии, получив свое под Харьковом, спрашивают меня об этом. Если от меня решили избавиться, — заключил Мессе, — так я не пропаду и на макароны себе как-нибудь всегда заработаю.

— Но не больше того! — обозлился дуче...

Между тем граф Чиано поддержал именно Мессе:

— Если мы обратимся к народу Италии, он выскажется за самые лучшие отношения с Россией, которая всегда поставляла нам кубанскую пшеницу для выделки тех самых спагетти, которыми мы и прославились. Разве не так? — спросил граф. — Между славянской и латинской расами легче всего достичь обоюдного понимания.

— Помолчи хоть ты, Галеаццо! Если бы ты не был мужем моей дочери, я бы сразу напоил тебя касторкой...

Чиано доказывал: «Нужно обратиться к сердцу итальянцев. Дать им понять, что речь идет не о судьбе партии, а о родине — вечной и общей для всех, стоящей над людьми, над временем и над фракциями». На место Джованни Мессе назначили Итало Гарибольди — стареющего жуира с подкрашенными усами, который тщательно следил за развешиванием орденов на своем мундире, требуя от своих подчиненных такой же аккуратности. Корпус КСИР был увеличен до 220 000 человек, получив новое название — 8-я армия АРМИР. Для сравнения скажу, что 6-я армия Паулюса насчитывала в своих рядах много больше солдат, нежели этот АРМИР...

Перед отъездом в Россию расфранченный и преисполненный гордости Итало Гарибольди нанес прощальный визит графу Чиано:

— Кого мне благодарить за назначение в Россию?

— Благодарите Гитлера... это он считает, что старый и глупый дурак по имени Итало Гарибольди будет лучше слушаться немцев, нежели молодой и строптивый Джованни Мессе.

В подкрепление Гарибольди дуче выделил и дивизию альпийских стрелков с альпенштоками — лазать по скалам. По прибытии их в Россию ветераны-итальянцы, уже обстрелянные под Хацепетовкой и под Харьковом, сразу оценили боевое значение альпенштоков:

— Вот чем удобно сшибать головы гусям и уткам!

— А еще лучше охотиться за прыткими советскими кошками...

К далекому маршу на Сталинград собирались лучшие дивизии дуче — «Коссерия», «Сфорцеска», «Винченца». Но на русских колхозников самое сильное впечатление произвело прибытие славной дивизии «Равенна», солдаты которой носили красные галстуки:

— Гляди-ка, Маня! Никак пионеров прислали?

— Сейчас разведут пионерский костер и начнут кошек жарить...

Конечно, война с Россией нужна была Муссолини из политических видов, но всей душой он болел за дела в Африке, где его мощь представлял все-таки немец — Эрвин Роммель. Между нами, читатель, говоря, на конюшне дуче уже холили белого коня, на котором Муссолини собирался въехать в К а и р...

. . . .

Каир тех дней утопал в такой постыдной роскоши, что казался оазисом вульгарного былого, крохотным островком наслаждений — посреди страшного моря разрухи, страданий, концлагерей, голода, убийств и пожаров, объявших полмира. Война бушевала где-то там, в далекой и малопонятной России, а здесь, под самым боком итало-германской армии Роммеля, до утра ворковали саксофоны ночных дансингов, магазины ломились от обилия редкостных товаров, рестораны изощрялись в достоинствах своих фирменных кухонь, спорт чередовался с флиртом, борьба на теннисных кортах обсуждалась в Каире с такой же важностью, как и вопросы стратегии. Процветала атмосфера сплетен, секса, спекуляций и восточного кейфа, где чашка йеменского кофе с турецкой сигаретой становилась приятным дополнением к чтению досадных и малоприятных военных сводок. Штабы Окинлека занимали лучшие отели Каира — поближе к купальным бассейнам и площадкам для гольфа. Выгнать их отсюда на фронт было почти невозможно...

Это об офицерах. А что же британские солдаты?

Британские «томми», дети нищеты доков Глазго, дети трущоб Лондона, попав в этот сказочный Вавилон, даже не подозревали, что в мире возможна такая сладкая жизнь. Война в Ливии их мало касалась — для этого хватало мужества австралийцев, новозеландцев, греков, чехов, поляков, евреев, киприотов, африканеров и даже отчаянных гурков из Индии, которые с ножами в зубах кидались на пушки Роммеля. У себя в метрополии «томми» радовались и овсяному супешнику с куском засохшего пудинга, а здесь, в Каире, они брезгливо ковырялись в экзотических блюдах Востока, лениво оценивая «танец живота» местной чертовки. Из тощих заморышей они превратились в откормленных и ленивых тельцов, недаром же Джеймс Олдридж, знавший обстановку Каира, прямо и беспощадно называл их «краснорожими» бездельниками...

Но Мальта не сдавалась, а Тобрук еще держался.

Роммелю исполнилось сорок восемь лет. Яркий и талантливый индивидуалист, живущий только собой, он не терпел чужих советов, ненавидел чтение официальных бумаг и писем, даже не отвечая на запросы Гитлера и Муссолини, а когда его одолевали визитеры, он садился в бронетранспортер и укатывал в пустыню — ищите его! Сейчас он укрывался от зноя под куполом мусульманского мавзолея.

— Мальта на совести воздушного флота Кессельринга, — говорил Роммель, — а я, наверное, давно бы взял Тобрук, если бы Окинлек не зачислил в гарнизон и германских эмигрантов. Там полно друзей Эрнста Тельмана! Им совсем не хочется побывать на Принц-Альбертштрассе — в кабинетах гестапо, вот они и вцепились в этот Тобрук... Тома, гляньте в карту: нет ли поблизости хоть захудалого колодца с питьевой водой?

— Есть. Но его удерживают французы де Голля.

— Меллентин, — повернулся Роммель к начальнику разведки, — откуда здесь взялись войска «Свободной Франции»?

— Из Сирии... Де Голль уже предлагал эти войска Сталину для включения их в состав Красной Армии, но Черчилль, прослышав об

этом, моментально перетащил их в оазис Эль-Бир-Хакейм — как можно дальше от русского фронта...

Киренаика знавала и лучшие времена. А теперь гусеницы танков раскрошили остатки римских терм, в которых некогда, еще на заре человечества, омывались философы и поэты; из катакомб первых византийских христиан дробно стучали английские пулеметы. При сильном откате орудий их сошки иногда выскребали из почвы осколки древнейших мозаик, плитки с непонятными письменами... Роммель изнывал от жарищи.

— Меллентин, куда же эти берлинские умники загнали всю мою авиацию, чтобы я не имел крыши над головой?

— Под Севастополь, где у Манштейна давно трясутся манжеты. А лучшие наши эскадрильи Геринг перевел на север Норвегии, откуда они станут бомбить караваны, идущие в Мурманск. Танки же, приготовленные для Ливии, передаются теперь шестой армии Паулюса, что залезает в страну донских казаков.

— Свиньи! — выразился Эрвин Роммель...

К мавзолею подкатил измятый бронетранспортер.

— Колодец взят, — доложили Роммелю. — Но пить нельзя: англичане оставили в нем целый мешок поваренной соли.

— Благородно с их стороны... сволочи! Я заставлю этого Окинлека хлебать мочу старых, больных верблюдов. Но даже эту мочу я стану выдавать Окинлеку по капле — через пипетку...

Солнце стояло в зените. Пустыня звенела от мириад мух, роившихся над лужами поноса, над почерневшими от загара мертвецами. Тесного соприкосновения противников не было, можно ехать часами — и пустыня поражала безлюдием. Оборона держалась в боксах (опорных пунктах), вокруг которых процветали знаменитые «сады Роммеля» — плотные минные поля. Окинлек же, в свою очередь, отгораживался от немцев своими взрывоопасными «оранжереями». Англичане имели 850 крейсерских танков и 420 держали в резерве. Эрвин Роммель имел лишь 280 полноценных машин, остальные танки давно можно было списать как безнадежно устаревшие. Уверенные в своей обороне, англичане от самого Каира обставили пустыню магазинами с холодильниками, в которых всегда было свежее холодное пиво. Это обстоятельство особенно возмущало генерала Тома; он, как нищий, подбросил на спине вещевой мешок и сказал:

— Они там хлещут пиво, не забывая при этом как следует посолить воду в арабских колодцах... джентльмены!

Роммель тоже страдал от амебной дизентерии.

— Геринг, старое трепло, — авторитетно заявил он, не стыдясь в выражениях, — обещал «воздушный мост» со стороны Крита, а мы сливаем в баки не больше ста пятидесяти тонн горючего в сутки. Автоцистерны гоняются за мною от самой Бизерты за тысячи миль, пожирая на маршруте столько, что танкам остается лишь дососать бензин со дна их цистерн...

Из трофейного джипа высадили пленного британского майора. Опрятное хаки. Ботинки из серого шевро, запах лоригана.

Казалось, майора взяли со светского файф-о-клока. Он поигрывал элегантной метелочкой, отгоняя насекомых. Роммель громко зевнул, глянув в его документы. Членский билет аристократического клуба в отеле «Семирамида». Чековая книжка каирского «Барклайз-банка» с внушительным счетом.

Все это Роммелю было известно.

— Конечно, — сказал он, — с такими деньжатами жить можно. Меллентин, поговорите с ним сами, а я завалюсь спать...

Меллентин начал допрос — почти с юмором:

— Хорошенькая война, не правда ли? Надеюсь, вы не в обиде за то, что мы оторвали вас от партии в бридж и вечернего фокстрота на

крыше ресторана «Шепердс»? Кстати, танцовщица Тахия по-прежнему берет по десять фунтов за ночь?

Пленный смотрел на Меллентина с удивлением:

— Кажется, любовный прейскурант ею давно пересмотрен. Теперь она берет десять фунтов только за разговор с нею...

Джеймс Олдридж в своей монографии «Каир» писал, что армию Окинлека составляли не только прожигатели жизни, но еще и «безнадежные идиоты». Очевидно, этот майор как раз и принадлежал к их числу, ибо сразу выдал секретную дату — 7 июня:

— В этот день танки Окинлека сомнут вас, — сообщил он, ударом метелки пресекая жизнь мухи на своем затылке...

Извещенный об этом, Роммель заранее — 26 мая — упредил Окинлека превентивным ударом. После войны германские историки не раз делали «попытки скрыть зависимость военных действий в Северной Африке от событий на советско-германском фронте, чтобы оправдать Роммеля». По их словам, во всем остается виноват Гитлер, который, вместо того чтобы продолжать натиск на Мальту, растянул коммуникации Роммеля, требуя от него взятия Каира, о чем так мечтал и Бенито Муссолини.

Но у Роммеля, помимо Гитлера и Муссолини, был свой искусный сатана, который и таскал его за собой по пескам Киренаики, чтобы «африканские качели» не переставали скрипеть под стенами Каира, мешая спокойно спать Черчиллю...

Что еще сказать вам? Скажу, что Паулюс обладал холодным академическим умом теоретика, малоспособным к завихрению страстей, зато вот его африканский приятель Эрвин Роммель действовал чаще по вдохновению — с бухты-барахты, как принято говорить среди нас, русских. Отрицать вдохновение глупо!

Может, именно по этой причине Эрвин Роммель намного раньше Паулюса получил чин фельдмаршала.

Полководцы, желаю вам быть вдохновенными!

. . . .

В эти дни Уинстон Черчилль, политик смелый и хитрый, был озабочен военно-политическим вопросом большой важности:

— Как предупредить Сталина, что второго фронта в этом сорок втором году не будет? Но мне, очевидно, предстоит убедить этого восточного деспота в том, что третий фронт против армии Роммеля в Африке и есть тот самый второй фронт, открытия которого с таким нетерпением ожидают русские.

Готовилась операция «Торч» («Факел»), чтобы пламя этого факела разгорелось над Африкой. Но как Африку выдать за Европу? В эти же дни — в далекой Америке — генерал Эйзенхауэр писал еще более откровенно: «Высадка в Северо-Западной Африке (в Марокко) должна начаться в тот момент, когда Германия настолько завязнет в России, что она не сможет снять с Восточного фронта ни одной своей дивизии».

Но Эрвин Роммель опередил противников...

18. РЕЗУЛЬТАТ

Окружение... И никаких надежд вырваться из котла не оставалось, как не оставалось и генералов — все геройски погибли в Барвенковском котле, который устроили им немцы не без помощи излишне «вдохновенного» маршала Тимошенко.

Больно. Почему так? Бездарные и самовлюбленные карьеристы не раз сдавали в плен врагу целые армии, а их подчиненные, попав в неволю, потом всю жизнь носили несмываемое клеймо изменников и предателей, чтобы после войны из гитлеровских концлагерей перекочевать в концлагеря сталинские.

Окружение... В редких перелесках и на дне размытых оврагов Харьковщины еще стучали робкие выстрелы. Нет, уже не отстреливались от врагов, а стреляли в себя, чтобы избежать позора. Партийные говорили товарищам по несчастью:

— Ну что, добры молодцы? Не пора ли погреться?..

Разводили маленькие костерки, на которых стыдливо сжигали партийные билеты и личные письма. Под корнями деревьев окруженцы зарывали ордена, питая слабую надежду на то, что после победы вернутся сюда обратно и откопают свои награды. Барвенковский выступ, столь удобный для развития викториальных фантазий горе-стратегов в Кремле, теперь превратился в жесткий котел, из которого не выбраться. Немцы прочесывали окруженцев трассирующими, швыряли в ночное небо ракеты, иногда покрикивая:

— Эй, рус, кончай ночевать! Хенде хох... сдавайс...

Не так-то легко выйти на большак и поднять руки.

Разговоры же среди окруженных остались известны.

— Я этого котла ожидал... с первого же дня, как поперлись, — говорил седой полковник. — Еще за месяц только и болтали, где и как пойдем Харьков брать, вот и доболтались. Если все мы знали о предстоящем наступлении, так и немцы готовились.

— Пожалуй, — согласился молодой капитан. — Ух, как обрадовались в первый день, когда нажимали. А немцы того и ждали, они пожертвовали своими заслонами, чтобы взять нас в клещи.

— Страшно! — сказал рыжий сержант.

— Всем страшно, не тебе одному.

— А мне всех страшнее. Я-то, видит бог, должен сейчас радоваться. У меня до козырька причин, чтобы ненавидеть эту, яти ее мать, советскую власть и этого гада усатого.

— Полегче, приятель, — предупредил его особист.

— Заткнись, курва! — отвечал сержант без робости. — Моего деда еще в коллективизацию шуранули на край света, где и загнулся с бабкой. А моего отца при Ежове к стенке прислонили в подвале да в лоб всадили ему пулю, чтобы башка не шаталась. Сижу с вами и думаю: живым бы в землю зарыться, чтобы немцы не нашли, а в плен не пойду... Я не за вашу партию воевал, а за то, что раньше именовали Отечеством...

По украинским древним шляхам день и ночь тянулись длиннейшие и неряшливые колонны военнопленных. Берлинские фанфары завывали на весь мир, празднуя победу. Геббельс возвестил по радио, что вермахт непобедим и под Харьковом он пленил 240 000 советских военнослужащих. И каждый из плененных уносил в своем сердце большую гражданскую и человеческую б о л ь, от которой не избавиться до конца всей жизни... Кто виноват?

. . . .

Сталин молчал. Наш историк А. М. Самсонов в научной монографии «Сталинградская битва» сообщает: «Причины этих трагических для советского народа событий долгое время не исследовались». Их попросту замалчивали! Мне, автору, понятно — почему: стыдно было признать страшные ошибки и, наверное, не стоило бередить в народе незаживишие раны.

Сталин молчал. Великая страна болезненно переживала два страшных поражения — под Керчью и под Харьковом. Это легко написать, но сколько осталось сирот, сколько слез пролито вдовами, сколько горя выпало матерям! Сейчас уже не проверить, сколько людей погибло, сколько попало в плен; известно, что из окружения вышло лишь 22 000 человек. Среди них только два генерала — К. А. Гуров и А. Г. Батюня.

Сталин молчал. На этот раз он никого не винил, понимая, что виноват сам. Виноват в том, что отверг мнение Генштаба и пошел на поводу заверений Тимошенко, который заблуждался сам и вводил в

заблуждение других. Теперь советские историки, анализируя причины неудачи под Харьковом, выделяют и этот факт — неверная информация Ставки о действительном положении на фронтах...

Ах, как ему хотелось предстать перед миром в прекрасной роли «величайшего полководца всех времен и народов», а теперь... Хорошо владея собой, он встретил Хрущева вопросом:

— Немцы по радио хвастают, что взяли в плен больше двухсот сорока тысяч, почти четверть миллиона... Врут, наверное?

Никита Сергеевич и сам с ног до головы был виноват в том, что произошло, но, однако, имел мужество не кривить душою:

— П р а в д а, товарищ Сталин! Вся наша армия там осталась, а немцам сейчас нет смысла врать...

А кто виноват? Кого посадить? Кого расстрелять?

— Под Харьковом четверть миллиона да эти дураки, Козлов с Мехлисом, сдали под Керчью еще сто пятьдесят тысяч наших бойцов, вот и полмиллиона — словно корова языком слизнула...

Ни маршал Тимошенко, ни член Военного совета Хрущев не пострадали, и это понятно — почему. Признать их виноватыми для Сталина означало признать и свою вину за поражение под Харьковом, а он, великий и гениальный, все заранее предвидящий и все понимающий лучше других, ошибок за собой никогда не признавал. Но несчастного библейского козла отпущения, изгнанного в пустыню за чужие грехи, следовало отыскать. И, будьте уверены, читатель, он его скоро отыщет...

Только через месяц — 26 июня — Сталин признал:

— Под Харьковом нам выпало пережить катастрофу, подобную той, что случилась в четырнадцатом году с армиями Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии...

Поразмыслив, он дал указание для Совинформбюро:

— Сейчас народу надо сказать всю п р а в д у...

Но говорить правду народу — это не в характере Сталина, и потому холуйски-услужливое Совинформбюро признало, что под Харьковом «пропало без вести» 70 000 советских воинов.

— Пусть об этом знают враги и друзья, что мы, большевики, говорим только правду, — утверждал Сталин...

Да, я согласен, что тогдашние сводки казались нам жестоко-объективны, иногда поражая откровенностью в признании слабостей нашего командования. Возможно, они порой выглядели даже излишне трагически. С какой целью? Эта обостренная доля правды должна была еще раз напомнить союзникам, что хватит уже «стоять с ружьем, приставленным к ноге», что второй фронт крайне необходим. Враги тоже понимали это. Германский историк Типпельскирх писал: «Открытое признание (Сталиным) поражения было первым, но не последним призывом русских к своим союзникам — не оставлять их будущим летом одних выдерживать натиск немцев...» Мнимая откровенность Сталина была, по сути дела, призывом о помощи.

— Черчилль, — говорил Сталин, — обещал, что со вторым фронтом поспешит, а наше дело — выстоять под Москвою...

Сталин по-прежнему был твердо уверен в том, что летом немцы снова будут наступать на Москву. Напрасно наша разведка проникла в тайны кабинетов ОКВ и ОКХ, докладывая «наверх», что летом вермахт будет развернут в двух направлениях — на Кавказ и на Волгу, но переубедить Сталина было невозможно:

— Гитлер верен своему правилу! Захватив столицу в Европе, он уже считался победителем всей страны...

В таком случае фельдмаршалу фон Клюге (командующему «Центром») было совсем нетрудно укрепить товарища Сталина в его несомненной правоте, и он очень искусно проводил операцию «Кремль», чтобы наш дорогой товарищ Сталин и остался в дураках.

Немецкая авиация демонстративно вела аэрофотосъемку подсту-

пов к Москве, полевые радиостанции «Центра», обычно осторожные, болтали о передислокации частей, в сумках убитых офицеров все чаще находили планы окраин столицы, партизаны докладывали, что немцы мастерят столбы дорожных указателей — на Москву! Немецкие офицеры, угодившие в наш плен, на допросах охотно показывали, что сейчас фельдмаршала Клюге интересует оперативная линия: Тула — Москва — Калинин. Если суммировать все эти данные, сомнений не возникало: враг уже готов повторить удар по нашей столице.

Сталину доложили, что Клюге ведет сильные атаки на московском направлении, и, наконец, перед ним на стол выложили подлинный приказ фельдмаршала от 29 мая. Вот его начало:

ДОКУМЕНТ № 1

Командование группы армий «Центр»	Штаб 29.5. 1942 г.
Оперативный отдел № 4350042	22 экземпляра.
Совершенно секретно	20/й экземпляр
Документ командования	штамп:
	Совершенно секретно!
	Содержание: «КРЕМЛЬ»
	Документ командования
	Передавать только офицерам

ПРИКАЗ О НАСТУПЛЕНИИ НА МОСКВУ

(карта 1 : 1 000 000)

1. Главное командование сухопутных войск отдало приказ о возможно скорейшем возобновлении наступательной операции на Москву...

И так далее.

Даже первого пункта этого приказа Сталину было достаточно, чтобы он окончательно уверовал в свои предначертания.

— Вот! — говорил он, даже довольный. — Теперь ни у кого не может быть сомнений относительно летних планов Гитлера...

Наш историк А. М. Самсонов признает: «Тот факт, что Советское Верховное Главнокомандование не разгадало подлинных намерений противника на летнюю кампанию 1942 г., позволяет предполагать, что это крупное дезинформационное предприятие фашистов не осталось без последствий». Смею думать, что Сталин еще более утвердился в своем ошибочном мнении после того, как маршал Тимошенко доложил ему с фронта:

— Товарищ Сталин, по моему глубокому убеждению, противник в настоящий момент на юге уже мною ослаблен, способный лишь на вспомогательные удары. Все свои главные силы он придерживает, конечно, для нового удара по Москве...

План операции «Кремль» и эти прогнозы маршала Тимошенко имели одну общую дату — 29 мая. Конечно, это случайное совпадение, какими история иногда любит шутить над нами.

...Эта глава была уже написана мною, как вдруг недавно, буквально на днях, я раскрыл свежий номер «Военно-исторического журнала» и понял, что Сталин все-таки отыскал главного виновника разгрома армий Тимошенко под Харьковом.

Им оказался, конечно же, Иван Христофорович Баграмян!

«Товарищ Баграмян, — диктовал Сталин, — не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку даже и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте. Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте... благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину уже выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18—20 дивизий...»

Длинные колонны наших военнопленных — несчастных.

Виноватого нашли! Легендарный «стрелочник» необходим...

. . . .

В самом конце мая Харьковская операция закончилась, и Паулюс спросил своего квартирмейстера фон Кутновски:

— Каковы потери моей армии в минувшем сражении?

— Двадцать две тысячи.

— Почему такая округленная цифра?

— Калькуляция потерь подведена лишь условно. Много пропавших без вести, еще отыскивают раненых. Кажется, — добавил Кутновски, — мы с трудом выбрались из этого кризиса?

— Да, — не скрывал от него Паулюс, — под Харьковом иногда возникали моменты, когда я думал, что город придется оставить. Но виновником моих опасений было упорство русского солдата, а никак не упрямство маршала Тимошенко... Впрочем, Наполеон был прав: бог всегда на стороне больших батальонов!

Полковник Адам настраивал радиоприемник. Из трескотни эфирных помех вдруг выделилось имя Паулюса. Берлин голосом Ганса Фриче возвестил о том, что генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Паулюс за полный разгром армий маршала Тимошенко возводится фюрером в кавалеры рыцарского креста.

— Признаюсь, — сказал Паулюс, — я надеялся на следующий чин генерал-полковника. Но стоит радоваться и кресту, ибо получение его сопряжено с приятным визитом в столицу...

Самолет приземлился в Темпельгофе лишь в два часа ночи, и Паулюс был безмерно удивлен, встретив Франца Гальдера, который ждал его. Скупо поздравив с наградой, Гальдер сказал:

— Мне без вас трудно работается, вы умели ладить с этим психопатом, а мы с ним грыземся, словно бродячие собаки из-за каждой кости. Я с трудом переношу его оскорбления, от которых краснеют не только стенографистки, но даже Кейтель с Йодлем... Садитесь в мою машину, дорогою переговорим. — Едва захлопнув дверцу, Гальдер сразу же начал бранить фюрера за непонимание самых насущных законов стратегии. — После ошеломляющей победы под Харьковом разве не абсурдно ли последующее расчленение армий на две группировки с дирекцией — на Кавказ и на Сталинград? Русские передушат нас там поодиночке...

Паулюс никак не желал драматизировать летние планы:

— Что бы вы сделали на месте фюрера, Гальдер?

— Сейчас мне хватило бы лишь *одного* Сталинграда.

— Но тогда моя шестая армия образует невыгодный клин с необеспеченными флангами от Воронежа до Ростова, вот тогда-то меня русские и задушат...

Гальдер сказал, что падение Воронежа (со стороны барона Вейхса) и возврат Ростова (со стороны Клейста) будут обеспечены в ближайшее время.

— Таким образом, ваша боязнь за свои драгоценные фланги отпадает сама по себе. Дело не в этом! — многозначительно произнес Гальдер и замолк, надвинув козырек фуражки на глаза.

Машина мчалась во мраке, пронзая улицы Берлина, еще два-три поворота, и они выедут на Альтенштайнштрассе.

— Вы, кажется, не поняли меня, — продолжил Гальдер. — Выходом к Волге я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее, и Красная Армия скончалась бы сама в жестоких корчах топливной дистрофии. Но при этом нам не пришлось бы штурмовать Эльбрус и залезать в Баку!

— И вы ждали меня, чтобы...

— Ждал. Чтобы просить вас, Паулюс, при свидании с фюрером убедить его в высочайшее невежество в стратегической выгоде одного лишь Сталинградского направления.

— Обещаю. Но при условии. Если ваши оперативные сентенции не нарушат ритуала моего награждения...

(Оба они, и Гитлер и Гальдер, желали выиграть войну, теперь уже если не оружием, то хотя бы топливным дефицитом советской промышленности, конкретным параличом советских двигателей. Но подходили к этой победе разными путями. Гитлеру хотелось сосать горючее прямо из нефтяных скважин Кавказа, а Гальдер, более осторожный, желал лишь перекрыть Волгу, которая в те годы была для нас главным «нефтепроводом». Мне, автору, трудно давать оценку вражеским рассуждениям. Я сошлюсь на мнение видного английского историка Лиддела Гарта; в книге «Стратегия непрямых действий» он писал о планах вермахта на Кавказе: «Это был тонкий расчет, который был ближе к своей цели, *чем принято думать...»)*

Дома Паулюса не ждали; разбуженная его появлением жена, оказывается, все уже знала — по газетам.

— Рыцарский крест, — горячо шептала она, — к нему бы еще мечи и дубовые листья. А потом и жезл фельдмаршала... Ах, Фриди! Как я счастлива, что стала твоей женой... Мне последние дни все чаще вспоминался давний Шварцвальд, наша первая прогулка в горы, где у тебя закружилась голова.

— Коко, спасибо тебе за все! — отвечал Паулюс. — Но голова у меня кружится и теперь. Я трудно переношу всякую высоту...

Берлин сильно изменился. Высокие заборы отгораживали здания, уничтоженные английскими фугасками. Прохожие выглядели озабоченно. Семьи Паулюса нужда не коснулась, но другие — не элита общества! — получали в неделю 250 граммов сахара, столько же маргарина, который иногда заменяли свекольным мармеладом. На все продукты были введены карточки, ордера-бецугшайны — на одежду и обувь, особые талоны — купоны — на обед в ресторанах. Горничная рассказывала Паулюсу:

— Множество талонов и карточек! На случай отпуска, болезни и регистрации брака. Карточки для тех, кого еще не бомбили, и карточки для тех, кто уже испытал это безумное удовольствие, для инвалидов другие — с повышенной калорийностью. Если бы не посылки солдат с Украины, я не знаю, как бы мы тут жили...

В подворотнях Берлина торчали безногие и безрукие калеки. Выкриками на ломаном русском языке они давали понять, что побывали на Восточном фронте. Их выкрики, порою грубые, иногда безобидные, зачастую предназначались тем же русским людям, насильно угнанным в Германию, и теперь эти «рабы» ковырялись лопатами в канавах, они чистили трамвайные пути, разбирали руины зданий... Странно, что на московских радиоволнах слышались задорные частушки, а немцы казались подавленными.

Бархатный воротник генеральского мундира ласкал шею Паулюса, которую облегала лента рыцарского креста. Гитлер долго тряс руку, заглядывал прямо в глаза:

— Сейчас есть два громких имени в Германии — это вы и Роммель! Я всегда высоко оценивал ваши способности и был рад доверить вашему руководству именно шестую армию, лучшую армию вермахта. Надеюсь, победа под Харьковом послужит для вас удобным трамплином для прыжка через Дон — прямо к Волге! Помните, что я вам сказал однажды: с такою армией, какова шестая, можно штурмовать даже небо...

После таких слов терялся всякий смысл отстаивать брюзгу Гальдера, и Паулюс вскинул руку в нацистском приветствии.

— Служу великой Германии, — был его ответ по уставу...

Геббельс в эти дни сотворил из Паулюса кумира всего вермахта, сделал из него популярный «боевик» для своей пропаганды. Газеты именовали Паулюса подлинно-народным генéралом, вышедшим из народных низов, его называли героем нации, портреты Паулюса были выставлены в витринах магазинов на Курфюрстендам, их показывали в обрамлении лавровых венков. Правда, подле изображения Паулюса всегда соседствовали и портреты его приятеля — Эрвина Роммеля. Иногда меж ними являлся и весело хохочущий Курт Зейдлиц, аристократ с лицом деревенского парня, герой прорыва окруженной армии из гибельного Демянского котла...

— Фриди, ведь это слава, — говорила Коко, стараясь не выдавать своего ликования. — Когда смотрят на тебя, то все невольно оглядывают и меня. Расскажи мне еще раз о нашем сыне.

— Не волнуйся. Доктор Фладе следит за его здоровьем. Я его отправлю погостить к румынскому дяде и твоему брату, пусть он восстановит силы на королевском курорте в Предеале...

Паулюс появился с женою в опере и за спиной не раз слышал восторженные голоса: «Паулюс... тот самый! Герой нации и любимец фюрера...» Да, это была слава, которая не так уж часто ласкает честолюбие полководцев. Он нашел время навестить сестру Корнелию, у которой застал какую-то тихую пожилую женщину, всплакнувшую при виде Паулюса, и он с большим трудом узнал в ней ту самую девицу, что давным-давно была в него влюблена.

— Неужели вы... Лина Кнауфф?

— Увы! Была. А теперь... вдова Пфайфер. Я счастлива, что вижу вас снова, а вы такой же стройный, как и в молодости...

Это свидание невольно всколыхнуло былое. Паулюс с какой-то минорной грустью вспомнил прежние годы, не забыв и тот гороховый суп, что приносил из тюрьмы бедный и добрый отец.

— А как ведь было вкусно! — сказал он...

Дела звали на фронт. Паулюс устроил прощальный ужин в ресторане «Фатерланд» на Потсдамской площади. Среди множества его богатых залов — баварского, рейнского, саксонского и прочих — он выбрал для себя родной гессенский зал.

— Что вам угодно? — склонился метрдотель.

— Картофельные оладьи, — ответил Паулюс.

— Простите, я не ослышался? У нас ведь очень богатая кухня, в «Фатерланде» кормят гостей не по карточкам.

Паулюс не изменил своим привычкам:

— Оладьи! С луковой или грибной подливкой... К сожалению, у меня строгая диета, а я должен оставаться в форме.

. . . .

Долго-долго тянулись от Барвенково многотысячные колонны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, когда их загнали за колючую проволоку, всем дали — ешь сколько влезет! — по миске круто сваренной баланды из могара. Наш художник Владимир Бондарец, угодивший в плен под Барвенково, описал нам, каковы были последствия этой кормежки: «Многие сразу поняли весь ужас своего положения, перепуганно приуныли и целыми днями висели на краю зловонной ямы, пытаясь проволочной петлей извлечь из себя затвердевшую пищу. Но было уже поздно...» Тысячи, десятки тысяч трупов там и остались. Если бы Сталину рассказали об этом, он скорее всего ответил бы убежденно:

— А не надо было изменять родине...

Дикая мораль! По мнению Сталина, советский человек, если ему угрожает плен, обязан покончить с собой. Для «вождя народов» как бы не существовало многовековой военной истории, в которой всегда бывали пленные, но никакой тиран не требовал от своих верноподданных, чтобы они стрелялись, вешались, травились или резались. В самой идее Сталина было заложено *безнравственное начало!* Никогда

не щадивший людей, он от людей и требовал невозможного — чтобы они тоже не щадили своих жизней.

Да, он умышленно не подписывал Женевскую конвенцию! Мне рассказывали люди, пережившие все ужасы гитлеровских концлагерей, что французы, англичане и прочие узники регулярно получали продовольственные посылки от международного Красного Креста, и только наши бедолаги, взращенные «под солнцем сталинской конституции», ничего не имели, умирая от голода. А немцы им говорили (и на этот раз, кажется, даже справедливо):

— Мы не виноваты, что вы доходяги! Надо было вашему усатому подписать Женевские протоколы, тогда бы и вы не шатались от голода. А теперь — вон помойка! Иди и копайся в ней. Что найдешь — все твое будет...

Хочется эту тему продолжить. Англичане не меньше нас, русских, любят свою родину, но даже их традиционный «джингоизм» (ура-патриотизм) никогда не мешал им сдаваться в плен целыми гарнизонами, и в Англии их за это не клеймили позором, за решетку их не сажали. Но у нашего вождя было иное мнение о всех военнопленных, весьма далекое от примитивного гуманизма. Дело дошло до того, что однажды де Голль сообщил Сталину, что его люди проникли в тот концлагерь, где сидел его сын Яков Джугашвили, и разведка де Голля бралась его из неволи вызволить. Сталин на это предложение даже не ответил. Наверное, он и родного сыночка считал «изменником» (или «пропавшим без вести», как называли тогда всех, кто попал в плен).

...Прямо от стола гессенского зала «Фатерланда», доев свои оладьи с подливкой, Паулюс вылетел на фронт. В полночь радист «юнкерса» принял из эфира депешу из канцелярии Геббельса, извещавшего Паулюса, что скоро пришлет в Харьков радиокомментатора Ганса Фриче, чтобы тот с места событий воспевал геройские подвиги его прославленной армии.

Паулюса на аэродроме в Харькове встречал верный Адам.

— Я уверен, — сказал ему Паулюс, — что фон Клюге, разыграв эту фальшивую операцию «Кремль», замаскировал внимание русских от наших южных направлений. Завтра мы и приступим...

Спал он очень мало, но рано утром в Красных Казармах Харькова, где когда-то размещались штабы советской армии, Паулюс сразу поднялся в оперативный отдел.

— Внимание! — распорядился он. — Прошу разложить карты большой излучины Дона, которая выгибается столь усердно, словно природа когда-то желала влить донские воды в Волгу.

Сразу засуетились десятки расторопных офицеров:

— В каком масштабе карты? В стратегическом?

— Нет. Сразу в оперативном. Уже в конце июля этого года мы должны быть в Сталинграде на Волге.

— Тогда прикажете готовить и карты Волги?

— Да, от Саратова до Астрахани. Я выбираюсь на черту, которую САМ и установил для вермахта два года назад... Внимание!

19. НА ПОРОГЕ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Итало Гарибольди, начернив усики и глядя на портрет Наполеона, с которым он не расставался с тех пор, как переболел триппером в Париже (еще до первой мировой войны), уже входил в роль великого итальянского полководца. Проверив, как расположена на его груди гирлянда сверкающих орденов, он сказал:

— Такие вещи прощать нельзя! Затребуйте в Харьков выездную сессию военного трибунала, чтобы судить этого... как его?

— Франческо Габриэли.

— Вот-вот! Этого негодяя надо расстрелять перед строем...

Вина берсальера Франческо была ужасна. Он сидел на завалинке избы в деревне Телепнево и ел огурец, украденный на ближайшем огороде, когда кто-то, проходя мимо, окликнул его:

— Опять жрешь. А сейчас твоего капитана Эболи шлепнули.

На это бравый берсальер встряхнул петушиным хвостом, украшавшим его каску, и, доедая огурец, изволил ответить:

— Ну и что? Одним меньше. Туда ему и дорога...

В бывшем клубе металлистов Харькова состоялся судебный процесс над Франческо Габриэли, где подсудимый оправдывался:

— Правда, ваша честь. Я не скрываю, что имел глупость произнести именно такие слова. Но как раз в этот момент я приканчивал огурец и мой возглас «одним меньше» относился только к этому огурцу, а никак не к погибшему капитану Эболи, отдавшему жизнь за нашего короля и нашу славную партию.

— Вы тут не выкручивайтесь! — разъярились судьи. — Да, свидетели подтверждают, что вы ели огурец. Но после выражения «одним меньше» вы добавили слова «туда ему и дорога». Чем вы объясните свое предательское поведение?

— Правда, ваша честь, — сознался берсальер, начиная плакать. — Все так и было. Когда я увидел, что от огурца ничего уже не осталось, я сказал: «Туда ему и дорога!» При этом, ваша честь, я имел в виду свой ненасытный желудок, давно тоскующий по макаронам. Не мог же я запросы своего желудка сравнивать с геройской гибелью своего отважного капитана...

Суд вынес постановление: Франческо Габриэли намертво приковать к пулемету и посадить в обороне на самый опасный участок фронта, чтобы он отстреливался до последнего патрона. Ночью этот берсальер ушел к русским и утащил за собой пулемет. Там русские солдаты его расковали и накормили опять-таки огурцами, которых полно было тогда на брошенных огородах.

«Одним меньше!»

. . . .

А здесь — тоже суд, и нам уже не до юмора.

На скамье подсудимых — жалкий, затравленный человек.

Но суд военного трибунала безжалостен:

— ...гражданин П. А. Головченко, исполняя должность начальника вагонного депо сортировочной станции Сталинград-II, используя свое служебное положение, в первых числах мая сего года отцепил от воинского эшелона железнодорожную емкость-цистерну с авиационным спиртом, который и расходовал в корыстных целях. Исходя из законов военного времени, гражданин П. А. Головченко приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу! Подсудимого можно увести...

Чуянов ничего этого не знал, поглощенный повседневными заботами, которые обрушивались на него со всех сторон, требуя ежедневных, ежечасных, ежеминутных решений. Первые бомбежки Сталинграда (начались еще в апреле) не нарушили городского ритма, зенитным огнем отстояли цеха заводов от попаданий фугасок, но Рихтгофену удалось высыпать вороха зажигалок на жилые кварталы Рынка, на рабочие поселки СТЗ. Фронт надвигался. Из станицы Вешенской, где проживал М. А. Шолохов, сообщали, что их бомбят непрестанно.

Воронин удивлялся:

— За что так достается станице Вешенской?

— Как не понять? Популярность Шолохова исключительная, лишиться его сейчас — нанести рану всем нам, а заодно и порадовать Геббельса... Вот и сыпят осколочными! Я недавно видел Михаила Александровича, — сказал Чуянов, — он в ужасном состоянии и, подобно многим казакам, отказывается понимать, как это случилось, что немецкие танки уже вылезают к тихому Дону.

— Я тоже не понимаю, — сознался Воронин. — Черт его задери —

этот Барвенковский выступ! С него-то все и началось. Как говорится, «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены...»

В это время у нас в стране с доставкой горючего все было более или менее в порядке, не хватало только высокооктановых сортов авиационного бензина (его поставляли нам союзники с караванами — через Мурманск). Москва постоянно требовала от Астрахани и Сталинграда энергичнее перекачивать в верховья Камы запасы жидкого топлива — судами «Волготанкер» или нефтеналивными баржами. С трудом, но справлялись! Сама цифра вывоза невольно ужасала — десять миллионов тонн, в первую очередь следовало спасать высокосортные нефтепродукты (бензин и лигроин). В низовьях Волги уже не знали, куда сливать запасы нефти, поступающие из Баку в немыслимых количествах. Емкостей для хранения не было.

Алексей Семенович срочно вылетел в Астрахань, где увидел гигантские нефтяные озера в искусственных ямах. «Немецко-фашистская авиаразведка, — писал он в дневнике, — непрерывно ищет эти склады... подняли на ноги всех пожарников. Всякое может быть — и бомба, и удар молнии в земляной склад, а тогда катастрофа неминуема». Чуянова порадовало скорое создание многопролетного моста через Волгу под Астраханью — мост позволял «протолкнуть» длиннейшие эшелоны, застрявшие на путях Кавказа.

Домой возвращался на попутном истребителе, который все время забирал в полете правее, в калмыцкие степи, чтобы не напороться на немцев; подлетая к сталинградской Бекетовке, издали видели шапки зенитных разрывов — это девушки-зенитчицы отстаивали от пиратов Рихтгофена элеватор, мясобойни и здание Сталгрэса.

Алексей Семенович выискивал скрытые резервы города.

— А что делают наши трамвайщики? — однажды спросил он.

— Как что? Людей возят. На работу и обратно.

— Бездельники! У них там свое депо, свои мастерские и старые рабочие кадры. Пусть наладят производство гранат...

Над столом Чуянова — плакат: *«Все для фронта, все для победы!»* Кирпичные заводы Сталинграда уже выдавали взрывчатку — динамон марки «О». Чуянов вспомнил, что в вагонном депо задержали сдачу бронепоезда фронту: не хватало спирта, нужного для обработки металла. На звонок в депо дежурная ответила, что инженера Головченко теперь у них нет:

— Под статью подвели. Наверное, давно ходанули.

— Головченко? — оторопел Чуянов. — Под статью? За что?

— Не знаем. Дело тут темное, а мы люди маленькие...

Воронин сообщил из НКВД, что тюрьма уже переполнена:

— Провели облавы по вокзалам и пристаням, в очередях. Взяли всех, кто без документов. Спекулянтов, дезертиров, хапуг, жуликов, паникеров. В донских станицах каждую ночь ловят диверсантов. Посылаю туда истребительный батальон.

— Стоп! Сначала доложи — что там с Головченко?

— Отцепил, гад, цистерну со спиртом и угнал к себе в депо.

— Спирт-то он пил?

— Нет. Все трезвые.

— Живой?

— Не знаю.

— Приостановить действие приговора...

— Постой! Он же ведь сам во всем сознался.

— К вам только попади, так сразу сознаешься, что это я велосипед изобрел... А я знаю Головченко, это честнейший человек, трудяга. Не спорю, что увел спирт. Просто он напоролся на нашу бюрократию. Дело в депо стояло, а под боком торчала на путях и эта цистерна со спиртом. Вот и пошел на преступление. Но ради дела общей победы... Головченко я не отдам! Буду жаловаться.

— Семеныч, да кому жаловаться-то?

— Лично товарищу Сталину. Если ты, начальник областного НКВД, однажды отыскал целый эшелон с пушками, то почему бы другому эшелону не потерять одну цистерну со спиртом? Понял? Или не дошло?

Воронин, уходя, оставил ему вражескую листовку: «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки», — так и было написано.

— Во, заразы! — ругался Чуянов. — Хоть бы постыдились. И где они поэтов находят... однако все в рифму.

Чуянов, весь в запарке, уже издерганный, позвонил в Воронеж — секретарю тамошнего обкома партии Тищенко:

— Владимир Осипыч, как там справляешься?

— А... никак! — донеслось из Воронежа. — У меня в городе уже двадцать два госпиталя. Эвакуированные. С детишками. С мешками. Голодные. На вокзалах — стон стоит. По улицам гонят колхозные стада. Коровы ревут, их не успеваем выдаивать. Элеваторы забиты зерном. Молоть уже некогда. Зерно самовозгорается. А тушить — вода. Значит, зерно сгниет. В холодильниках всего навалом. Начиная со шпика и кончая банками с камчатскими крабами. Вывозить? Так нет транспорта. А есть транспорт, так нет бензина. Лимит, братец, лимит! Мне кричат из Москвы: «Вывози, такой-сякой-немазаный...» А — как?

Чуянов выслушал коллегу, посочувствовал, ответил:

— Только не гони беженцев ко мне — Сталинград не резиновый. Со скотом тоже не знаю как быть... Бомбят?

— Не очень. Уже привыкли.

— Ну, жди! Ты ближе. Западнее... Пока!

Только отговорил с Воронежем, звонок из Астрахани:

— Семеныч, это я — Голышев... Нас тут бомбами разнесли к чертям собачьим. В городе пожары. Деревяшки горят. Два часа без передыху садили по переправам. Водопровод не действует. Сидим без света. Но нефтехранилища уцелели... Мы тут сами диву даемся: как немцы в самолетах сверху их не заметили?

Никак не дозвониться было в местный штаб ПВО, пришлось связаться с генералом Герасименко, начальником военного округа:

— Василий Филиппович, слышал ли? Астрахань уже разбомбили. Я на днях летел оттуда, так с высоты видел нефтяные ямы — они сверху как зеркала. Понимаю. Одеялом не закроешь. Но ты подумай сам: нужны ли над нефтехранилищами аэростаты? Что? Отпугивать врага? А может, наоборот, они привлекают? Эти «колбасы» и у нас в Сталинграде точно показывают немцам, где мы храним все свое горючее... Ладно.Ты зайди ко мне.

А потом думал: «Ну ладно — нефть. А как замаскировать от летчиков огненное зарево мартеновских печей? Ведь ночные бомбардировщики видят их пламя за многие мили и летят, как мухи на патоку... Чем тут закроешься?» Из Вешенской сообщили, что немецкая авиация недаром кружила над станицей: вчера бомба разорвалась как раз во дворе дома Шолохова:

— Мать писателя погибла. Михаил Александрович страшно переживает. Семью он потерял. Наверное, после похорон выедет к вам. Вы уж как-нибудь утешьте его... Ладно?

Вскоре Чуянова навестил командующий округом Герасименко:

— Жарко, Семеныч. А я к тебе... по важному делу.

— Садись. Я тоже замотан. Ну, что у тебя?

— Понимаешь, — начал Герасименко, прищелкнув пальцами для полноты впечатлений, — у нас в гарнизоне полно девах разных. По мобилизации. Ну, и добровольно. При зенитных батареях служат.

— Ну, как же! Знаю. Уважаю.

— Уважения мало, — сказал командующий. — Их еще и одеть надо. У них там все по вещевому аттестату: гимнастерки, шапки, ватники... Все есть, сам понимаешь, но для девок этого мало.

— Так чего же им еще не хватает?
— А куда прикажешь титьки девать?
— Какие титьки? — совсем обалдел Чуянов.
— Самые обыкновенные. И нуждаются наши зенитные батареи как раз в том, что в вещевом аттестате солдату не предусмотрено.
— А что там?
— Нужны бюстгальтеры, а в наших магазинах, я уже пошукал, одни барометры для измерения атмосферного давления да еще вот такие громадные щипцы для завивки волос — и все!
— Слушай, дорогой, где я тебе бюстгальтеров наберу?
— Твое дело. Хоть тресни, а достань, — заявил Василий Филиппович. — Это еще не все: девка — организм сложный, на солдата мало похожий. Как хочешь, а каждый месяц ей по куску ваты давай... опять же в вещевом аттестате не предусмотрено, чтобы солдата ежемесячно ватой снабжали.
— Ну ладно, — сказал Чуянов. — Пошурую. Может, найду... Ах, боже мой, какие мы, Филиппыч, все убогие да бедные. И ни хрена у нас нету. Чего ни коснись — все проблема...
Герасименко ушел. На пороге кабинета возник солдат штрафного батальона, бывший инженер вагонного депо П. А. Головченко:
— Пришел проститься перед отправкой... Спасибо, Алексей Семеныч, что не дали пропасть как собаке. Штрафбат тоже не сахар, сами понимаете. Но тут хоть честно — до первой крови. А уж крови не пожалею. Войнища тут такая пошла...
Чуянов вышел из-за стола, обнял штрафника.
— Ты меня тоже прости. Если б мы умели работать как надо, тебе не пришлось бы воровать по ночам цистерны со спиртом... Хорошо, что зашел. Давай, брат, по стакану тяпнем перед разлукой. Так уж положено на святой Руси. Закуски, правда, нет, да и хрен с ней, с закуской, рукавом утремся. — Выпили, утерлись, помолчали. — Куда ты теперь? Далеко ли? — спросил Чуянов.
— Да нет. Это раньше на войну далеко ходили... Вон Суворов аж в Италию забрался. А теперь... завтра уже буду в окопах!
Чуянов показал инженеру немецкую листовку: *«Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки»*.
— Во, какая поэзия у нас поехала. Хоть плачь, хоть смейся. Оказывается, Паулюс-то уже двадцать пятого июля обязан выйти к Волге, вот и нажимает на Дону. Но Сталинград не сдадим. Верю, что наш красноармейский ансамбль песни и пляски под управлением товарища Александрова еще споет и спляшет в Берлине...
— Я до Берлина не дойду... ухайдакают меня здесь, на пороге родного дома. Так что это хорошо, что мы выпили. В разлуку вечную. Ну ладно. Пора идти.
Головченко повернулся и ушел воевать — недалеко, здесь.
С улицы раздался трубный рев — это служители зоопарка повели к Волге купаться слониху Нелли.

. . . .

— Я надеялся, — говорил Паулюс, — что между сериями кратких блицкригов возникнут промежутки оперативных пауз, дающие нашей армии передышки. Но эти редкие паузы русские заполняют плотным сопротивлением, и потому война с Россией не даст нам времени, чтобы отдохнули наши кости и мышцы. Мне представляется, что урок, полученный Тимошенко под Харьковом, оказался внушительным, и сейчас Тимошенко ведет себя осторожнее, обращается с нами так, будто мы драгоценная хрустальная ваза.
Эти слова Паулюс высказал перед Иоахимом Видером, офицером его разведки; сын католического священника, он импонировал Паулюсу своей набожностью, считая себя на войне участником какого-то адского шабаша, в котором и сам он, Иоахим Видер, т о ж е повинен. Сейчас он, отвечая командующему, высказал мысль о том, что Тимошенко, давно загипнотизированный штурмом линии Маннергейма, многому научился:
— У нас, у немцев! В боях под Харьковом маршал, кажется, хотел бы окружить нашу армию, используя те приемы «раковых клешней», что принесли вермахту успех в сорок первом... Но у русских явно не хватило нашего громадного опыта по окружениям противника и нашей отличной организации.
Паулюс согласился с Видером, но не во всем:
— Пожалуй, Тимошенко стал осторожнее в обращении с нами, но я не заметил новизны в его тактике, сейчас он будет отступать, чтобы сберечь остатки того, что у него сохранилось...
В штабе его ждало письмо из Бухареста — от шурина Розетти-Солеску, пострадавшего за участие в заговоре против румынского диктатора. Паулюс просил зятя не проговориться об этом:
— Жена очень любит своего брата, ее огорчит крах его камергерства при дворе короля Михая... Антонеску, между нами говоря, сущий спекулянт: он уже понял, что без его нефти в Плоешти нашему фюреру не разжечь даже примуса. И потому Бухарест набивает цену — на себя и на свою нефть... Конечно, пока мы не выбрались к промыслам Майкопа, мы будем всегда зависимы от этого пройдохи с повадками опереточного шулера!
— Но фюрер, — отвечал барон Кутченбах, — к Антонеску относится хорошо. Пожалуй, намного лучше, чем к Муссолини.
— Не спорю, — согласился Паулюс. — Но, будь в Италии залежи нефти, он бы облизывал под хвостом и Муссолини...
Этот разговор возник неспроста. Паулюс всегда интересовался румынскими делами, и не только потому, что был женат на румынке, но еще и по той причине, что румынские войска входили в подчинение его 6-й армии. Правда, немцы относились к союзникам пренебрежительно: «Макаронники хуже румын, — говорили они, — а кукурузники хуже макаронников». Как бы ни старался Антонеску угодить Гитлеру, поставляя ему по дешевке нефть и своих солдат, румыны всегда испытывали уважение не к немцам, а именно к русским, и эти чувства они переняли от своих дедов и прадедов, которые всегда видели в России свою защитницу, не раз выручавшую их в османской неволе. К своим офицерам румынские солдаты не питали особого почтения, а социальные перегородки сказывались даже в еде: если в германском вермахте солдаты и офицеры кормились из одного котла, то в армии Антонеску офицеры питались за особым столом, и этот стол был намного лучше солдатского. Может, по этой причине Паулюс неохотно посещал румынские части, чтобы не встречаться с какими-то недоверчивыми взглядами румынских солдат.
Паулюсу было известно, что говорили румынские солдаты: «Я боюсь сдаться в плен, русские посадят нас за колючую проволоку вместе с немцами, и тогда немцы отберут у нас последний кусок хлеба...»
Паулюс давно покинул тихую Полтаву и со всеми штабами армии перебрался в Харьков, где на площади Дзержинского разместился с зятем в двухкомнатной квартирке. На кухне барон Кутченбах, скинув мундир эсэсовца и повязавшись передником, жарил на сковородке оладьи и варил кофе для своего тестя. Все это создавало обстановку некой семейственности. А по утрам зять брился перед зеркалом, тихонько мурлыча по-русски:

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля...

В постоянном общении с зятем Паулюс уже начал осваивать трудности русского языка; пусть даже коряво, но все же иногда он пытался вступать в разговоры с местными жителями. Между Паулю-

сом и зятем однажды возникла некоторая зловещая недоговоренность. Началось с пустякового вопроса Кутченбаха:

— Насколько вредны выхлопные газы танковых моторов?

— Не советую вдыхать. Это такая зараза, что любого из нас свалит в госпиталь с очень стойким отравлением легких.

— А куда списывают старые моторы танков, которые исчерпали свои технические ресурсы?

— Они могут еще долго работать дальше. Но уже не в боевой обстановке. А почему вы спрашиваете об этом, Альфред?

Кутченбах сказал, что в польской Белжице танковые моторы дают выхлоп газов в камеры смертников, в концлагере Треблинка для этих же целей установлен дизель с подводной лодки.

— Вы уверены, что это не сплетня? — спросил Паулюс.

— Об этом я слышал от Хубе и Виттерсгейма. Танковые генералы, уж они-то знают судьбу отработанных моторов.

— Боюсь, они повторяли злостную выдумку врагов Германии, — не поверил Паулюс. — Если же это правда, то вермахт не виноват: на подобные зверства способны только сопляки из СД или СС... Но только не честный немецкий солдат!

— Германа Гота вы считаете честным солдатом?

Генерал-полковник Герман Гот командовал 4-й танковой армией, постоянно соприкасаясь в делах фронта с Паулюсом.

— Безусловно, — подтвердил Паулюс.

— А доктора Отто Корфеса?

— Вне всяких сомнений. Оба они честные солдаты.

— Так вот, именно Корфес был под Волчанском свидетелем, когда русские засели в блиндаже, не сдаваясь. Герман Гот подогнал задним ходом свой танк и весь газовый выхлоп отработал в амбразуру русского дота... Вы, — завершил Кутченбах, — отменили приказ Рейхенау, а Гот дополнил его новыми статьями.

Паулюса вдруг навестил генерал Георг Штумме — носитель не совсем-то доходчивой клички «шаровая молния»:

— Мой рапорт по команде о том, чтобы меня по состоянию здоровья перевели в африканский корпус Роммеля, где-то застрял, и я хотел бы просить вас, господин генерал-полковник...

— Никаких просьб! — сразу отказал Паулюс. — Вы мало цените честь состоять в шестой армии, которая известна не только вермахту, но ее знают в немецком народе. Вам просто желается избежать опасностей, которые сопутствуют всем нам на русском фронте в большей степени, нежели на африканском...

«Шаровая молния» доказал непредсказуемость своего поведения тем, что вместо двери хотел шагнуть прямо в окно, но его удержал за хлястик командующий славной армией:

— Не дурите, Штумме, вас ждут великие дела!

— Но, шагнув с пятого этажа без помощи лифта, я хотел лишь доказать вам, что опасностей не страшусь...

В одну из ночей английская авиация разнесла бомбами спящий Кельн: промышленность, как всегда, не пострадала, зато взрывами по кирпичику были разбросаны жилые кварталы, немцы прямо из теплых постелей переселились в холодные могилы. Известие об этом сильно отразилось на настроении солдат 6-й армии, многие из которых были уроженцами Кельна, и теперь они говорили:

— Если я не могу отомстить Англии, так я отыграюсь на русских. Пусть они плачут, их слезам Черчилль все равно не поверит. Вперед, парни: Дон уже недалеко, а за Доном течет и русская Миссисипи — Волга... Говорят, там плавают здоровущие стерляди. Во такие — как жирные поросята. Насытимся...

Иоахим Видер, человек религиозный, был, наверное, прав, что война порою напоминала ему адский сатанинский шабаш. Пережив

ужасы Сталинграда, как свою личную трагедию, он после войны писал:

«Перед историей грешен и фельдмаршал Паулюс, который до самого конца не смог освободиться от ослепления и трагических иллюзий. Он оказался не в состоянии осознать дьявольскую природу происходящего. Ему не хватало необходимой политической проницательности и способности прислушаться к голосу собственной совести».

Этому приговору Видера можно верить, ибо Видер очень хорошо относился к Паулюсу, считая его человеком в личном плане, вполне порядочным и честным.

. . . .

После катастрофы под Харьковом в войсках Тимошенко отрешились от ложного представления, будто враг ослаблен, а мы каким-то чудом усилились. Вермахт показал свои зубы, хотя уже и расшатанные, но внешне еще здоровые, способные разрывать все живое. Резкий перелом в делах на фронте повлиял даже на маршала Тимошенко: теперь он соглашался на отвод войск, лишь бы не оказаться в позорном окружении.

Сталин, сущий дилетант в вопросах стратегии, по-прежнему был уверен, что снова подвергнется нападению Москва — ложная операция «Кремль» убедила его в этом, а потому возле столицы были развернуты главные резервы. Особой озабоченности у Сталина еще не было, хотя он уже понимал, что маршал Тимошенко — это лишь парадная вывеска довоенных времен, а к управлению армиями он полностью неспособен. Но...

— Где мы сыщем Гинденбурга? — не раз говорил Сталин, перебирая военачальников, способных выправить положение на южных фронтах.

В один из дней А. М. Василевский застал Сталина беседующим по телефону, и речь Верховного была раздраженной:

— Вы постоянно твердите мне о слабости противника, но при этом требуете от меня новых резервов... У меня нет танков! Я вам для Харькова уже дал танков гораздо больше, нежели их было у противника, но вы не умеете их использовать, а кончилось тем, что половину танков отдали противнику...

Разговор окончился. Поймав на себе вопросительный взгляд Василевского, Сталин сказал, что звонил Тимошенко.

— Тоже не... Гинденбург! — вдруг сказал он.

Было видно, что Сталин ищет ему замену, но еще не решил, на каком из полководцев остановить свой выбор. Задумчиво набивая табаком трубку, Верховный недовольно проворчал:

— Еременко тоже... но в обороне был совсем неплох. Вообще-то генерал из драчливых. Жаль, что он сейчас ранен.

Если «кадры решают все», то война, самый жестокий судья, сама отбирает кадры, внимая гласу народному, гласу божьему.

Но Сталин этого еще не понимал — он желал назначать людей указом, считая, что его указа вполне достаточно, чтобы человек, отмеченный его доверием, сразу заблистал талантами. После провала Керченской операции уже был образован новый для страны фронт — Северо-Кавказский, а командовать этим фронтом Сталин послал — кого бы вы думали? — опять-таки песенно-конюшенного Буденного, которого уж никак не причислить к плеяде всяческих «гинденбургов». Мало того! Сталин указал ему — заодно уж — командовать и Черноморским флотом, что, сами понимаете, не вызвало бурной радости среди моряков-черноморцев...

Сталин злобно выколачивал пепел из своей исторической трубки:

— Ладно, — сказал он Василевскому. — Вы позвоните Еременко в госпиталь. Справьтесь о здоровье. А я звонить не хочу..., чтобы он не зазнался!

20. ПАНИКА В КАИРЕ

Вернемся в Киренаику...

После падения Сингапура удержание Тобрука стало для Черчилля вопросом его политического престижа, а сам Тобрук, если говорить честно, стратегической ценности не представлял. Вряд ли он был нужен и Гитлеру, но для Роммеля этот город-крепость значил многое.

Как только не называли Роммеля — ловкий фокусник, шарлатан, цирковой эксцентрик, авантюрист и даже эквилибрист на проволоке. Согласен, что Роммель действовал иногда, как азартный игрок, часто ставя на последнюю карту — и эта карта оказывалась козырной. Роммель всегда верил в победу, испытывая величайшее презрение к противнику, а риск своего положения он просто не считал нужным учитывать, слепо доверяясь фортуне, которая ему благоволила...

Во время своего последнего визита в Берлин Роммель был, конечно, извещен о планах вермахта в предстоящей летней кампании. Сейчас он сидел в штабном автобусе, изнутри обвешанном картами, и говорил, что Каир сам по себе ему не важен:

— Важен Суэцкий канал и выход в Палестину, а где-то там, в безбрежном отдалении, в конце лета я пожму руку Клейсту, чтобы совместно следовать... хотя бы до Индии!

По общей договоренности между Гитлером и Муссолини, Эрвин Роммель, если ему удастся взять Тобрук, обязан был перейти к жесткой обороне, пока не прояснится обстановка на русском фронте. Но, кажется, сидеть в обороне Роммель не собирался... Он открыл бутылку с кьянти и вспомнил о Паулюсе:

— Интересно, кто из нас двоих скорее управится: или Паулюс выберется к Сталинграду, или я отберу у англичан этот проклятый Тобрук, который Окинлеку кажется неприступным Карфагеном... Интересно! — с удовольствием повторил Роммель, хмелея. — Между мною и Паулюсом нечто вроде спортивного соревнования: кто оборвет ленточку на финише раньше? Но Паулюс сойдет с дорожки скорее меня, а этот великобританский Карфаген скоро станет моим...

Май месяц был на исходе, а в конце этого месяца Каир был встревожен радостными слухами из Тобрука:

— Роммель дошел до конца веревки, на которой скоро и будет повешен... Разве вы не слышали последнюю новость? Роммель неудачно обошел бокс Бир-Хакейм и застрял у дороги на Капуццо. Да, приятно, что Роммелю приходит конец. Но жаль, если война в Ливии закончится: где еще мы будем так весело жить?

. . . .

Сплошной линии фронта в Ливии никогда не было. Роммель перенял старинную тактику «гуситского лагеря», его армия гигантским табором перемещалась в пустынном пространстве, окружность его составляли танки и бронемашины, а внутри «лагеря» двигались штабы, артиллерия, ремонтные мастерские, службы радиоперехвата, походные госпитали...

От Бир-Хакейма до Тобрука всего 64 километра, а сам Тобрук и подступы к нему были перенасыщены линиями обороны, минными полями и боксами, окружавшими Тобрук столь плотно, как ожерелья шею красавицы. Роммель решил срывать эти «ожерелья» одно за другим, чтобы потом вцепиться и в шею жертвы.

— Стоит только подумать, что сражение проиграно, как с этого же момента оно становится проигранным. Будем думать иначе: что мы его выиграли, — сказал он...

Авиация маршала Кессельринга, базируясь на аэродромах Сицилии, заранее проутюжила фугасками английские позиции, досталось и Тобруку, но Меллентин сказал Роммелю, что в Тобруке еще Муссолини выстроил такие бетонированные бомбоубежища, что англичане не дрогнут:

— Впрочем, там англичан мало, в основном — индусы, французы, евреи да южноафриканцы — мои земляки...

Из радиаторов грузовиков валил пар, быстро выкипали остатки воды охлаждения, внутри танков все было липкое от текучести машинных масел, расплавленных жарою. В узких триплексах виделся то клочок знойного неба, то холмистые кряжи, на подступах к Тобруку. Танки Роммеля на полном форсаже моторов обошли Бир-Хакейм с юга, с ходу разгромили танковую дивизию Окинлека, они перемешали с песком и дерном две мотопехотные бригады и, развернувшись вдоль мощных «оранжерей», насыщенных минными ловушками, открыли сражение... Здесь их стали жестоко ломать американские танки типа «грант», сокрушающие цели с недоступных для немцев дистанций. Роммель второпях доверил своему дневнику признание в том, что появление этих машин армии США «вызвало панику в наших рядах... за один день мы потеряли более трети своих танков».

Среди горящих машин зигзагами мотался мотоцикл с коляской, в которой сидел граф Бисмарк — потомок «железного канцлера».

— Кажется, впереди нас — французы и евреи! — крикнул он Роммелю. — Им отступать уже некуда...

Потом англичане прижали Роммеля к своим минным полям, и он — как рассказывали — чуть сам не угодил в плен. Мокрый от пота, измазанный мазутом, в разодранных шортах, потерявший фуражку, он окликнул Тома:

— Впервые я понял, каково боксеру, которого притиснули к канатам, чтобы молотить его под свист радостной публики...

Штаб его был разгромлен. Среди развороченных телетайпов валялись оперативники, мертвые телефонистки в коротеньких белых юбочках. Английские радиостанции гудели от восторга, извещая Окинлека: «Роммель в западне... теперь ему не избежать позора капитуляции!» Не тогда ли в Каире и начали радоваться?..

— Неужели мы в котле? — удивлялся Тома.

— Похоже, что так, — не отрицал Роммель. — У нас не стало своих позиций. Мы оказались сами внутри позиций противника, и куда ни сунешься, всюду нас окружают боксы, западни и «оранжереи» Окинлека... Радируйте Кессельрингу, чтобы высылал ко мне все, что способно держаться в воздухе...

За ночь саперы расчистили коридор в минных полях, обставили его банками из-под бензина, в которых тлели фитили, указывая безопасный проход для танков. Роммель укрылся в глубине коридора, отгородившись от англичан их же «оранжереями». Через этот спасительный коридор всю ночь он перекачивал горючее для танков, пополнял боеприпасы... У д а р! — и три тысячи англичан, не ожидавшие ударов, разом подняли руки. Из Тобрука вышли свежие танки, которые понесли страшные потери. Роммель беспощадно швырял в «мясорубку» боя дивизии итальянцев, сохраняя немцев для опасных участков сражения. Уго Кавальеро диктовал из Рима, чтобы он прекратил эту бойню (Роммель даже не ответил ему). С аэродрома Тобрука взлетели воздушные «танкоистребители», но зенитки Роммеля посбивали сразу сорок машин. Сизый угар не таял над полем боя, между проволочных заграждений метались похоронные команды, немецкие и британские, наспех засыпая трупы раскаленным песком...

— Тома, сколько у нас осталось еще роликов?

— Едва ли наберется сто сорок.

— А сколько у наших макаронников?

— Штук семьдесят. Не больше.

— И это все?

— В с е...

5 июня Роммель разрезал британские дивизии на отдельные части. Борьба завершилась приказом по английской армии: «КАК МОЖНО СКОРЕЕ ОТРЫВАТЬСЯ ОТ ПРОТИВНИКА...»

— Лисица и здесь провела нас, — досадовал Окинлек. — Но сенсация для Роммеля всегда была дороже тактики, и сейчас он снова, как и в прошлом году, оставит Тобрук в своем тылу, чтобы, наступая нам на пятки, выбраться на рубежи Египта...

Черчилль прислал Окинлеку телеграмму из Лондона: «В любом случае не может быть и речи об оставлении Тобрука!»

Окинлек был убежден, что Роммель, словно угождая ему, станет преследовать отступающих, но войска Роммеля неожиданно развернулись прямо на Тобрук! На рассвете первые взрывы возвестили гарнизону крепости, что пришел его последний час. Гигантские бомбоубежища не могли вместить всех желающих пересидеть это время в тишине и спокойствии. Тесно? Да, тесновато. (Но при бомбежках в Лондоне на станциях метро собиралось тоже немало народу.) Они там и сидели, пока им сверху кто-то не крикнул, что можно вылезать — Тобрук сдался!

— Капитуляция... не ожидал, — заметил Тома. — Впрочем, тут богатые склады. Надо бы сразу послать людей, чтобы поискали что-нибудь из американских деликатесов...

Меллентин доложил Роммелю, что в Тобруке, помимо вооружения, взяты запасы продовольствия на 90 дней, а в плен сдались 33 000 человек. Роммель первым делом спросил о горючем:

— Ищите горючее! Сейчас самое главное бензин, а вся армия станет маршировать, как дачники в воскресенье, по гудрону приморского шоссе Виа-Бальбиа — в тени пальм и лавров...

Теперь все стало ясно. Солдаты Роммеля шагали на Каир и распевали самую популярную «песню негритят» (о возврате Германии ее прежних африканских колоний, которые были потеряны еще во время кайзера):

Даже негритята
в Африке большой
даже негритята
просятся домой:
— Хотим опять в колонию,
в рейх наш дорогой,
в рейх,
в рейх,
в рейх...

Ать-два, левой-правой, марш-марш... в рейх, в рейх, в рейх!

Армия Роммеля выходила на рубежи Эль-Аламейна, где Окинлек имел последние позиции, а дальше... дальше Каир.

От Эль-Аламейна до Александрии всего 60 добрых миль, а это значит — всего полторы хороших заправки для танка.

Британские адмиралы первыми поняли, что́ ждет их корабли. Они не стали ждать, когда «панцеры» Роммеля, словно железные крабы, станут вползать по сходням на палубы их крейсеров, — и спешно уводили свой флот в Красное море.

Александрию потрясли серии взрывов — уже рванули под небеса содержимое арсеналов, а Каир охватила паника.

— Танки! — орали на улицах. — Танки Роммеля уже подошли к Эль-Аламейну... они идут сюда... спасайтесь!

Все рестораны, игорные и публичные дома, все корты и стадионы разом опустели. Британские офицеры толпой кинулись спасать свои деньги, вложенные в многочисленные банки. Никакие ревю с раздеванием женщин не могли бы так быстро собрать километровую очередь, какая мигом возникла у дверей «Барклайз-банка». Армия спасалась под стенами Каира, войска растекались по дельте Нила; те, кто в 1940 году бегал у Дюнкерка от танков Гудериана, теперь удирал от танков Роммеля — от тех самых танков, которых у Роммеля *не было...*

Вот сущая правда: Окинлек обладал еще тройным превосходством в танках. Он имел еще свежие дивизии. Но падение Тобрука стало сигналом к общему бегству. В числе драпающих оказался и нью-йоркский журналист Эдмунд Стивенс, которого потрясли груды брошенного оружия. Роммелю оставлялись громадные склады, забитые боеприпасами, зато из холодильников, расставленных в боксах пустыни, спешно вывозилось все холодное пиво. Здесь же Стивенс встретил и толпу английских генералов, которые, даже убегая, сохраняли надменное выражение на лицах. Все они были в белых шортах, а на головах — красные фуражки.

В одном из них репортер узнал самого Окинлека.

— В чем дело? — спросил его Стивенс. — Почему бросаете оружие, но вывозите все пиво до последней бутылки?

— Э! — отмахнулся Окинлек. — Вы, американцы, еще не прониклись духом этой беспощадной войны... В таких условиях бутылка пива дороже любого «гранта», и надо же наконец, чтобы этот мерзавец Роммель скорчился от нестерпимой жажды...

Каир быстро пустел. Хорошо, что есть куда удирать:

— Куда идет этот поезд? В Бейрут? Это годится.

— Когда отходит экспресс... даже до Багдада?

— О, это нам как раз подойдет!

— Глупцы! Сейчас тише всего в эфиопской Аддис-Абебе, куда никакой Роммель не доберется...

Британские штабы сжигали секретные документы, крыши Каира и его парки густо засыпало слоем пепла, словно Везувий погребал новую Помпею. По улицам, отчаянно звоня, мчались переполненные трамваи, которые вели яркие каирские красотки, а пассажиры (сплошь арабы и негры) кричали из окон прохожим — назло своим колонизаторам-англичанам:

— Нажимай, Роммель! Свободу Египту... великий Аллах!

В политической неразберихе все смешалось — даже Роммель стал вдруг союзником самого Аллаха. Десятки тысяч европейцев и богатые каирские евреи, потеряв головы от страха, брали вокзалы штурмом, солдаты британского гарнизона гроздьями висли на подножках вагонов, ехали даже на крышах вагонов — в Палестину, где Иерусалим приманивал их вечным покоем. А в длинной очереди перед торжественным фасадом «Барклайз-банка» с нетерпением топтались британские офицеры:

— Нельзя ли поактивнее? Почему так медленно? Мы скорее дождемся танков Роммеля, нежели возвращения капиталов...

Знаменитая Хекмат Фатми вдохновенно демонстрировала «танец живота» перед опустевшим залом. В трущобах Каира и на баржах, сонно дремавших в заводях Нила, работали подпольные радиостанции абвера, и Роммель был прекрасно извещен обо всем, что творилось тогда в Каире...

. . . .

Англичане бросали свои поврежденные танки, а Роммель свои танки оттаскивал для ремонта, и они снова годились для боя. Заодно он ремонтировал и английские, которые тоже включал в свои колонны... Приморская автострада Виа-Бальбиа уже была прочно оседлана его войсками, гусеницы танков медленно сползали с обжигающих песков. И вот выкатились на гладкое асфальтированное покрытие — форсаж!

— Что мне делать с этими ублюдками? — говорил Роммель. — Они сдаются в плен такими громадными кучами, что число пленных уже намного превысило количество моих войск... Еще день-два, и мы, наверное, сами сдадимся своим же военнопленным!

Вскоре аэродром в Гамбуте (близ Тобрука) принял самолет фельдмаршала Кессельринга, который сообщил Роммелю, что в море появился американский авианосец «Уосп»:

— Теперь «спитфайры» с его палубы перескочили сразу на Мальту, и потому я вынужден забрать от вас свои пикировщики.

— Опять мы без крыши над головой! — воскликнул Роммель.

— Это еще не все, — договорил Кессельринг. — Сейчас, когда успешно развивается наступление вермахта на юге России, нам, дорогой Роммель, совсем невыгодно устраивать бесплодные демонстрации своей мнимой мощи в Киренаике и Мармарике. А чтобы вы не пыхтели от злости, я сообщаю вам нечто приятное.

— Опять какая-нибудь гадость из «Вольфшанце»!

— Фюрер присвоил вам жезл ГЕНЕРАЛА-ФЕЛЬДМАРШАЛА...

Гамбут принял самолет из Каира, он доставил в штаб Роммеля вождей национального движения в Египте, которые взмолились перед фельдмаршалом, чтобы он ускорил движение к Каиру.

Роммель не внял внушениям Кессельринга, хотя и понимал, что они исходили из ОКХ, и штабной автобус покатил его по роскошной Виа-Бальбиа — в сторону Эль-Аламейна... В пустыне приземлились два самолета из Рима: из первого вылез сияющий от радости Бенито Муссолини, за которым адъютант тащил множество чемоданов, из второго самолета осторожно вывели белую арабскую лошадь, на которой дуче собирался 30 июня открыть триумфальное восшествие в Каир.

— Сейчас, — доложил ему Роммель, — я доколачиваю англичан их же оружием, трофейным, экипажи моих танков забыли, когда последний раз была у них заправка... Где ваши танкеры?

— Увы, авиация Кессельринга едва машет крылышками над Мальтой... Что вы так злитесь, Роммель? Матросы моих линкоров чуть ли не с ведрами ползают по трюмам, собирая с днищ кораблей последние литры мазута. Надеюсь, со взятием Кавказа наши дела с горючим поправятся и вы снова оживитесь.

Роммель сложил прискорбную формулу своего будущего:

— В таких условиях продолжать марш на Каир и Суэц — это значит: *отступать вперед.* Но я попробую...

30 июня его войска вышли на рубеж Эль-Аламейна.

Роммель выкатил на этот рубеж лишь ТРИНАДЦАТЬ танков!

— Кажется, здесь и торчать нам. Дуче не забыл о своей белой лошади, но он не подумал об «овсе» для моих моторов...

Немцы издали разглядывали сумрачную тень пирамиды Керет-эль-Хемеймат, утоляя жажду марокканским вином. Роммель повидался с Муссолини, сидящим на своих чемоданах.

— Дуче! — сказал он ему. — Было золотое время, когда мы разливали горючее бидонами, а теперь наши танки делят его с помощью аптекарской мензурки...

Дуче вскочил с чемоданов, потрясая кулаками:

— В чем же я виноват, если русский фронт сожрал все наши припасы?.. Скажите честно: когда возьмете Каир?

— Чем? — спросил его Роммель.

Муссолини величаво указал на свои чемоданы:

— Я оставляю их на фронте — залог того, что обязательно вернусь, чтобы въехать в Каир на белой лошади...

21. НАЧАЛО ЖАРКОГО ЛЕТА

Они начали наступление почти одновременно, только цели их наступления были несопоставимы — Роммель вышел к Эль-Аламейну с 13 танками без горючего и толпою оборванцев, падавших от изнурения и амебной дизентерии, а Паулюс, тоже страдавший поносом, вел к Сталинграду 270 000 солдат и стойкие панцер-дивизии полного состава... Разница есть! Была разница и в другом: Паулюс, в отличие от Роммеля, не был полководцем с фантазией и размахом — зачастую

он оставался как бы некой промежуточной инстанцией, чтобы, получив сверху приказ, затем спустить его вниз, пунктуально приготовив для исполнения. В этом Паулюс был сродни барону Вейхсу — они оба методично и выносливо работали в одной и той же упряжке, как волы, согласные тянуть любой воз, лишь бы их пореже стегали...

Шестая армия находилась в зените славы, считаясь непобедимой. Германский солдат был еще крепок. Напрасно Илья Эренбург писал, что армию Гитлера составляют дети или старики, расслабленные инвалиды, проклинающие Гитлера и жаждущие одного — поскорее оказаться в плену. Немецкий солдат лета 1942 года был еще молод, в основном не старше 30 лет, это были здоровые и хорошо обученные вояки. Такого солдата не так-то легко было выбить с его позиций, и сдавал он их лишь по приказу свыше.

Взятые в плен немцы держались еще нахально:

— Отчего бы нам унывать? Это вы, русские, можете плакать, а мы воюем не на своей, а на чужой территории...

Они жгли, убивали, вешали и выдирали все живое. Руины оккупированных ими городов зарастали чертополохом, на центральных проспектах росла крапива, словно на погорелых пустырях, а они, расстегнув мундиры и засучив рукава, шагали на восток, упоенно распевая частушки, сложенные на русском языке, чтобы мы, русские, еще раз осознали все свое унижение:

Нема курки, нема яйки.
До свидания, хозяйки!
Съели сало, нема свинки.
Будь здорова, Катеринка!

Зять Паулюса, барон Альфред Кутченбах, исполняя обязанности переводчика при штабе его армии, был в эти дни настроен подавленно. Было заметно, что после побед под Харьковом его угнетает фронтовая обстановка, и однажды он сказал:

— Когда мой предок торговал головками сыра на базарах Тифлиса, он, конечно, еще не думал, что я, потомок его, вернусь на эту землю как завоеватель, которому русские готовы плюнуть в глаза... Их сдерживает, очевидно, только мой черный мундир СС, внушающий им осторожность.

Паулюс понял, на что зять намекает, но виноватым в страданиях населения он себя не считал, напротив, даже гордился отменою жестоких приказов покойного Рейхенау.

— К чему вы завели этот неприятный для меня разговор?

— Мне он неприятен тоже, — помялся зондерфюрер СС. — Но я изучал русский язык со всеми его выкрутасами совсем не для того, чтобы воспитывать в себе сознание превосходства над русскими. Напротив, я привык уважать их культуру, их характеры и даже их логику, не всегда доступную для понимания европейцев. Из истории же известно, что Европа жила спокойно только в те периоды, когда Россия и Германия были друзьями, и, напротив, Европа задыхалась от страданий и кровопролития, когда русские с немцами не ладили.

— Это у вас еще от Бисмарка, — отмахнулся Паулюс.

— Плевать — от кого, но теперь я боюсь, что ненависть русских к нам, немцам, с концом этой войны не закончится. Хотя меня, — заключил Кутченбах, — отчасти порадовали слова Сталина о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия и немецкий народ остаются...

Паулюс сказал, что Сталин — плагиатор, эти слова принадлежат поэту Арндту, который в 1812 году, будучи в Петербурге, говорил, что кайзеры приходят и уходят, а Германия остается.

— Однако при этом Сталин не мешает Илье Эренбургу разжигать в своих статьях лютую ненависть к нам, немцам. Читали?

— Слежу за его статьями внимательно. Но Ганс Фриче, из министерства пропаганды, выражается о русских еще забористее...

Паулюс просил зятя, чтобы он не афишировал свои мысли, когда его 6-ю армию навестит Ганс Фриче... Сейчас эта армия вновь наступает, отжимая разрозненные и ослабленные части Тимошенко к востоку большой излучины Дона, а Гитлер в эти дни испытывал к Паулюсу самые теплые симпатии, что подтверждалось и восхвалениями Геббельса на газетных страницах. Паулюс получал много писем от людей, ему незнакомых, которые поздравляли его с успехами 6-й армии, а заодно искали и его протекции. Среди писем были и открытки от вдовы Лины Пфайфер, бывшей Кнауфф, и теперь Паулюс сам был не рад, что случайно повстречал ее у сестры Корнелии. Впрочем, он понимал настроения этой женщины, когда-то в него влюбленной. Несчастная и жалкая вдова солдата, для которой он теперь представал в ореоле героя нации, невозвратным видением ее молодости...

Артур Шмидт, всегда услужливо согласный с Паулюсом, как начальник штаба, еще ничем себя не успел проявить (да и вряд ли себя проявит). Паулюс в это время более общался с фронтовыми генералами, заметно выделяя Альфреда Виттерсгейма, видя в нем отважного водителя танковых колонн.

— Виттерсгейм... ваш фаворит? — как-то спросил начштаба.

— Я не женщина, чтобы иметь фаворитов, — скупо отвечал Паулюс, — но я вижу, что Виттерсгейма еще ждут великие дела. Не ошибусь, если скажу, что именно Виттерсгейм разглядит через щель триплекса Волгу — первым из нас...

Во время событий под Харьковом Иоахим Видер, ведая разведкой, посвящал командующего армией в дела противника, он же знакомил Паулюса с допросами пленных. «Я помню, — вспоминал Видер, — какое сильное впечатление произвели на нас тогда некоторые сведения... о непрерывно растущем производстве танков на эвакуированных далеко за Урал русских заводах». В самом конце мая Видер показал Паулюсу карту фронта, взятую из планшета убитого русского офицера:

— Зная ваше пристрастие к оперативной работе, осмеливаюсь обратить ваше внимание на планы отхода русских.

Карта была проработана разноцветными карандашами рукою талантливого оператора, и Паулюс невольно восхитился ею:

— Классический образец высокой штабной культуры. Тщательность исполнения позволяет сделать вывод, что нынешнее отступление русских планомерно. Ведь когда войска драпают, тогда в штабах не думают, какими карандашами рисовать стрелы наших прорывов... Какие еще новости, Видер?

— Ничего существенного. Но на днях фюрер распорядился, чтобы всем генералам его ставки привили сыворотку от малярии.

— О чем это говорит, Видер? Не догадываетесь?

— Догадываюсь, что фюрер боится русских комаров. А значит, после прививок он со всем синклитом появится на фронте.

— Хвалю за проницательность, Видер! Время быть постоянно побритыми и думать о чистоте наших манжет...

. . . .

1 июня аэродром Полтавы, оцепленный эсэсовцами, принял личный самолет фюрера. Гитлер, сходя по трапу на землю, одной рукой делал небрежное «хайль», а другой держал себя за левую часть задницы — место укола от малярии. Вместе с ним в штаб группы армий «Юг» прилетели Кейтель с Йодлем и Хойзингером из ОКХ, обрадованные свиданием с Паулюсом.

— Перемены, но... потом, — успел шепнуть Хойзингер.

После выкриков команд и необходимых приветствий сразу же и резко защелкали дверцы «хорьхов» и «опелей»; генеральские машины образовали длинную стремительную колонну, едва поспевающую за бронированным «мерседесом» фюрера. На окраинах Полтавы зеленели соловьиные рощицы, виднелись желтые незасеянные поля. В уличной пыли города копошились курицы обывателей, старухи с прутьями в руках гнали гусей от Ворсклы, в раскрытых дверях парикмахерских стояли грубо размалеванные немки, прервавшие завивку волос, чтобы посмотреть на кортеж фюрера, а русские и украинцы сиротливо жались по обочинам улиц.

Паулюс ехал в одной машине с Гансом Фриче; Фриче сообщил, что направлен сюда лично Геббельсом, который к 6-й армии испытывает какую-то дьявольскую нежность:

— А вся его любовь, ранее обращенная к Рейхенау, теперь обращена лично к вам... Я обязался состряпать для радиослушателей серию боевых репортажей о вашей армии. А вы не продадите меня, Паулюс? — вдруг лукаво спросил Фриче.

— Нет смысла, — отвечал Паулюс.

— Тогда я вам посоветую по секрету: гоните свою армию как можно скорее за большую излучину Дона — к Волге.

— А — что?

— Как только Сталинград будет взят вами, вы понадобитесь фюреру совсем в другом месте.

— Любопытно — в каком?

— В заднем проходе.

— Извините, Фриче, не совсем вас понял.

— Как? Разве до вас не дошло, что «Вольфшанце» и ОКВ фюрера теперь принято называть «задним проходом вермахта»?

— Впервые слышу. И кем же я стану... в этом проходе?

— А вот этого я вам не скажу. Возьмите Сталинград, и тогда все узнаете сами, каково жить под хвостом у фюрера...

В штабе фельдмаршала фон Бока были заранее разложены громадные карты — от Саратова до Астрахани. Помимо танковых «богов», Клейста и Гота, вокруг стола оживленно толпились Паулюс, Рихтгофен, барон Вейхс и прочие. После поражения под Москвой у Гитлера потрясывалась левая рука, и он обрел привычку придерживать ее правой рукой, чтобы другие не заметили трясучки.

— Как ваши румыны? — мимоходом спросил он Паулюса.

— В оперативном плане осложнений не возникало.

— А что поделывают ваши итальянцы?

— Пользуются исключительным успехом у местных колхозниц. Дезертируя, они, как правило, укрываются у женщин, которые не выдают их нам, как не выдают и своих партизан.

— А как партизаны?

— Здесь мало лесов, мой фюрер, а в степных оврагах трудно найти укрытие, потому часто случаются диверсии, но партизанской войны не предвидится...

Прежде чем фон Бок начал доклад, Гитлер попросил Паулюса и Вейхса встать подле него, и это ближайшее соседство с фюрером как бы определяло главные стратегические направления — на Сталинград и Воронеж. (Странно и даже дико звучит, но вся большая стратегия вермахта летом 1942 года заключалась в краткой формуле: путь на Москву лежит через нефтепромыслы Кавказа с выходом на Волгу в Сталинграде; неужели, думаю я, Паулюс не замечал примитивности этой задачи?..)

Гитлер сразу сказал, что вечером улетает обратно:

— У меня нет времени, в Хельсинки меня ожидает барон Маннергейм, которому исполняется семьдесят лет, а потому, господа, выявим главную суть того, что определит наши летние успехи согласно планам «Блау». Будем считать, что весна прошла в частных операциях, а теперь предстоит серьезная борьба за обладание стратегическими плацдармами... Барон Вейхс, от вашего удара по Воронежу зависит продвижение шестой армии Паулюса, а от того, как сложится успех шестой армии, зависит и завоевание Кавказа... Будем конкретны, — при-

звал фюрер. — Вопрос ставится так: Советы должны быть вообще отрезаны от Кавказа, и тогда наш московский партайгеноссе поймет сам, что война проиграна, и ему следует из Кремля выезжать с мебелью, чтобы искать себе новую квартирку...

Кейтель при этом остро блеснул линзой монокля:

— Главное сейчас — скорость танкового прорыва у Воронежа. — Вейхс понятливо кивнул, а Кейтель обернулся к Паулюсу: — Ваша армия с танками Гота, как бы стекая вниз по течению Дона, должна свертывать русский фронт в гигантский рулон, подобно тому, как скатывают в трубку географические карты или убирают с паркета ковры... Что вам не ясно, Паулюс?

— Ясно все. Но я не вижу совпадения пропорций между задачами моей армии и ее боевой потенцией.

Он хотел сказать, что желал бы ее усиления.

— Не беспокойтесь об этом, — ласково ответил Гитлер. — Во втором эшелоне готова итальянская АРМИР Итало Гарибольди, а Клюге из «Центра» передаст вам две танковые и две моторизованные дивизии. Второго фронта не будет, и потому, Паулюс, я безбоязненно пригоню из Европы для вашей армии еще одну танковую и шесть пехотных дивизий... Куда же еще больше?

Паулюс знал, что фюрер третирует Гальдера, но он никогда не думал, что Гитлер позволит себе грубо и бестактно — в присутствии других генералов — оскорбить Йодля.

— В древнем Риме, — сказал он, реагируя на возражения Йодля, — был прекрасный обычай: за колесницей триумфатора бежали покрытые пылью и с веревками на шее те крикуны-хулители, которые ранее осуждали триумфатора. Так вот, Йодль, учтите: после победы вы с веревкой на шее будете бежать вприпрыжку за моим «мерседесом», въезжающим на Красную площадь...

Во время краткого перерыва, посвященного закускам, распитию пива и пересудам, Хойзингер тишком предупредил Паулюса, что Гитлер, кажется, решил расстаться с Йодлем:

— Йодль мрачно взирает на будущее. Соответственно, готовьтесь занять его место, для чего вам предстоит переместиться из окопов в «Вольфшанце»... ближе к фюреру... Вы не верите?

— Ганс Фриче уже намекнул мне на это, но... верить ли? Разве наш фюрер откажется от услуг ходячего архива вермахта? Голова Йодля так идеально устроена, что он вынимает из нее тысячные номера дивизий, все даты прошлых событий, все имена офицеров, живых и мертвых, и никогда не ошибается...

Дела призвали всех обратно — к картам. Гитлер не сказал ничего нового, он повторял избитые фразы о сырьевых ресурсах, о пшенице и горючем, закончив свою «энциклику» словами:

— Если я летом не получу от вас, господа, нефть Майкопа и Грозного, Я ДОЛЖЕН БУДУ ЗАКРЫВАТЬ ЭТУ ВОЙНУ...

Эту многозначительную фразу Паулюс сохранил в памяти и донес ее до судей Нюрнбергского процесса. Но за кулисами совещания Гитлер развил эту фразу до безумия, заявив, что, если Германия неспособна победить, он столкнет в пропасть полмира... Вечером Хойзингер сказал Паулюсу:

— До скорой встречи в «Вольфшанце»! Фюрер выразился конкретно: «Йодля я загоню в Финляндию, а все оперативные дела в ОКВ передам Паулюсу сразу же, как только он выберется на Волгу». Возможно, что перемещение случится и раньше, и ваше место займет Манштейн — сразу после падения Сталинграда...

Адам ожидал Паулюса с бутылкой ликера:

— Вы поделитесь со мной впечатлениями от Полтавы?

Паулюс снабдил его хронологией предстоящего наступления: Сталинград взять не позже 25 июля, Саратов — 10 августа, Самару —

15 августа, Арзамас — 10 сентября, а в Баку вермахт обязан войти в конце сентября.

— Меня, — сказал Паулюс, — сейчас волнует «задний проход».

— Простите, не понял.

Паулюс объяснил Адаму значение этих слов.

— Туда легко забраться, но трудно оттуда выбраться...

...Пройдет время, и фельдмаршал Паулюс (в русском ватнике, в болотных сапогах, с лубяным лукошком в руке) будет бродить в русских лесах под Суздалем, собирая грибы. Но даже здесь, в благословенной тыловой тиши, пронизанной свиристением птиц, его не оставит эта тревожная мысль — об изгибах судьбы, о капризах фатума, о влиянии рока:

— Моя судьба могла сложиться иначе. Если бы и взял тогда Сталинград, я бы уже не гулял в этом дивном лесу, радуясь опятам и маслятам. Йодль на Нюрнбергском процессе как-нибудь выкрутился бы от приговора международного трибунала. А вот я, заодно с фельдмаршалом Кейтелем, висел бы с головой, замотанной в черный мешок. Теперь думаю: неужели в Сталинграде было мое спасение? Неужели бог сохранил меня в подвале универмага на сталинградской площади Павших борцов?..

. . . .

Чувствую, пора сказать, каков был результат полководческих талантов маршала Тимошенко, — иначе, читатель, нам будет трудно осознать все то, что затем последует.

После катастрофы под Харьковом, когда Тимошенко сдал врагу 240 000 наших бойцов, в линии советско-германского фронта образовалась громадная — в сто километров! — брешь, таким образом фронт, почти оголенный, был практически разрушен. Перед врагом открылся широкий стратегический простор, выводящий его на Кавказ, в степи калмыцких раздолий, прямо к берегам матушки-Волги.

А резервов не было (и когда они будут?).

Как и летом 1941 года, перед нами встали задачи — заново восстановить фронт. Предстояло сражаться теми слабыми и разрозненными силами, что остались от разгромленных армий. Мало того, штабам приходилось срочно перестраивать свое сознание, а наступательный дух следовало заменить строго-оборонительным, готовя себя к изматывающим боям и большим потерям...

Да, товарищ Тимошенко, это вам не линия Маннергейма!

Отступая с боями, наши бойцы говорили:

— Хлебным мякишем крысиной норы все равно не заделаешь. Теперь вот шагай, и не знаешь, где остановишься...

На рассвете 10 июня Паулюс начал наступление на Волчанск (когда-то дикие Волчьи Воды, а в гербе города — волк, рысью бегущий). Расхлябанные грузовики ерзали по тем самым дорогам, что в давности были татарской «сакмой», которая выводила крымские орды на Русь — для грабежа, насилий и умыканий в злую неволю... Давно разбежались от Волчанска голодные волки, не стало татар с колчанами, зато наседали с грохотом «панцеры» и, работая одной гусеницей, волчком крутились на одном месте, пока на месте окопа не оставалась каша из земли, бревен и раздавленных людей...

В суматохе боя Кирилл Семенович Москаленко был отозван с КП: на прямом проводе была Москва, был Генштаб, был Василевский, который спрашивал — насколько их потеснили?

— Ударили крепко! Заметно направление на Купянск, однако, товарищ Василевский, продвинулись фрицы немного... немного, говорю! Километра три-четыре, не больше... Держимся, закопав танки в землю. Простите, такой грохот... я плохо слышу! На Купянском шоссе, думаю, немцы потеряли с полсотни танков. Горят... Но — жмут! Жмут, сволочи... трудно! Очень трудно...

В ответ еле расслышанный голос Василевского:

— У вас еще ничего, а со стороны Чугуева немцы нажимают сильнее. Помните, что врага надо остановить на Купянском шоссе, иначе они проскочут и дальше. А это недопустимо...

Москаленко грубо пихнул трубку связисту, выругался:

— А! Много они сейчас там в Москве понимают...

Странно перебирать немецкие фотографии того времени: Паулюс, без фуражки, рот постоянно перекошен в разговоре — он что-то доказывает своим офицерам, в чем-то их убеждает, он явно озабочен, и ни разу его лицо не осветилось улыбкой... Наступление его армии вступало лишь в первоначальную стадию оперативного развития. Паулюс в этот день мог похвастать лишь энергичным нажимом на Волчанск, а правые фланги его армии терялись на Изюмском направлении. Но эти скромные результаты давались ценою адского напряжения пехоты и моторов, а фон Кутновски, его квартирмейстер, рассуждал:

— Что у вас тут творится? Такое впечатление, что передовые цепи попали в мясорубку... потери немыслимые с первого дня!

Конечно, немецкая организованность работала четко, и там, где дело касалось подвоза боеприпасов или воздушной поддержки с воздуха, — там перебоев не возникало, но к вечеру и она дала первую осечку. В самом неожиданном месте — вдруг кончился морфий в передовых лазаретах обработки раненых. Генерал-лейтенант Отто Ренольди, начальник медицинской службы 6-й армии, срочно выехал туда, и его встретили вопли искалеченных.

— Если в Германии нет больше морфия, — орал фельдфебель с оторванной ногой, — так, наверное, еще найдется пуля, чтобы прикончить меня сразу!

Один гренадер не выпускал из руки гранату:

— Я взорву себя и всех вас! — кричал он. — Воткните мне шприц, или я сейчас угроблю всю вашу контору...

На узких носилках тихо стонал обгоревший танкист:

— О, майн готт! О, моя Даниэлла, о, мои дети...

Слова очевидца: «Я наглядно ознакомился с кровавой палитрой полевой хирургии... самое тяжкое впечатление от попавших в зону минометного обстрела». В операционной палатке хирург с сигарой в зубах задержал скальпель над развороченной раной, когда увидел генерала Ренольди.

— Ну, что? — спросил он. — Вошли мы в Купянск?

— Не пройти, — отвечал Ренольди.

— Сотня трупов на одном этом шоссе... Мы их держим в штабеле, надеясь свалить на кладбище в Купянске.

— Зарывайте здесь... у шоссе, — отвечал Ренольди. — Сейчас настал такой момент, когда не до церемоний...

К ночи разразилась гроза, хлынул оглушительный ливень.

Начался отход наших частей, сильно поредевших, измотанных динамикой суточного боя. Колеса телег застревали в глубоких лужах, лошадиные копыта слякотно вырывались из раскисшей грязи. Слышались приглушенные разговоры:

— Чует сердце, живым нам отсель не выбраться.

— Опять назад... Ну, сколько ж можно?

— Хана! И закрепиться не знаешь где — степь.

— Э, братцы! Зато в лесу-то как хорошо.

— Хоть бы зима поскорее, чтобы мороз...

— Дурень! До зимы-то еще дожить надо...

Утром фельдмаршал Рихтгофен засыпал отступающих не только бомбами, но и листовками на разноцветной веленевой бумаге, из которой не скрутишь цигарки и даже не подотрешься, ибо бумага у немцев — первый сорт, только бы стихи писать на такой... На этот раз вражеское командование обращалось не к ним, бойцам, а через их голову — прямо к политическим комиссарам, дружески советуя верно оценить обстановку и уговорить своих солдат сложить оружие.

— Совсем уже спятили! — говорили красноармейцы. — Вчера комиссар талдычил «ни шагу назад», а теперь в плен, что ли, зазывать станет?..

14 июня танки Паулюса прорвались у Волчанска.

На раскладном столе в походной палатке Паулюса запрыгала штабная «лягушка» (телефонный аппарат зеленого цвета, связывавший его палатку даже с ОКХ в Цоссене, даже с ОКВ в «Вольфшанце»). На этот раз звонил Артур Шмидт:

— Хочу напомнить, чтобы вы в горячке событий не забывали об оперативном совещании в Харькове, которое взялся вести сам Штумме — наша «шаровая молния».

— Благодарю, Шмидт, — вялым голосом отвечал Паулюс. — Но я не тот человек, который забывает о том, что необходимо исполнить. Русские опять отходят, и возникла пауза, а действие противника слабеет. Мне уже расстилают походную койку... сейчас я рухну и буду спать как убитый!

22. ПРОПАВШИЙ САМОЛЕТ

Представьте, война закончилась нашей победой, и весь мир блаженно вдыхал долгожданную тишину... 17 июня 1945 года группа наших офицеров въехала в люксембургский городишко Бад-Мондорф, где американская администрации устроила им свидание с Кейтелем, ожидавшим суда в Нюрнберге.

Сохранился очень интересный протокол этой беседы, опубликованный в нашей печати только в 1961 году. История войны со многими ее тайнами в 1945 году еще не была расшифрована, многое от нас было сокрыто, и я думаю, что наши офицеры попросту не обратили внимания на одну из фраз Кейтеля, которая сейчас имеет особое значение для познания сложной предыстории Сталинградской битвы. Вот она, эта загадочная фраза:

— В самый последний момент перед наступлением на Воронеж стало известно, что майор Рейхель, один из офицеров генерального штаба... видимо, попал в руки русских. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования (на Востоке), в которой упоминались точные выражения оперативной директивы генерального штаба. Мы ожидали контрмер со стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом...

Я тоже удивлен! И пусть удивится читатель, почему Сталин, поверив в фальшивую операцию «Кремль», все-таки пренебрег подлинными документами, сочтя их дезинформацией.

. . . .

19 июня в Харькове закончилось оперативное совещание офицеров, которое проводилось при штабе 40-го танкового корпуса генерала Георга Штумме. Здесь были доложены результаты свидания с Гитлером в Полтаве, планы высшего командования на летний период 1942 года... Ближе к ночи Паулюса навестил серый от пыли полковник Вильгельм Адам.

— Не знаю, чем все это кончится, — сказал он, — но сейчас по всему фронту идет такой перезвон, будто мы попали на междугородную телефонную станцию.

— Что еще могло случиться, Адам?

— Ерунда какая-то... Пропал «физелер-шторх», на котором из Харькова вылетел в свою дивизию майор Иоахим Рейхель.

— Напомните о нем.

— Рейхель — начальник оперативного отдела двадцать третьей дивизии. Он вылетел из Харькова, но в свою дивизию не попал. А при нем был портфель, набитый секретными документами и картами... Сейчас штабы обзванивают весь фронт, всех подряд.

Паулюс поначалу никакого волнения не выказал:

— Найдется. И самолет. И майор. И его портфель...

Нашли! В ночь на 20 июня советский Генштаб получил сообще-

ние с фронта, что в районе поселка Белянка (Нежеголь) воины 76-й стрелковой дивизии подбили «физелер-шторх», который и сел прямо «на брюхо». Два офицера и летчик сгорели.

— Но один майор с портфелем выскочил из «шторха» и, отстреливаясь, хотел драпануть в кусты. Его шлепнули наповал. В портфеле оказались оперативные планы германского командования относительно операции «Блау»...

Николай Федорович Ватутин, бывший тогда заместителем начальника Генштаба, вопросительно глянул на Василевского:

— Не фальшивка ли, Александр Михайлович?

— Но тогда к чему же такой спектакль с посадкой «на брюхо», с двумя сгоревшими и стрельбой? Это не кино...

С. М. Штеменко вспоминал: «В Генштабе взволновались: такое случается не часто... К нам попали карта с нанесенными на нее задачами 40-го танкового корпуса (Штумме) и 4-й танковой армии немцев (Гота) и много других документов, среди них шифрованных. К шифру быстро удалось найти ключ...»

Паулюс утром спросил Вильгельма Адама:

— Ну, что там наш майор с портфелем?

— Никаких следов. Перезвон продолжается. Очевидно, при низкой облачности «физелер-шторх» нечаянно перелетел линию фронта. Если это так, то кое-кому в ближайшее время предстоит облизать мед с лезвия бритвы.

Командующего 6-й армией вскоре навестил Иоахим Видер:

— «Физелер-шторх» найден. Сейчас из одной дивизии сообщили, что вчера вечером над ними пролетал в сторону русских окопов самолет, который и упал на ничейной земле. Сейчас эта дивизия ходит в атаки, чтобы добыть самолет и пленных, показания которых сейчас крайне необходимы...

Тревога в нижних фронтовых инстанциях перебралась на верхние этажи германского руководства. Гальдер записал в дневнике: «Самолет с майором Рейхелем с исключительно важными приказами по операции «Блау», по-видимому, попал в руки противника». Гальдер при этом сказал Хойзингеру:

— Узнает фюрер — в ОКХ посрывают головы.

— Заодно пусть летят головы и в ОКВ...

Кейтель проявил не свойственное ему легкомыслие:

— Я знаю русских, — сказал он (совсем их не зная). — Если этот самолет и достался им, они из дюраля наделают себе портсигаров, из плексигласа кабины пилота намастерят расчесок, а секретные документы изведут на махорочные самокрутки. К чему лишняя нервотрепка? Случай с генералом. Самохиным не может служить прецедентом для ситуации с нашим майором Рейхелем...

В тот же день Василевский вышел на связь с Тимошенко:

— Ставка просит кратко доложить ваше отношение к перехваченным у немцев документам. Какие у вас сомнения?

— Документы майора Рейхеля сомнений не вызывают. Рейхель летел самолетом боевого назначения, который в условиях плохой погоды потерял ориентировку... По нашей оценке, — докладывал Тимошенко,— замысел противника сводится к тому, чтобы нанести поражение нашим фланговым армиям, создать угрозу советским войскам с фронта Валуйки — Купянск.

К аппарату подошел сам Сталин — с указаниями:

— Строго держите в секрете, что удалось нам узнать. Возможно, перехваченный приказ вскрывает лишь один участок оперативного плана противника... Мы тут думаем, что двадцать второго июня немцы постараются выкинуть какой-либо номер, чтобы отметить годовщину войны, и к этой дате они приурочивают начало своих операций...

В конце разговора Тимошенко снова просил для своего фронта хотя бы одну стрелковую дивизию. Сталин ответил:

— Дивизиями, к сожалению, на базаре не торгуют. Если бы торговали, я бы пошел на базар и купил вам дивизию. Умейте воевать не числом, а умением. Вы не один там держите фронт. У нас, не забывайте, много других фронтов...

Ночью заодно досталось от Сталина и Хрущеву; кажется, Сталин не был трезв, подвыпив в компании своих верных опричников — Молотова, Берии, Маленкова, Жданова и прочих; он сказал, что если немцы вознамерились брать Воронеж, то лишь затем, чтобы от Воронежа ринуться на Москву; Сталин начал попросту издеваться над Хрущевым, спрашивая:

— Ну, что еще там немцы подбросили? Неужели вы это всерьез принимаете? Даже самолет прислали и генерала вам с картами подкинули, а вы во все верите?..

Наверное, он опять ни во что не верил, по-прежнему собираясь оборонять Москву, как и в прошлом году, чтобы утверждать свой «престол» в Кремле. Хрущев вспоминал — с явной горечью: «Вместо того чтобы правильно разобраться (с этим самолетом) и усилить нашу группировку войск, чтобы быть готовыми к отражению врага, не было сделано ничего...»

Это дало повод для удивления Кейтеля, который после войны говорил нашим офицерам в Бад-Мондорфе:

— Мы были удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом...

. . . .

21 июня Иоахим Видер прибыл на передовую возле Белянки, когда закончилась очередная атака по захвату пленных.

— Обыскали самолет? — спросил Видер.

— Там нечего искать. Обломки и головешки.

Видер приступил к допросу пленных красноармейцев:

— Вы видели, как вчера упал наш самолет?

— Да. Он сразу загорелся.

— Что было дальше?

— Один ваш офицер выскочил и побежал. Его срезали из автомата. Больше ничего не знаем.

— Он отстреливался?

— Да. На всю обойму.

— Значит, одна рука его была занята пистолетом. Вы не заметили, что у него было во второй руке?

— Ничего не было.

— А может... портфель? — подсказывал Видер.

— Нет, портфеля не видели...

Видер велел поднимать полк в новую атаку:

— Мне нужны пленные, знающие больше тех, которых вы взяли. Не советую спорить. Вопрос с этим «шторхом» гораздо сложнее, нежели вы думаете. Сейчас им занимается сам фюрер!

Гренадерам снова выдали шнапс и кофе, снова провели артподготовку — атака! Потом мимо Видера протащили убитых в рукопашной. Прикладами гнали пленных. Среди них только один красноармеец был очевидцем падения самолета. Видер сразу налил ему коньяку, угостил сигаретой.

— Успокойся, — сказал ему Видер. — Ничего плохого с тобой не случится... Что тебе больше всего запомнилось в том офицере, который выскочил из самолета?

Пленный нервно досасывал сигарету:

— У него на брюках... вот так, — показал он по бокам своих галифе, — был красный лампас. Как у генерала...

Видера передернуло: это мог быть майор Рейхель.

— Куда его дели? — жестко спросил он.

— Закопали. По-божески.

— Можешь найти могилу?

— Не уверен.
— А придется... пошли! — сказал Видер.
«Мы получили задание, — вспоминал он, — до конца выяснить все обстоятельства дела и избавить командование от мучительной неопределенности». Он-то, как разведчик, знал истинную цену портфеля... Пленного вывели к разрушенному самолету, велели осмотреться. Он показал в кусты:
— Вот в эту ольху он и сиганул от нас.
— Если хочешь жить, отыщи нам его могилу. Вот тебе лопата. Сам будешь и раскапывать.
Пленный долго бродил в ольховнике, подозрительно озираясь, и Видер на всякий случай расстегнул кобуру, чтобы пресечь любые попытки к бегству. Лопата со скрежетом вонзилась в землю. Копать долго не пришлось — из-под земли мелькнул малиновый лампас генеральштеблера.
— Вынь его, — распорядился Видер. Ветками, сорванными с ближайшего куста, он обметал серую землю с серого лица. — Да, это он... Рейхель! — убедился Видер, но вылезти пленному из могилы не позволил и достал «вальтер». — В этой яме ты и останешься, пока не вспомнишь, что было в левой руке нашего майора, если в правой он держал пистолет.
— Портфель... кожаный, — ответил пленный из могилы (и весь сжался в комок, ожидая выстрела в затылок).
— Куда делся этот портфель?
— Отдали. Мы отдали.
— Кому?
— В политотдел дивизии...
«Итак, — записывал Видер, — наши худшие предположения подтвердились: русским было теперь известно все о крупном наступлении из района Харьков—Курск... Противник знал и дату его начала, и его направление, и численность наших ударных частей». Об этом сразу же сообщили в ставку Гитлера, а Франц Гальдер оставил в дневнике моральную сентенцию: «Воспитание личного состава в духе более надежного сохранения военной тайны оставляет желать лучшего».
Вильгельм Адам сказал Паулюсу:
— В сороковой танковый корпус нагрянули эсэсовцы и утащили за собой «шаровую молнию» — нашего Штумме! Боюсь, что для него это плохо кончится. Лучше бы вы сразу разрешили ему отправиться в Африку к Роммелю.
Паулюс тяжело переживал арест своего генерала.
— Если кто и виноват в этой истории, — сказал он, — так это сам майор Рейхель, которому не терпелось глядя на ночь поспеть в свое казино к казенному ужину.
На его столе вдруг запрыгала зеленая «лягушка»: на связь с Паулюсом вышел сам фон Бок, обеспокоенный пропажей портфеля: ведь именно 40-й танковый корпус Штумме и должен был «проложить армии путь в большую излучину Дона».
— Можем ли мы изменить планы «Блау»? — волновался Бок.
— Теперь я думаю, что если их отложить на некоторое время, то вы будете в Сталинграде уже не в июле, а только зимою!
— Я встревожен не менее вас, — отвечал Паулюс. — Но шестая армия уже нацелена на большую излучину Дона...
24 июня гроза коснулась и бункеров «Вольфшанце». Гитлер выходил из себя от ярости, генералы ОКВ обвиняли генералов ОКХ, а Гальдер, чуть не плача от оскорблений, записывал: «Травля офицеров генерального штаба... по делу Рейхеля... фон Бока завтра вызывают к фюреру». 25 июня фельдмаршал фон Бок прилетел в ставку, где Гитлер встретил его отъявленной бранью:
— Из-за какого-то идиота Штумме наша операция «Блау», в таких муках рожденная, уже валяется с проломом в черепе. Не так уж

глупы русские, чтобы в наши секретные директивы заворачивать селедку... Они, конечно, сделают выводы. Но я же не могу останавливать армии на пороге Дона и Кавказа!
— Да, мой фюрер, — соглашался фон Бок.
— Там все планы, там карты... Рейхель имел все.
Как бы подтверждая слова Гитлера, с фронта пришла радиограмма: русская авиация дальнего действия начала обкладывать исходные позиции армии Паулюса, особенно точно прицеливаясь по штабу 40-го танкового корпуса подсудимого Штумме.
— Вот результаты расхлябанности Штумме! — бушевал фюрер.
Судебный процесс над «шаровой молнией» был по-военному краток. Председателем трибунала был сам рейхсмаршал Герман Геринг, который недолго думая предложил Штумме:
— Пять лет заключения в крепости... тебе хватит подумать? Время пролетит быстро, и жена не успеет состариться.
«Шаровую молнию» с треском и грохотом загнали в одиночную камеру, из которой иногда слышались вопросительные возгласы:
— Может быть, в этой великой империи найдется хоть один умник, который объяснит мне, в чем я виноват!

. . . .

«Таким образом, — констатировал Вильгельм Адам, адъютант Паулюса, — дело Рейхеля и завершившая его расправа тяготели над предстоящим наступлением, как угроза тяжкой расплаты», а самому Паулюсу все происшедшее стало казаться *роковым предзнаменованием*, и он составил письмо в защиту Штумме.
Это письмо попало в руки Гитлера, которому в это жаркое лето особенно не хотелось портить отношения с Паулюсом, устремлявшим свою могучую армию к берегам Волги.
— Хорошо, — сжалился фюрер. — Штумме можно отправить под Эль-Аламейн к Роммелю, тем более что он и сам не однажды просил об этом, а на Восточном фронте такие разгильдяи не нужны. Но прежде, — указал Гитлер, — напугайте Штумме как следует, чтобы он покинул тюремную камеру через замочную скважину...
В камеру генерала вошли эсэсовцы во главе со штурмбанфюрером, с ними был врач в белом халате. Штумме увидел шприц в руке врача и схватил табуретку, чтобы обороняться.
— Не дамся! — орал он. — Я вам не крыса, чтобы меня травили, и если я не нужен великой Германии, так пусть Германия не поскупится, чтобы подарить мне пулю... одну лишь пулю!
Эсэсовцы согнули его вдвое, сорвали с него штаны. Покрываясь пóтом от ужаса, Штумме с отвращением почувствовал, как что-то мерзкое и холодное вливается в его тело.
— Что вы делаете, скоты? — зарыдал он. — Я согласен вернуться на Восточный фронт и сдохнуть в окопах... как рядовой... Пощадите! Ради моих детей, ради... мерзавцы!
Шприц выдернули, а место укола смазали.
— Готово, — равнодушно сообщил врач.
— Садись, — предложили Штумме эсэсовцы, а штурмбанфюрер глянул на свои ручные часы: — Вам сделали инъекцию эвипана. Через пять минут вы будете мертвым. В официальном сообщении будет сказано, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а вашей семье фюрер обязался выплачивать пенсию...
Штумме натянул штаны, и только сейчас в нем обнаружился характер взрывчатой «шаровой молнии», способной проникнуть через замочную скважину или взорваться, влетев через форточку.
— Сволочи! — честно заявил он. — Теперь, когда ваше корыто продырявлено, фюрер решил простирнуть в нем свои грязные кальсоны... Вам не терпится выйти на Волгу, но русские хотят остаться на Волге, и вы ищете виноватых там, где их нету! Ищите виновников там... в кабинетах Цоссена, в кабинетах фюрера!

— Заткнись,— кратко предупредили эсэсовцы, а штурмбанфюрер с усмешкою снова глянул на часы: — Пять минут прошло в приятных разговорах, а вы еще живы. Может, сознаетесь, в чем секрет вашего организма?

— Иди ты...

— Благодарю,— сказал штурмбанфюрер.— А теперь можете одеваться по всей форме. Это был не эвипан, а... ГЛЮКОЗА, чем и объясняется секрет вашего долголетия. Мы просто пошутили. Нам было скучно, и мы просто... пошутили. Вы уже сегодня будете на Сицилии, а завтра встретите рассвет под Эль-Аламейном, куда вы давно стремились. Сеанс окончен...

Война продолжалась. На несколько дней, как и бывает перед наступлением, фронт притих. В немецких траншеях на трофейные патефоны завоеватели ставили трофейные пластинки, и в большой излучине Дона разливался знакомый нам голос:

А в остальном,
прекрасная маркиза,
все хорошо,
все ха-ара-шо!

ОТ АВТОРА

Я не забыл это жаркое лето — не в меру жаркое для Архангельска, заставленного кораблями союзников, куда меня забросила нелегкая судьба. Как это ни странно, начало моей самостоятельной жизни связано по времени с началом битвы за Сталинград, о котором сейчас пишу... Разве не странно?

13 июля 1942 года мне исполнилось 14 лет, и я, конечно, не мог знать, что именно в этот день немцы заняли безвестный хутор Горбатовский, впервые ступив на землю тогдашней Сталинградской области. День своего четырнадцатилетия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался и раскаиваться не стану до самой смертной доски: я отпраздновал свой день рождения тем, что... убежал из родительского дома.

— Куда ты, Валя? — крикнула, помню, мать.

— Я сейчас... на минутку. Скоро вернусь, — ответил я. И вернулся только через три года, бренча медалями, разметая пыль широкими клешами, заломив на затылок бескозырку с широковещательной надписью на ленте ее: «ГРОЗНЫЙ»...

Летом того страшного года (страшного для всех нас) я оказался в гигантском — так мне казалось — здании флотского Экипажа; память отчетливо сохранила гулкие своды старинных залов, наполненных приятной прохладой, и в этих залах — мы, подростки, собранные со всей страны, которым предстояло носить самое высокое и самое гордое звание на флоте — юнга!

Принуждения, воинского или комсомольского, не было; брали в юнги не по набору, а лишь тех, кто сам пожелал рисковать головой на шатких палубах боевых кораблей нашего сильно поредевшего флота. Нам объявили, что всех «гавриков» скоро отправят на легендарные Соловки, где в тиши таинственных островов затаилась тюрьма, в камерах которой нас и станут готовить для героической флотской службы. До отплытия на Соловки мы жили в кубриках Экипажа и, как мне помнится, были озабочены примеркою формы, драками и обидами, иногда слезами, да еще трепетным ожиданием обедов и ужинов (не забывайте, что время-то было голодное). Мне достались штаны, которые я подтягивал ремнем до уровня подмышек, мне дали бескозырку, свободным диском вращавшуюся на моей макушке, получил я и бушлат, скрывающий мою фигуру до самых колен. Красота!

По сводкам Совинформбюро в те дни было не понять, кто убегает, а кто догоняет, так все было сокрыто под флером секретности, но даже без царя в голове все-таки мы догадывались, что на юге творится что-то неладное... Многое забылось, но почему-то врезался в память лишь один день. Всех нас, предвкушающих близость ужина, вдруг загнали в актовый зал Экипажа; наверное, для «затравки» сначала нам показали фильм «Оборона Царицына», в котором молодой и веселый Сталин отважно и гениально сокрушал всех врагов революции. Фильм закончился. В зале включили свет. Мы уже начали обсуждать, какая ждет нас каша сегодня, перловая или овсяная, но...

— Сидеть на местах! — было приказано.

Из зала нас не выпустили, а возле дверей, чтобы никто не убежал, встали наши старшины, чем-то озабоченные. Мы ждали. На сцену поднялся комиссар флотского Экипажа.

— Встать! — окрик команды. — Слушай приказ № 227...

Безо всякого предисловия комиссар приступил к чтению знаменитого ныне приказа, который долго-долго скрывался потом от народа, как скрывали потом и полеты НЛО над нашими головами. До сих пор, честно говоря, не пойму, с какой целью нас тогда «оглушили» этим приказом? Хотели, чтобы мы прониклись ответственностью? Или для того, чтобы робкие отказались от звания юнги? Не знаю. Я был тогда еще слишком глуп и наивен, но доселе помню, что каждое слово этого приказа, не ко сну будь он помянут, буквально впивалось в сознание. Каждая его фраза глубоко западала в душу, и все мы тогда поняли, что теперь шутки в сторону, перловая там каша или овсяная, но дела нашего Отечества очень плохи, а главное сейчас: НИ ШАГУ НАЗАД...

Слова приказа рушились на нас, словно тяжелые камни.

Прошу не считать меня сталинистом, но мне и доныне кажется, что Сталин в те дни нашел самые точные, самые весомые, самые доходчивые слова, разящие каждого необходимою правдой. Без преувеличения я до сих пор считаю приказ № 227 подлинной *классикой* военной и партийной пропаганды... Сталин писал:

«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке... Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам...

После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, — стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла... У нас уже сейчас нет преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину.

Из этого следует, что пора кончать отступление.

Ни шагу назад!»

Суровое время требовало суровых мер. В приказе № 227 Сталин призывал усилить дисциплину, беспощадно расправляться с трусами и паникерами, снимать с постов и судить начальников, допустивших отход с фронта, строго карать офицеров за оставление позиций без приказа свыше...

С нашей стороны — никаких вопросов, только молчание.

И никаких комментариев — со стороны начальства.

— Головные уборы надеть. На выход... марш!

В ту же ночь нас посадили в трюмы корабля, чтобы доставить на Соловки. Перед отплытием меня отыскал отец, который тогда служил офицером на Беломорской военной флотилии. Он был как-то особенно мрачен, но мой поступок не осуждал. В эти дни проводилась добровольная запись моряков в морскую пехоту, которую готовили для боев в Сталинграде, и отец был в числе первых, кто поставил свою подпись под длинным списком добровольцев.

— Так было надо, сынок, — помню я его слова.

Свидание было кратким, и отец ушел, даже не оборачиваясь, чтобы в руинах Сталинграда сложить свою голову. Больше я никогда не видел его. Лишь недавно я узнал обстоятельства его гибели, что и толкнуло меня к письменному столу, дабы рассказать вам, читатели, о Сталинградской битве.

Часть третья

Большая излучина

Ныне пойдем за Дон и там или победим и все от гибели спасемся, или сложим свои головы.

Дмитрий Донской (1380).

С точки зрения большой стратегии ясен простой факт: русские армии убивают больше нацистов и уничтожают больше вражеского снаряжения, чем все остальные 25 Объединенных Наций, вместе взятые.

Фр. Д. Рузвельт
(из письма генералу Д. Макартуру от 6 мая 1942 года).

1. ДОЖИВЕМ ЛИ ДО АВГУСТА?

Почему так коротка память людская?

Вот и настали дни нынешние... Давно шаблоном стали слова, набившие нам оскомину: «Не забудем о Сталинграде!» А вот мне в это не верится. Ни черта мы не помним, всё позабыли.

Два года назад*, в день 23 августа, старая актриса по имени Вера Васильевна, которая еще до войны не сходила с подмостков сталинградского театра драмы, эта вот женщина, порядком хлебнувшая горя на своем веку, проснулась с ожиданием какого-то чуда... Ей ли, жившей на окраинах Бекетовки, откуда, как с высокой горы, был виден весь Сталинград, ей ли забыть тот день, когда божий свет померк в глазах, а Сталинграда попросту не стало. Утром еще был город, а вечером исчез город.

Сейчас и город совсем другой, даже название у Сталинграда иное, и люди какие-то не такие, что были раньше, а ей, старухе, все не забыть того дня... Да и можно ли забывать?

Вышла на улицу. Спросила на остановке автобуса:

— День-то какой, знаете ля?

— День как день. А — что?

— Страшный! Тут бы молиться всем нам...

Посмотрели как на сумасшедшую, мигом забили автобус и отъехали, не желая ничего помнить. Возле пивного ларька — шумно и людно. Дружно сдувается пена с кружек.

— Помните ли, какой день сегодня?

— Август. Кажись, двадцать третье. А — что?

— Это день, который нам, сталинградцам, не забыть.

— Праздник, что ли? — спрашивали старуху.

— Не праздник, а поминанье того великого дня..

Разом сдвинулись кружки — за день сегодняшний:

* В 1988 году.

— Выпьем! Чего этот божий одуванчик тут шляется? Наверное, из этих самых... о морали нам вкручивает!

Нет, никто в бывшем Сталинграде не желал помнить, что случилось 23 августа 1942 года. Вера Васильевна, почти оскорбленная, вернулась домой и включила телевизор:

— Должны же хоть с экрана напомнить людям, какой это день. День двадцать третьего августа... ради памяти павших!

«...показывали в этот день обычные передачи: разговор о перестройке, бюрократическом торможении, международные события. Показали сюжет из Белоруссии, связанный с памятью о войне. Но на воспоминания о двадцать третьем августа в Сталинграде времени не хватило...»

В новом Волгограде не помнили о трагедии Сталинграда!

— Грех всем нам, — сказала Вера Васильевна, заплакав. — Великий грех всем нам, люди, что забыли вы все страшное, чего забывать-то нельзя... нашим внукам знать надобно!

Этой датой, ставшей уже безвестной, я предваряю свой рассказ, и днем 23 августа я завершу изложение первого тома.

Люди! Бойтесь двадцать третьего августа...

2. «БЫЛ У МЕНЯ ТОВАРИЩ...»

Из Рима дуче отъехал в свою резиденцию Рокка-делле-Каминате, а настроение у него было сумбурное. Как бы ни относиться к Муссолини, все же, читатель, надо признать, что римский диктатор шкурой чувствовал события лучше Гитлера. «У меня, — записывал он в дневнике, — постоянное и все усиливающееся предчувствие *кризиса*, которому суждено погубить меня...» Угадывая развитие событий в Африке, где застрял Роммель, дуче ощущал угрозу со стороны Марокко — это был удобный плацдарм для высадки десантов, хотя Гитлер считал, что опасность десантов угрожает в заснеженных фиордах норвежского Финмаркена.

Дуче хандрил. Галеаццо Чиано, зять его, настаивал на разрыве с гитлеровской Германией, пока не поздно:

— Пока наши головы держатся на плечах, пока вся Италия не переставлена на костыли... Мы говорим, что от этой войны зависит судьба фашизма. Верно ли? Не лучше ли повышать дух народа упоминанием о чести нации, о патриотизме как непреложной идее, стоящей над людьми, над временем, над фракциями?

— Это приведет к разобщению народа и партии.

— Но в Италии, — доказывал Чиано, — народ уже давно живет отдельно от партии, а партия существует сама по себе. Итальянцы способны жертвовать во имя родины, но в степях России они не желают погибать за идеалы партии, к которой присосались шкурники, карьеристы и просто жулики...

В это время фашистская партия насчитывала в своих рядах 4 770 700 человек, и дуче верил в свое могущество:

— Мне стоит шевельнуть бровью, как миллионы фашистов сбегутся на площадь перед «Палаццо Венеция», аплодируя мне и готовые умереть за наши идеи. Оставь меня с партией, а сам убирайся к своим босякам, которых ты именуешь народом...

Не так давно в больнице для умалишенных умер сын дуче — Бенито Альбино, рожденный от массажистки Иды Дельсер, которую дуче, придя к власти, сам же и уморил — тоже в бедламе. Сейчас при нем, помимо известной Клары Петаччи (что орала на улицах Рима: «Хочу ребенка от дуче!»), состояли еще две женщины — некая Анджелла и очень красивая официантка Ирма, что никак не радовало жену Муссолини — донну Ракеле. Дуче запутался в бабах, как в политике, а в политике он погряз, как и в распутстве. Но его утешало и бод-

рнло мнение ветеранов фашистской партии, которые восторгались его мужской потенцией:

— У нашего дуче во такая громадная мошонка, а в ней чего только не водится! Потому и кидается на бабенок...

Муссолини листанул настольный календарь:

— Что там Роммель? Когда доклад Уго Кавальеро?

Сразу как только Гитлер возвысил Роммеля до чина фельдмаршала, дуче поспешил произвести в тот же чин и Уго Кавальеро, который был начальником генштаба. Первый вопрос Муссолини:

— Уго, каковы успехи моей армии в России?

— Итало Гарибольди извещает, что наши солдаты имеют большой успех у русских колхозниц, которые их же подкармливают.

— Понятно, отчего такая щедрость! — сразу сообразил дуче. — Где еще русские колхозницы могли видеть таких отважных и бравых ребят, в ботинки которых заколочено — точно по уставу! — сразу семьдесят два гвоздя.

Уго Кавальеро намекнул, что в Италии уже достаточно вдов и сирот, ибо Восточный фронт постоянно требует жертв.

— Их можно объяснить, — воскликнул дуче, — лишь избытком боевой инициативы наших прославленных берсальеров...

Тобрук пал, Роммель торчал в оазисах Эль-Аламейна, а дуче рассчитывал вскоре побывать в Каире. Кавальеро замялся.

— Уго, ты что-то хочешь сказать? Если это очень важное, то прежде ты обязан встать.

— Да, мой дуче. Я встал! Вчера в Средиземное море через Гибралтар проскочил английский авианосец «Игл», а на аэродромах Мальты садятся американские бомбардировщики, по этой причине я подозреваю, что скоро всем нам достанется.

— А куда смотрит Кессельринг с его воздушной армией?

— Кессельринг смотрит на своего фюрера, который велел ему половину воздушной армии отправить в Россию, чтобы помочь в прорыве на Кавказ и к берегам Волги. Потому английские караваны беспрепятственно следуют в Александрию.

— Следует нанести по ним мощный крейсерский удар!

Кавальеро объяснил Муссолини, что для нанесения такого удара итальянским кораблям не хватит горючего:

— Чтобы только запустить машину крейсера, потребно пять тонн мазута, а потом еще по тонне в день для «подогрева» котлов.

— Уго, почему ты не просил у немцев горючее?

— Умолял их! — отвечал Кавальеро. — Но Кейтель ответил мне, что у них расход горючего сокращен до предельного минимума — ради наступления на Сталинград и Майкоп, в Германии сейчас обеспечены горючим одни подводные лодки...

— Это, — продолжал Муссолини, — подсказывает мне правильное решение: наши батальоны «Червино» должны следовать на Кавказ вместе с немцами, чтобы Италия могла претендовать на освоение нефтепромыслов в Майкопе, а тогда нам уже не придется выступать перед Гитлером в роли попрошаек, умоляющих о лишней бочке мазута... Ты понял меня, Уго?

Пока они там судачили, над Италией стремительно пролетала «шаровая молния» — генерал Георг Штумме, отправленный в армию Роммеля, и скоро ему предстоит не только заменить Роммеля, но и взорваться в песках Ливии с оглушительным треском, чтобы после взрыва ничего от него не осталось...

. . . .

«Четыре месяца я болел тяжелой формой амебной дизентерии», — так писал Фридрих фон Меллентин, начальник разведки армии Роммеля, и его книга «Танковые сражения», которую он выпустил после войны в южно-африканском Иоганнесбурге, дала мне многое для понимания войны в Киренаике и на полях моей родины. Меллентин отзывался из Африки в Германию, чтобы подлечиться в Тропическом институте от поносов, изнуряющих его (как изнуряли они и самого Роммеля), но институтские профессора, врачи опытные, сказали ему:

— Есть одно радикальное средство избавиться от поносов — это русская водка, а потому советуем проситься на Восточный фронт, чтобы каждый день принимать водку внутрь в неограниченном количестве, после чего гарантируем вам излечение...

Впрочем, поправился он потом, а сейчас, еще страстно желая присесть за ближайшим барханом, Меллентин делал доклад фельдмаршалу Роммелю о положении в перепуганном Каире:

— Обстановка такова. Каир объявлен на военном положении. Окинлек доверил его оборону самым стойким войскам — новозеландским и австралийским. Египетские же солдаты заперты в казармах, чтобы предотвратить возможное восстание против колонизаторов. Сам же король Фарук, как главный заводила среди египетского офицерства, находится под домашним арестом, а электромонтер дворца водит к нему уличных женщин, чтобы он не бесился...

— Достаточно! — не захотел слушать далее Роммель и открыл бутылку с вином. Выпив, он обнаружил недурную фантазию. — Меллентин, а почему наши занюханные физики не могут изобрести такой двигатель, чтобы он работал на всасывание не бензина, а воздуха, как работают легкие человека, предпочитающего пить вино, а не бензин? Впрочем, какие еще у вас собраны сплетни?

— К нам летит «шаровая молния».

— Приятно слышать, — сказал Роммель. — Георга Штумме я знавал когда-то. У него там были какие-то нелады с Паулюсом?..

С тех пор как Роммель — на последнем издыхании моторов — выбрался к Эль-Аламейну, он ни на шаг не продвинулся к тенистым кущам блаженного Нила, где хотел бы поиграть с крокодилами. Казалось, наступило сомнительное равновесие, будто он, Роммель (со своими ничтожными силами), заключил перемирие с генералом Окинлеком (обладавшим большими силами). Окинлек не дразнил Роммеля, а Роммель не был способен ударить по Окинлеку. По этой причине «африканские качели», к скрипу которых столь бдительно прислушивался Черчилль, вдруг — на удивление всего мира — перестали качаться...

Роммель уже не надеялся получить корпус «Ф» — его включили в группу «А» фельдмаршала Листа; солдат этого корпуса как следует прожаривали в теплокамерах, их пытали жаждой и голодом, они сутками гнили по шею в прусских болотах, их зарывали в раскаленный песок, готовя для боев в Африке, а теперь направили штурмовать предгорья Кавказа. Наконец, Паулюсу мало воздушного флота Рихтгофена — у Роммеля отняли и эскадрильи Кессельринга.

Он вдруг вспомнил ослепительный зал берлинского «Адлона», где струились разноцветные фонтаны, а длинноногие девки стучали в воинственные барабаны, украшенные цветами: «Был у меня товарищ, был у меня товарищ...»

Воспоминание о Паулюсе было даже неприятно:

— Застрявший в краю русских казаков, он обобрал меня до последней нитки... На меня в Берлине плюнули, как плюет солдат на беременную шлюху, чтобы не приставала с любовью!

Наконец, новые мощные танки, уже закамуфлированные под цвет ливийской пустыни, тоже оказались в придонских степях, даже не переменив желтой окраски на серо-зеленую.

— Да, был у меня товарищ, — говорил Роммель, хмелея. — Но хотел бы я знать, кто из нас раньше продвинется вперед?

Между ними, разделенными громадным пространством, возникло некое единоборство: если Паулюс обязан был 25 июля войти в Сталинград, то из Берлина и Рима требовали взять Каир или Александрию не позже 20 июня; Роммель изо всех сил пытался доказать Гитлеру пер-

востепенное значение Ливийского фронта, но Гитлер поддерживал и укреплял не его, Роммеля, а — Паулюса...

— Меллентин, разве не смешно, что у нас отняли все, а взамен всего этого нам присылают «шаровую молнию»?..

Муссолини оставил свои чемоданы, обещая вернуться к тому времени, когда перед Роммелем откроется блаженная дельта Нила; сейчас Роммелю было плевать на всех и на этого дуче; он уснул на железной лавке бронетранспортера, а генерал Тома заботливо подсунул под голову фельдмаршала пилотку.

— Пусть дрыхнет, — сказал Тома Меллентину. — Он еще не знает, что утром взорвался на минных полях внук «железного канцлера» Бисмарка, разъезжавший на своем мотоцикле...

Роммелю снились желтые пески Киренаики, редкие пальмы в оазисах Мармарики с черными шатрами арабов, над ним нависал мрачный силуэт пирамиды Карет-эль-Хемеймат, темнеющий на горизонте, в ушах «лисицы пустыни» еще стоял треск британских пуль, разрывающих резину автомобильных покрышек. Роммель спал недолго, а когда проснулся, то увидел цветущие за штакетником прекрасные розы Франции, машущих крыльями аистов на крышах городов Фландрии, и Роммель сказал:

— Наверное, что-нибудь одно — или стала сдавать моя психика, или это обычный мираж, какие бывают в пустынях...

Меллентин предъявил ему пленного, одетого в хаки британского солдата, обутого в добротную обувь.

— Вот и новость! — сказал он, смеясь. — Нам попался чудак, который ни слова не знает по-английски. Попробовали говорить по-французски — тоже молчит. Даже на арабском ничего не понимает... Язык его похож на эсперанто!

— Я... русский, — вдруг заявил пленный по-русски.

Казалось, мираж для Роммеля еще не рассеялся: на фоне чернеющей вдали пирамиды египетских фараонов стоял русский солдат, и, как выяснилось, генерал Окинлек имел в своей армии не только чехов и евреев, не только австралийцев и де-голлевцев, — в его армии появились и русские, которые бежали из германского плена, каким-то чудом перемахнули Ла-Манш и вот... оказались здесь — под Эль-Аламейном.

Да, мало мы еще знаем историю войны в Африке, а ведь там — от Марокко и до Ливии — доныне находят солдатские могилы с непонятными русскими именами.

. . . .

А я не шучу, читатель: в ботинок итальянского солдата Муссолини заколачивал 72 гвоздя — не больше и не меньше, именно так повелевал устав фашистской армии, и генерал Джованни Мессе, уже разжалованный, доказывал Уго Кавальеро:

— Это хорошо для парадов! Но абсурдно в условиях Восточного фронта: в периоды русских морозов эти гвозди, промерзнув, сдавят ногу солдата ледяными тисками.

— Этого не случится, — заверял его Кавальеро. — В Берлине считают, что к осени с Россией будет покончено, и я своими ушами слышал, как фюрер сказал: «Сейчас положение русских гораздо хуже, нежели оно было летом прошлого года...»

Начиная с весны 1942 года Муссолини постоянно усиливал свою армию на Восточном фронте: к лету его АРМИР насчитывала уже 220 000 солдат, она имела 55 танкеток («спичечные коробки») и 1130 тракторов, — лошадей и мулов я не учитываю. Желание дуче усилить свои войска в России ради политических и экономических выгод в будущем на этот раз совпало с желанием Гитлера, который вознамерился использовать «бумажных итальянцев» вроде затычек — шпаклевать ими те «дыры» в линиях фронта, для затыкания которых немцев уже не хватало.

На этот раз с отправкою войск в Россию возникало немало осложнений. Итальянцы стали подозрительно часто вспоминать историю похода Наполеона, а женщины, провожая мужей, голосили навзрыд, чего ранее не бывало. Детолюбивые итальянцы, шествуя на вокзалы, в каждой руке держали ручонки своих детишек (об этом я сужу по итальянским же фотографиям). Началось дезертирство. Муссолини распорядился объявить набор добровольцев. Таковые нашлись, но в Италии их считали сумасшедшими или ссылаемыми в Россию для отбытия наказания за преступления против нравственности.

— Что ты там натворил, бедный Кало? — рыдали родственники. — Или продул в карты казенные деньги из полковой кассы? Или испортил дочку заслуженного члена фашистской партии?..

Офицеры тоже не рвались в окопы Восточного фронта.

— Объявите по войскам, — велел Муссолини, — что каждый офицер, отбывающий на Восточный фронт, получит от казны новенькую пижаму и по тюбику мыльного крема для бритья...

Мало того! Уго Кавальеро в генштабе, дабы поднять авторитет офицеров, провел в эти дни научный референдум.

— Среди прочих вопросов, волнующих наше благородное общество, — сказал он, — считаю немаловажным вопрос на животрепещущую тему: стоит ли в условиях Восточного фронта заводить отдельные уборные для каждого офицера или пусть все офицеры не побрезгуют испражняться в общую яму...

Муссолини очень гордился количеством гвоздей в ботинках своих беспощадных берсальеров, от которых в России было не спастись ни одной кошке, даже самой прыткой; а проблема зимней обуви давно занимала воображение генералов. С русского фронта в Рим были доставлены валенки, которые Уго Кавальеро и продемонстрировал в пышных залах «Палаццо Венеция»:

— Если мы хотим быть победителями в России, нам никак не обойтись без этой вот штуки, — сказал фельдмаршал.

Муссолини подверг валенки тщательному изучению:

— Ничего в жизни не видел уродливее! — было им сказано. — Только дикари способны таскать по снежным сугробам такие огромные и бесформенные футляры, скатанные из войлока.

Кавальеро ответил, что вальсировать в валенках смешно, но еще смешнее будет выглядеть итальянский солдат на снегу в ботиночках и в обмотках, — ведь зимою 1941 года число обмороженных превышало количество раненых.

— Эти валенки раздобыл Джованни Мессе, чтобы убедить всех нас в необходимости делать такие же для АРМИРа.

— Разве от валенок зависят успехи Сталина? — недоверчиво фыркнул дуче. — Джованни привык заниматься пустяками. Но со времен Нерона и Калигулы гордый Рим не валял валенок. Да и о чем Мессе хлопочет, если к осени с Россией будет уже покончено... От былого могущества у нее останутся валенки!

(Наш историк Г. С. Филатов, лучший знаток итальянского фашизма, писал, что «авторитетные инстанции в Риме пришли к заключению, что изготовление валенок является причудой Мессе... нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы валенки не перекрыли путь уставным ботинкам»; от себя я, автор, добавлю, что придет зима, и тогда ботинки с обмотками станут причиной гибели многих итальянцев под Сталинградом.)

Клара Петаччи, Анджелла и прекрасная официантка Ирма закономерно дополняли брачный союз Муссолини с тяжеловесной донной Ракеле. Не думайте, что во дворце «Палаццо Венеция» царило семейное согласие. Нет! Однажды сюда проник тайный агент гестапо по фамилии Дольман, и донна Ракеле, задыхаясь от гнева, нашептала ему:

— Если ваш великий фюрер обеспечит мою старость хорошей пер-

сональной пенсией, то я согласна извещать его об изменах моего мужа и предательстве зятя графа Чиано, отца моих внуков... В этом доме, — сказала женщина, — давно ползают коварные змеи и бродят по углам тщеславные павлины, согласные продать всех нас за хорошую порцию макарон с маслом.

Дольман обещал ей «порцию макарон» на старости лет.

. . . .

Наконец появился и Георг Штумме, пострадавший за портфель майора Рейхеля, и Роммель сразу предупредил его, чтобы он перестроил свое сознание, сложившееся на Восточном фронте:

— У нас дивизиями называются даже батальоны, уже истрепанные в маршах. Дивизии полного состава мы наблюдаем у Окинлека — с кухнями-ресторанами на колесах, с походными парикмахерскими, с артистами и фокусниками в передвижных театрах. Наконец, британские офицеры даже в условиях пустыни могут принимать ванны, а мои солдаты имеют лишь пол-литра воды в сутки...

«Шаровая молния», попав в Африку из-под Харькова, еще не мог отрешиться от опыта войны с русскими.

— Не знаю, как у вас в Киренаике, а вот Иваны с танками не мудрили. Пол-литра «молотовского коктейля» под жалюзи — и танк мигом превращается в жаровню. Здесь у меня стало прихватывать сердце, — жаловался Штумме. — После украинских морозов со вшами на белье да сразу попасть в африканскую баню с неизбежным поносом... тут и негру пора показаться врачу!

Штаб Роммеля ютился в мусульманском мавзолее-часовне, выложенном изнутри плиточными изразцами, которые — пусть летят века! — до сих пор не потеряли яркости древних красок. Роммель заметил, что «шаровая молния» прихрамывает. Штумме жаловался, что в армии на Ливийском фронте — не как в России! — отсутствуют полковые сапожники, а внутри его сапога вылез гвоздь, и...

— Разувайтесь, — велел ему Роммель. — Здесь вам не Россия, где вермахт лакомится услугами от личных забот фюрера, а я не белоручка Паулюс, берегущий чистоту своих манжет...

Фельдмаршал не погнушался работой сапожника. Он вдруг схватил гранату и этой гранатой стал заколачивать выпирающий из подошвы гвоздь, чем и привел Штумме в ужас.

— Граната — не молоток! — орал перепуганный Штумме.

— У вас русский опыт, — отвечал Роммель, размахивая гранатой, — а у нас периферийный, и мы хорошо знаем, что итальянские гранаты выделки Муссолини не взрываются...

Они покинули мавзолей, купол которого вдруг рухнул, осыпав свиту фельдмаршала осколками разноцветной смальты.

— Все-таки взорвалась, — захохотал генерал Тома и, как нищий, подбросил на спине неразлучный вещевой мешок...

Как раз в эти июньские дни Совинформбюро сообщало о первой конференции итальянских военнопленных в Советском Союзе, которые призывали всех итальянцев «выступить против преступной войны, затеянной Муссолини, добиваться разрыва с гитлеровской Германией и свержения фашистского режима Муссолини». Мы, читатель, временно прощаемся с Роммелем, и мы встретимся с ним опять, когда он побежит прочь от Эль-Аламейна, а его другу Паулюсу бежать будет уже некуда, и тогда один фельдмаршал будет вспоминать другого фельдмаршала словами старой солдатской песни: «Был у меня товарищ, был у меня...»

3. КОГДА ПОСПЕВАЕТ МАЛИНА

О положении на фронтах народ знал больше по слухам.

После двух катастроф подряд, под Керчью и Харьковом, наши газеты отмалчивались, будто ничего страшного не случилось, а центральная печать отделывалась от читателей стереотипными фразами: «Наши силы растут и крепнут. Недалек тот час, когда враг вполне испытает силу наших ударов...» 21 июня, когда на юге страны крепчал железный кулак вермахта, «Красная звезда» порадовала военных людей известием, что немецкая армия наступать уже неспособна: «перед немцами теперь стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться». Через два дня Совинформбюро добавило в утешение, что почва для разгрома Германии подготовлена, ее военная машина развалена, Гитлер уже потерял десять миллионов своих солдат, а потери Красной Армии составляют лишь четыре с половиной миллиона.

Разве можно было поверить в подобное?..

Наконец, дяде Пете или нашей тете Мане трудно было понять, что таится в скупой информации, заключенной в мало что говорящих фразах: «На Севастопольском фронте напряженность боев усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части... На Харьковском направлении советско-германского фронта — бои с наступающим противником...» И уж совсем невдомек было читателю догадаться — какой смысл в кратком сообщении Совинформбюро от 25 июня: «Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на европейском театре войны, прибыл в Англию».

Эйзенхауэр не был еще знаменит, его только ожидало великое будущее, а прибыв на берега Альбиона, он сообщал на родину суть своих замыслов о моменте открытия второго фронта, когда Германия завязнет в России.

Этот момент был близок!

Впрочем, сроки активного наступления вермахта на юге не раз уже откладывались, и виною тому был «пропавший самолет» с майором Рейхелем и секретными документами о развитии операции «Блау». Немецкое командование нервозно выжидало реакции со стороны русских, а Паулюс бранил покойного майора, которому взбрело в голову лететь глядя на ночь:

— Вот и покойник... Теперь, — рассуждал Паулюс, — мы не в силах изменить наши четкие планы «Блау», для этого потребовалось бы слишком много времени и большой работы ОКВ и ОКХ. Но вполне разумно, если мы отодвинем сроки наступления. Стратегическая пауза иногда даже необходима...

Его 6-я армия перешла в наступление лишь 30 июня...

. . . .

Состав с зерном возле элеватора еще горел.

— Анастас Иванович, — сказал в трубку Чуянов. — Не успели мы избавить город от колхозного скота из Смоленщины, как все Задонье потонуло в пыли — на подходе стада из Воронежской области, из Ворошиловградской... Куда их девать? На улицах уже не повернуться от машин и беженцев. Мостов не имеем. Переправы заполнены. Мясобойни города загружены до предела.

Из Москвы — усталый голос А. И. Микояна:

— Наша большая ошибка, что Сталинград не имеет мостов. Но погодите с бойнями. Нам еще после войны жить надо. Переправляйте скот на левый берег Волги, гоните его дальше.

— А как быть с частниками? Каждому жаль со своей скотиной расставаться. И в ухо каждому не вдудишь, что, если не отдаст корову государству, враг придет и сожрет ее даром.

— Никакой принудиловки! — отвечал Микоян. — Действуйте только убеждением. Частник есть частник. Он и без того нами обижен. Не хочет разлучаться с овцой, оставьте ему овцу.

Есть такая народная примета: хлеба убирать, когда поспевает малина. Но в ту пору малина еще не созрела, когда пришло время думать об уборке урожая, чтобы он не достался врагу в зрелых колосьях. На

Дону было тревожно. Москва требовала, чтобы зерно вывозили со складов и элеваторов — в тыл.

— На тачке, что ли? — говорил Чуянов. — Автотранспорта нет, горючего нет, а на лошадках сотни тысяч тонн далеко не увезешь. Не знаю, как мы управимся, если предстоит эвакуация людей и скота из донских станиц и колхозов...

Эвакуация началась загодя, издалека гнали скотину из отдаленных станиц, а кто? — опять же школьники с хворостинами, плелись за гуртами скота старики да бабки, которые сами-то едва ноги передвигали. На волжских переправах — что-то ужасное, все стада перепутались, чей там бык, а чья корова — уже не разберешься, всех подряд гнали на паромы, а паромов не хватало, немцы бомбили, и рядом с павшей скотиной теперь лежали те же самые мальчишки с хворостинами и бабки, но уже мертвые.

Чуянов накоротке повидался с Ворониным:

— Садись, эн-кэ-вэ-дэ. Разве не безобразие? Гигантский город на правом берегу, а моста на левый берег не соорудили.

— Так это же хорошо, что нет моста, — отозвался Воронин. — Будь такой мост, его бы немцы с воздуха мигом раздраконили.

Как-то еще не верилось, что Сталинград может стать фронтовым городом, дворники поливали цветочные клумбы на улицах, и аромат цветов доносился в кабинеты обкома, напоминая о мирных днях, когда о цветах даже не думалось: пусть благоухают, на то они и посажены... Чуянов казался рассеянным.

— Что у тебя еще? — спросил он.

Воронин вынул из портфеля немецкую листовку, издали показав ее секретарю обкома,— читай, если грамотный. Чуянов увидел всего две строчки частушечного лада:

ДО ВОРОНЕЖА С БОМБЕЖКОЙ,
В СТАЛИНГРАД ВОЙДЕМ С ГАРМОШКОЙ.

Эту листовку Чуянов оставил у себя и показал ее генералу Герасименко, командующему Сталинградским военным округом:

— Ну, не нахальство ли, а?

Герасименко пробежал листовку глазами и сказал, что Геббельсу, как пропагандисту, еще далеко до батьки Махно:

— Вот это был агитатор! Пламенный... Помню, гонялись мы за его бандами, а батька за нами гонялся. На тачанках. Я тогда молодой был. Вот гонит нас батька в хвост и в гриву, оглянешься назад, а на тачанках его — лозунг: «Х... уйдешь!» Потом стали гнать батьку. Настигаем, а на тачанках у махновцев опять плакат полощется: «Х... догонишь!» Вот это, я тебе скажу, агитация такая, что до печенок пробирала. Наглядно и убедительно. Геббельсу до такого не додуматься...

Разговорились. Алексей Семенович спросил:

— Василий Филиппыч, не кажется ли тебе, что наше положение сейчас гораздо хуже, чем в прошлом году?

— Кажется. Только говорить об этом боюсь.

— Смотри, как бы не прижали нас к Дону. Слухи неважные. Фронт расшатан. Командуют лейтенанты. А маршала не видать... Скажи мне честно, что за человек этот Тимошенко?

— Как кто? Бывший нарком. Маршал. Орденоносец.

— Это я и без тебя знаю. О другом говорю. Я, человек сугубо штатский, и то, кажется, кумекаю, что есть здесь что-то неладное. Как он не пострадал после катастрофы под Барвенково или под Харьковом? И не такие головы с плеч летели...

— Все дело в обороне Царицына, — шепнул Герасименко, на дверь оглянувшись. — Кто тогда был в Царицыне при нем да сумел ему понравиться, тех он не трогал, вот они и полезли наверх... Ворошилов, Буденный, Городовиков, Щаденко и прочие... Я такого мнения, — сказал Герасименко, — что историю этой войны будут писать

не кровью, а медом, чтобы сверху покрывать ее лаком. И писать станут не с сорок первого, а с того самого срока, когда мы побеждать научимся.

— А куда же девать сорок первый? Наше лето?

— Псам под хвост! — энергично ответил Герасименко, даже обозлившись. — Кому из наших м...ков охота сознаваться в своих ошибках? Вот увидишь, что даже о сорок первом станут ворковать, как голуби. Не знаю, как ты, а мне не дожить до того времени, когда станут писать правду...

Большая излучина тихого Дона уже таила страшную угрозу всем нашим армиям, заключенным в эту природную дугу, вогнутую в сторону Волги и Сталинграда. Не понимать этого могли только глупцы! В эти дни газета «Красная звезда» ожидала от Михаила Шолохова статью под названием «Дон бушует». Но писатель отказался от написания такой статьи, «так как, — сообщил он в редакцию, — то, что происходит сейчас на Дону, не располагает к работе над подобной статьей...»

Один старик-журналист рассказывал мне, что видел в эти дни Шолохова плачущим. Слезы его понятны: тихий Дон и донское казачество знавало всякие времена, но такого еще не бывало, чтобы его берегам угрожали вражеские танки, а германские пулеметы «универсал» насквозь простреливали донские станицы.

...Стратегическая пауза затянулась, и лишь 27 июня Франц Гальдер отметил в своем дневнике: «Никаких признаков того, что противник как-то реагирует на потерянный нами приказ (по операции «Блау»)...» Тогда же, почти синхронно, из Старобельска стал названивать в Харьков барон Максимилиан Вейхс.

— Завтра, — сказал он Паулюсу, — я начинаю. Ждать, когда Москва распишется в знании наших секретных планов, становится опасно. Герман Гот уже нервничает, его «панцерам» не терпится прокатиться по трамвайным рельсам улиц Воронежа.

— Моя шестая, барон, — отвечал Паулюс, — через два дня после вас начнет выдвижение в районе Волчанска.

— Будем помнить о флангах, — тоном заговорщика произнес Вейхс, и в этих его словах таился немалый смысл...

. . . .

«Будем помнить о флангах!» — заклинал барон Вейхс.

Да. Еще летом 1941 года генералы вермахта заметили, что русские мало чувствительны к обходам, но германская военная доктрина, напротив, чересчур обостренно заботилась о своих флангах. По этой причине немцам сейчас прежде всего желалось покончить с Севастополем и захватить Воронеж, ибо это и были фланги германской армии, устремленной на Кавказ и Сталинград, и даже не тактические, а имеющие уже стратегическое значение.

Паулюс отлично понимал беспокойство Вейхса, понимал и то, что Артур Шмидт с его «чертиком» в стратегии разбирается плохо, а потому он и растолковал ему азбучные истины оперативного искусства с особой заботой о флангах:

— Виноват Манштейн! Он так долго ковыряется с Севастополем, а его армия, застрявшая в Крыму, не может обеспечить нам южные фланги до тех пор, пока Севастополь не рухнет. Но если еще и барон Вейхс застрянет под Воронежем, тогда шестая армия не будет прикрыта и с северных флангов... Не удивляйтесь, Шмидт, — говорил Паулюс, — но я так воспитан, чтобы думать о флангах!

Паулюс навязывал Шмидту свои понимания, хотя не раз замечал, что Шмидт исподтишка пытался навязать ему свою волю, и эта воля была опасной. В этом потаенном единоборстве Паулюса выручало то, что многие генералы 6-й армии явно третировали Шмидта, как выскочку, жалея об устранении Фердинанда Гейма, бывшего начальника штаба. Отто Корфес не однажды намекал Паулюсу, что Шмидт — вроде

надзирателя, приставленного к армии не из Цоссена, а из партийной канцелярии Мартина Бормана.

— Гейм реально оценивал события, за что, кажется, и поплатился, а Шмидт излишне бравирует оптимизмом в духе речей Ганса Фриче. Правда, — признал Корфес, — Шмидт человек неглупый и осторожный, но его партийная убежденность зачастую смахивает на самое банальное упрямство. А вам не кажется, — вдруг спросил Корфес, — что за хвостом нашей шестой армии тащится подозрительно много эсэсовских команд, которые следуют за нами, словно шакалы за тигром, отправившимся за добычей?

Ответ Паулюса поставил Корфеса в неловкое положение.

— Прошу не забывать, доктор Корфес, что мой зять барон Кутченбах тоже носит черный мундир войск СС, и об этих войсках я сужу по гуманным поступкам своего зятя.

Корфесу оставалось только ретироваться, что он и сделал, а между ними пробежала первая черная кошка. Сутью этого разговора Паулюс поделился с адъютантом Вильгельмом Адамом, спрашивая — кого же еще не терпят в его армии?

— Никаких симпатий не вызывает и Гейтц из восьмого армейского корпуса. Гейтц так долго председательствовал в военных трибуналах, что до сих пор не расстался с дурной привычкой расстреливать людей. Гейтц (вы не поверите) иногда садится в транспортер с пулеметом и объезжает прифронтовые зоны, всюду оставляя после себя трупы.

Паулюс испытал неловкость, проворчав что-то о «наследии» покойного Рейхенау.

— Вы бы знали, Адам, как мне трудно! Я чудесно чувствую себя в штабном «фольксвагене», где прыгает моя зеленая «лягушка», но зато мне бывает противно видеть, как прыгает лукавый «чертик» моего начальника штаба...

Заранее он выехал на фронт. Обширный «фольксваген», сплошь забитый радиоаппаратурой и стеллажами с оперативными картами, катил за сто километров от Харькова — на берега Оскола, в сторону Купянска; сам городок, почти деревянный, еще хранил облик купеческого прошлого, и как-то странно было думать, что здесь когда-то грозно бушевали половецкие пляски, а «каменные бабы» в степях невольно напоминали идолов с острова Пасхи.

— Какая страшная дыра... этот Купянск, — заметил Шмидт, — и не пойму, как здесь могут жить люди?

— Живут, — кратко отозвался Паулюс. — Мой зять где-то вычитал, что в древности здесь пролегали пути в сказочную Византию, а хазары справляли в Купянске богатые свадьбы с иудейками...

Непрерывно стучал телетайп, работала радиорелейная связь, щеголеватый солдат с усиками «под фюрера» печатал информацию радиоперехвата. Река протекала лениво и тягуче, словно наполненная ртутью. В красных песках другого берега Оскола белели меловые откосы, поросшие дубняком, липами и ясенем. Одна из «молниеносных девиц» в кокетливой пилотке выскочила на минутку из автобуса, набрав для Паулюса горсть недозрелой малины.

— Желаю угостить вас, — сказала она.

— Признателен, фройлен. Вот вы и ешьте, а я остерегаюсь нарушить привычную диету...

Почти с ужасом он заметил вошь, ползущую по воротнику мундира девицы, и при этом вспомнил последнюю встречу с разжалованным Эрихом Гёпнером, тоже вшивым.

— Откуда у вас... это? — брезгливо спросил Паулюс.

— Ах, это? — не удивилась «молниеносная», снимая с себя насекомое и крутя его в пальцах, словно козявку. — Так у нас их полно еще со времен покойного фельдмаршала Рейхенау...

Внутрь «фольксвагена» забрался Ганс Фриче в черном мундире зондерфюрера СС (Паулюс отметил, что его зять в таком же звании).

Артур Шмидт, явно заискивая перед помощником Геббельса, щелкнул зажигалкой с «чертиком», говоря любезно:

— Вы, зондерфюрер, забыли раскурить свою сигару, которую и таскаете во рту, как младенец пустышку.

— Благодарю, — задымил сигарою Фриче. — И когда же вы, шестая и непобедимая, рассчитываете ловить осетров в Волге?

— Вам бы потерпеть до двадцать пятого июля, когда мы врежемся в улицы Сталинграда с музыкою оркестров.

Фриче ответил, что его шеф обожает оперативность:

— Геббельс требует срочной информации. Я думаю, что стоит вам начать, и русские Иваны устроят нам хороший концерт с музыкой «сталинских орга́нов» и тарахтением «кофейных мельниц» под облаками... Серию репортажей о подвигах вашей армии доктор Геббельс хотел бы дать по радио в шумовом сопровождении боя. Мне нужно получить от вас возгласы артиллерии, грохот танковых гусениц, торжествующие крики наших гренадеров, увидевших Волгу, и вопли отчаяния бегущих Иванов.

— Вы это получите, — обещал ему Шмидт.

— Послушайте, полковник, — недовольно выговорил ему Паулюс, — министр пропаганды, навестив наш ресторан, вправе заказывать любое блюдо, но вы еще не метрдотель, чтобы поставлять продукты для изготовления фронтовых деликатесов...

Заодно Паулюс предупредил Фриче: он хотел бы прослушать репортажи еще до того, как их запись будет выпущена в эфир.

— Во избежание возможных ошибок, — добавил тактично.

— Ошибок не будет, — заверил его Фриче. — Я устрою в эфире такой трам-тарарам, что радиослушатели просто ошалеют от восторга, а больше ничего и не требуется... У меня большой опыт пропагандиста, и потому успех обеспечен.

— Но это не мой успех, а... ваш!

— Какая разница, — захохотал Фриче...

Он выразил желание глянуть в оперативные карты, и Шмидт подобострастно предложил ему свои услуги:

— Не могу ли помочь? Что вы ищете в излучине Дона?

— Станицу Цимлянскую, — отвечал Фриче. — Говорят, тамошнее вино сродни рейнскому, а доктор Геббельс просил меня привезти пару бутылок, чтобы сравнить его с французским шампанским.

Артур Шмидт, достаточно наблюдательный, заметил, что Паулюсу не по душе вся эта возня с Фриче, и, видя озабоченность командующего армией, он приписал ее предстоящему наступлению.

— Вы, очевидно, волнуетесь, как перед стартом?

— Я не спортсмен, — резко ответил Паулюс. — Ухаживайте за приятелем министра пропаганды. Я спокоен за свою армию, но меня волнует напряжение флангов. Барон Вейхс — человек крайне медлительный, а бравый Манштейн никак не может покончить с Севастополем, чтобы прикрыть меня и Листа с юга...

Паулюс машинально глянул на часы и кратко сказал:

— Можно начинать. Дирекция — на Сталинград...

. . . .

Севастополь держался, а по специально проложенным и особо укрепленным железным дорогам в Крым двигались сразу 60 (!) длинных составов. На мощных платформах немцы перевозили крупповское чудовище «Дора» — пушку-монстр с длиною ствола в 30 метров, в дуло которой можно было легко пропихнуть даже теленка. Высота лафета этой пушки равнялась трехэтажному дому. «Дора» готовилась для сокрушения линии Мажино во Франции, но там она не понадобилась. Теперь о ней вспомнил Манштейн, и паровозы, часто пыхтя, тянули ее под Севастополь — для последнего штурма русской твердыни.

Близились последние дни обороны. Даже враги признавали небы-

валое мужество наших бойцов и жителей города-героя. Манштейн писал:

«Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они (русские) на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые, тоже с оружием в руках, воодушевляя бойцов...»

* * *

4 июля, обессиленный, Севастополь п а л!

Об этом в тот же день упомянули во всем мире, а радиовещание США откликнулось словами, которые полезно припомнить и в наши дни:

«Эта оборона (Севастополя) наглядно показала всему миру, что Гитлер не может выиграть войну. Он может еще добиться кое-каких местных успехов, но вынужден будет платить за них чрезмерно высокую цену. Оборона Севастополя является героической страницей всей *мировой истории...»*

* * *

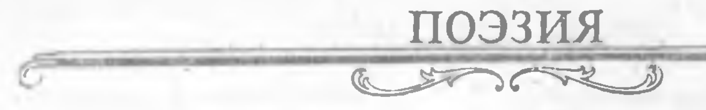
Итак, за южные фланги Паулюс теперь мог быть спокоен, а что касается Воронежа, то он надеялся на танки Гота:

— Герман Гот нетерпелив, и Воронеж, считайте, н а ш...

Армия Паулюса уже рванулась в большую излучину Дона!

Подготовка текста и публикация Антонины ПИКУЛЬ.

Продолжение следует



Неизвестная поэзия русского зарубежья

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПЕТРУШЕВСКИЙ (1891—1961)

Петрушевский Владимир Александрович (1891—1961) — офицер, поэт, ученый из русской военной интеллигенции. Окончил Хабаровский кадетский корпус, провоевал всю империалистическую войну в гусарском полку, был участником белого движения в рядах армии Колчака. После изгнания эмигрировал в Индонезию, где в скором времени стал одним из выдающихся вулканологов мира. Его именем назван вулкан на острове Ломблен (Малые Зондские острова), похоронен в Сиднее (Австралия).

Я поздно родился...

**Я поздно родился — на целое столетье!
Моей душе мила седая старина:
Тогда б не видел я годины лихолетья,
А славу родины и дни Бородина.
Тогда б, вступив в Париж, где русские знамена
Так гордо реяли, забыв Москвы пожар,
Поставил часовых в дворце Наполеона
Из бравых усачей и доблестных гусар.**

**В бою перед врагом не ведая бы страха,
Я б на защитный цвет смотрел как на обман,
И в дни лихих атак, как и во дни Кацбаха,
Всегда б горел на мне блестящий доломан.
Честь рыцаря храня, не ведал бы о газе,
Мой враг бы не взлетал, как хищник, в облака,
И на груди моей, как трещины на вазе,
Покоились следы дамасского клинка.**

**Тогда б не видел я печальных дней «свободы»,
Всю грязь предательства и весь позор измен,
Кошмарный большевизм и униженья годы,
И голод на Руси и всенародный плен.
Тогда б не слышал джаз, не видел бы чарльстона,
Из недра Африки прокравшегося в свет,
А под любимый звук «малинового звона»
Мазурку б танцевал иль плавный менуэт.**

**И жизнь моя была б так сказочно прекрасна,
Я знал бы цель ее — Россия, Царь и Бог!
И если б умер я, то умер не напрасно,
За родину в бою отдав последний вздох.**

**Тогда б я не влачил печальных дней изгоя,
Как тень минувшего, как «бывший» человек,
А гордо бы стоял в рядах родного строя...
Я поздно родился, я опоздал на век!**

1928.

Дорогой, всегда любимой

Ни за звонкий металл, ни за блага земли
Я тебе изменить не желаю,
И где предки мои родились и росли
Там душою своей я витаю.

Где могилы отцов, где могилы друзей,
Павших в честных боях со врагами,
Там не может не быть у скитальца связей —
Он прикован к стране той цепями.

За тебя ль не учил я молитвы читать
И шептал их устами дитяти!
За тебя ли не шел на войну умирать
И в рядах нашей доблестной рати!

Не тебе ли я клялся служить до конца,
Защищать твое счастье и славу,
И уехал в изгнанье по воле Творца
После долгой борьбы я на Яву!

За тебя ль не готов еще раз на борьбу,
И, не зная душою покоя,
Я несу на плечах роковую судьбу
Революции русской изгоя!

И в чужой стороне, где созвездье Креста
Блещет ночью на чуждом мне небе,
О тебе ль не молю Милосердца Христа
Прежде, чем о насущном мне хлебе!

Ты распята, как Он, за чужие грехи,
Но наступит еще воскресенье!
И краснеть будут те, кто сменили вехи,
Кто не верил в твое возрождение.

Нет! За звонкий металл и за блага земли
Я обетов своих не нарушу,
И за храмы твои, за святые кремли
Я отдам свою русскую душу.

(?)

40-я годовщина (1917–1957)

«Февраль и Март» — вы дети сатаны
И внуки бабушек и дедов революций,
Народом вы давно осуждены,
Нам выносить не надо резолюций.

Мы знаем все, Господь нас спас не зря,
Не восхвалять пришли мы «достиженья»
Родителей законных «октября»,
А указать на ваши преступленья.

«Кровавый Царь»... Кто так дерзнет сказать,
Вкусивши плод «великой и бескровной»!
Да, Он в крови, в крови Россия-мать,
Повсюду кровь, до паперти церковной!

Февраль и Март — вы смерть святой Руси,
Ее вы отдали, как жертву, на закланье,
Творец миров, не гневайся, спаси!
Верни Царя и прекрати страданья!

1957.

Их императорским высочествам августейшим дочерям Государя

От рук проклятых и ужасных
Погибнуть были вы должны,
Четыре девушки прекрасных,
Четыре Русские Княжны.

Одна была вина за вами:
Любовью к родине горя,
Ее вы были дочерями,
Как дщери Русского Царя.

Ваш взгляд молитвенно-лучистый,
Последний в жизни взгляд очей,
Сказал, что вы душою чистой
Простить сумели палачей.

Последний вздох... Утихли слезы...
Исчезла жизни суета...
Четыре царственные розы
Прошли чрез райские врата.

Ноябрь 1923.

Наступит день...

Наступит день, я верю в это —
День смерти призрачных свобод,
«Христос воскресе» среди лета
От счастья запоет народ.

Он разорвет обмана сети,
Ему простится кровь Царя,
И став душою чист, как дети,
Он жизнь начнет, добро творя.

Закроет Русь грехов страницу,
Залечит язвы старых ран
И сменит горя власяницу
На пышный счастья сарафан.

Царь Всероссийский и природный
Взойдет на прадедовский трон
И к общей радости народной
Воскреснут Правда и Закон.

Вновь будет крест сиять в Столице,
Как славы Божьей ореол,
А на столбах Руси границы,
Как прежде — Царственный Орел.

1.5.1955.

* * *

Если порою взгрустнется,
Ляжет на сердце печаль,
Дума стрелой пронесется
К Северу милому, вдаль.
Где вы, поля золотые
Богом забытой страны!
Кто погрузил вас, родные,
В эти печальные сны!
Сколько народа побито,
Пролито крови и слез!
Вся ты печалью повита
В прахе разрушенных грез...
Только и дышишь в надежде —
Воспрянет родная страна,
И засверкает, как прежде,
В солнечном блеске она.
Темная ночь пронесется,
Снова заблещут кресты,
Божия милость прольется
С синих небес высоты.
Снова янтарною рожью
Пахарь наполнит гумно,
Снова по-русски, по Божью,
Будет нам жить суждено.

(?)

Завет

Я умру, как и все в поднебесной,
В Богом точно назначенный год,
И в могиле, глубокой и тесной,
Свой последний закончу поход.

Мне цветов на могилу не надо —
Лучше горсточка Русской земли,
То для воина будет награда:
Мнить себя от родной не вдали.

Чтоб Небесная Сила хранила,
Положите на грудь образок,
Русский флаг, что душа так любила,
И заройте в прибрежный песок.

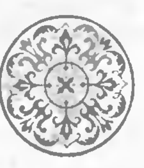
Его множество раз целовала
И ласкала морская волна,
Та, что с Севера к нам забегала
Из краев, где родная страна.

Для могилы из травки ограда
Да из дерева крест хороши.
Монумента над нею не надо —
Лучше дать инвалидам гроши.

Все равно не вспомянет потомок,
Что лежит здесь России певец,
Для него я былого обломок
Да печальной страницы конец.

Но когда разойдутся туманы,
Станет Русь наша снова святой,
Рифм воздушных моих караваны
Кто-нибудь да прочтет со слезой.

1955.



БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

Глава 11
ПТИЦА-ГАГА И КРЫСА-ОНДАТРА

— У меня на Соловках любой специалист найдется, — говорил Эйхманс, своеобразно гордившийся населением своей сатрапии.

Он был прав. Кого только не было на Соловках того времени! Какие только профессии, знания, а порой и таланты не таились в среде серого, вшивого, сбитого в густое человеческое месиво населения острова. От командующего армией до исключительного по ловкости рук карманника, от дирижера симфонического оркестра до дрессировщика охотничьих собак. Был и такой — польский шляхтич, бардзо гоноровый пан, презиравший все другие виды работы.

К чести Эйхманса надо сказать, что до оформления Н. А. Френкелем системы социалистического концлагерного рабства (до 1926/27 гг.) он легко предоставлял всем желавшим и умевшим работать возможность развития их инициативы в любой области труда. Даже пан-шляхтич нашел себе применение, став егерем того же Эйхманса и воспитателем охотничьих собак для магнатов ОГПУ. Позже он был переведен для той же работы в одном из огромных охотничьих поместий этого учреждения.

С одной из первых партий 1924 г. на остров прибыл учитель зоологии одной из станичных кубанских гимназий казак Некрасов. Ничем особым он не блистал, был рядовым провинциальным учителем, но свой предмет любил, и не по-книжному, не схоластически, а живо, страстно, пламенно, тесно связывая теоретическую премудрость с ее основой — жизнью животных.

Случайно он попал на отдаленную от кремля командировку, вернее наблюдательный пост охраны на побережье. В этом глухом углу острова гнездилось много гаг. Некрасов набрал птенцов и приручил их, одомашил, как он говорил. Статью о своем опыте и о возможных выгодах его промышленного использования он поместил в только что начавшей выходить тогда еженедельной печатной газете «Новые Соловки». Потом дал туда же и другую с очень смелой и, быть может, необоснованной гипотезой о происхождении соловецких «лабиринтов». Эти «лабиринты» нередки на побережье и островах Белого моря. Они представляют собою скопление поставленных на ребро каменных плит, образующих огороженные «закутки». Некрасов предположил, что эти циклопические лабиринты были «скотными дворами», в которых доисторические обитатели севера содержали живых тюленей в тот период, когда их стада откочевывают в просторы морей. Тюлени были главной пищей обитателей Соловков того времени.

Эти статьи были замечены. В результате Некрасову были предоставлены широкие возможности для развития опыта превращения гаг в домашних птиц, и под его руководством в бывшей летней резиденции архимандрита, в трех километрах от кремля, на берегу прозрачного озера, был организован «Соловецкий биосад».

Продолжение. Начало в №№ 4, 5 за 1991 год.

Некрасов любил, хотел и умел работать. Умел он и «попасть в тон», заинтересовать кого надо своей работой. Он предложил Эйхмансу разводить на Соловках ценную по своему меху американскую, вернее, нью-фаундлендскую крысу-ондатру, а также и черно-бурых лисиц.

Эйхманс «клюнул», как обычно «клюют», вернее «клевали» большевики на всё новое, неизвестное. Эта их психологическая черта верно и правдиво изображена в рассказе «Роковые яйца» безвременно вычеркнутого из русской литературы талантливого М. Булгакова. Не останавливаясь перед затратами, на Соловки были доставлены американские крысы и сибирские чернобурки. На Соловках же были переведены и изданы несколько брошюр об американских пушных питомниках и заложен первый в СССР питомник пушных животных. Я слышал, что позже обезличка оформившейся социалистической принудиловки стерла соловецкий биосад, как ненужную мелочь, но идея, впервые в России осуществленная соловецким каторжником Некрасовым по его воле и инициативе, нашла дальнейшее развитие: под Москвой и в других местностях Европейской России, а еще более в Сибири, функционируют питомники не только пушных животных (лис, куниц, соболей), но и «лечебных» маралов, рога которых (панты) богаты содержанием гормонов.

К 1927 г. некрасовский питомник разросся в небольшую биостанцию, которая была связана с Академией наук и выполняла ее задания по изучению флоры и фауны Белого моря не только в его верхних слоях, но проникала и в таинственные глубины, изучая жизнь в водах с температурой ниже нуля.

Среди работников биосада были и люди науки, были и просто любители этого дела. В числе этих последних мне запомнилась одна необычайная, возможная только в СССР, фигура сосланного на Соловки вместе с женой бразильского консула в Египте синьора Виоляро.

Его история исключительная даже в пестроте соловецкого калейдоскопа. Богатый гациендер, молодой дипломат, попав в Каир, женился там на русской эмигрантке княжне Чавчавадзе. Но мать его молодой жены не смогла вовремя эмигрировать и осталась в СССР. Попытки выручить ее легальным путем не привели ни к чему, и пылкий бразилец, готовый на всё ради своей красавицы-жены, рискнул на авантюру. Он, надеясь на свой дипломатический паспорт, приехал в СССР вместе с женой и начал поиски, в результате которых очутился на Соловках.

Режим по отношению к нему был смягчен. Он единственный из ссыльных жил вместе с женой и не нес работ. Возможно, что помогали большие деньги, которые высылались ему из Бразилии (на руки он их, конечно, не получал). Его жена работала в биосаду добровольно, ухаживая за гагачьими птенцами. Она встает в моей памяти, окруженная их пискливой толпой, а он — созерцающим эту идиллию, стоя в тени темной ели в белой широкополой шляпе, элегантнейшем пиджаке и безупречно отглаженных белых брюках.

Каких только неожиданностей, несуразностей, нелепостей не встречалось на Соловках в те неустойные годы!

* * *

Научная работа соловецких каторжников не ограничивалась музеем и биосадом.

Одним из интереснейших персонажей каторги был 84-летний профессор Кривош-Неманич. Вся его долгая жизнь была сплошным, жадным и страстным накоплением всевозможных знаний. Родом серб, он знал около 30 языков, в том числе древнеегипетский, древнеассирийский и арамейский. Его переводы с древнеегипетского печатались в специальных журналах. Изучил он, кроме того, ряд наук, которые многими берутся в кавычки: магию, хиромантию, систематику шифров. В этой последней он достиг больших знаний и успешно выполнял специальные работы по зашифровке и расшифровке еще при императорском правительстве. Пришедшие к власти большевики также воспользовались его знаниями в этой области. Я не знаю, добровольно или по принуждению он работал у них, но скоро стряслась беда. Он был арестован, вероятно, вследствие того, что слишком многое узнал, и получил 10 лет Соловков.

— Спасибо, — сказал всегда любезный и остроумный старик, — я предполагал умереть через 2—3 года, но теперь считаю себя обязанным дожить до 94 лет, выполняя предписание советского правительства.

На Соловки он попал с особым «паспортом», предписывавшим предоставление ему сносных условий жизни, но и строжайшую слежку за ним, даже частичную изоляцию его от других каторжан.

Эйхманс, пораженный объемом и разнохарактерностью знаний проф. Кривоша, спросил его:

— А метеорологию вы знаете?

— Интересовался, — ответил тот, — кое-что помню...

— Назначаетесь заведующим метеорологической станцией.

Метеорологическая станция на Соловках была создана монахами и успешно обслуживала монастырскую навигацию и рыболовную флотилию. Но при разгроме монастыря советами она погибла. Кривош-Неманич восстановил ее и заново оборудовал. Живя при ней в отдельном доме, в сравнительно хороших условиях, он беспрерывно находился под наблюдением. Получая пропуск в кремль, он ходил туда в сопровождении сексота, которого, между прочим, великолепно знал.

Доклады проф. Кривоша в зале соловецкой библиотеки, которые он делал там на самые разнообразные научно-популярные темы, всегда собирали много слушателей. И не только из среды интеллигенции. Он был превосходным «легким» лектором, просто и занимательно излагавшим подчас сложные вопросы науки.

Но таинственный корень славы «тридцатиязычного» профессора крылся в ином — в его познаниях в области хиромантии. Говорили, что он за несколько месяцев до расстрела предсказал «смерть от пули» первому властителю Соловков — Ногтеву. На мои вопросы об этом сам Кривош всегда отшучивался, не говоря ни да, ни нет. То, что он предрек автору этих строк (между прочим предстоящую эмиграцию и даже жизнь в Италии, о чем я не смел, конечно, и мечтать на Соловках), пока сбывается. Сам он к этой науке относился вдумчиво и серьезно, не впадая в крайний мистицизм.

Упомянув о Соловецкой библиотеке, я должен сказать несколько слов и о ней. К 1927 г. ее фонды превышали 30.000 томов. Их основой были книги, выделенные библиотекой Бутырской тюрьмы, но в 1925 г., во время бурного расцвета Соловецкой каторжной культуры, захватившего и начальника лагеря Эйхманса, он по настояниям Когана, потребовал от НКВД присылки большого количества книг, и из Москвы прибыло несколько реквизированных частновладельческих и коммерческих библиотек. Цензура была возложена на того же Когана, но он, воспитанный еще в старых традициях революционного подполья, провел ее более чем поверхностно, выделив в особый закрытый фонд лишь несколько десятков томов, выдававшихся все же по особому разрешению ВПЧ. Таким образом, в Соловецкой библиотеке можно было получить книги, уже изъятые на материке: «Бесы» Достоевского, полное собрание статей К. Леонтьева, «Россию и Европу» Данилевского и др.

Заведовал библиотекой бывший большевик и эмигрант царского времени Шеллер-Михайлов (Михайлов — партийная кличка), по прозванию «Соперник Ленина», вероятно, первый из уклонистов. Вернувшись после февраля 1917 г. из Лондона в Россию и состоя членом РСДРП(б), он «разошелся во взглядах» по какому-то вопросу не с кем иным, как с Лениным, и основал «свою партию», в которую завербовал пять или шесть человек. Финал ясен. Все члены этой «партии» были арестованы и сосланы, но несчастье преследовало незадачливого «Соперника Ленина» и дальше. ГПУ не признало реальной его «партию» и направило его не к «политическим» — членам соц. партий, жившим в прекрасных условиях в Савватьевском скиту, а на общее каторжное положение, как каэра.

Библиотечное дело он знал и вел его прекрасно. Дефектом Соловецкой библиотеки было полное отсутствие в ней газет, которые (даже «Правда» и «Известия») не допускались в лагерь по распоряжению Москвы. Сведения о происходившем в мире соловчане получали лишь по скудной информации еженедельной газеты «Новые Соловки».

При библиотеке был большой читальный зал. В нем ставились доклады, читались рефераты и бывали даже диспуты. Характер докладов был двоякий: одни, читавшиеся раз в неделю, были обязательными, пропагандой на политические и антирелигиозные темы. Они бывали массовыми, и слушатели на них высылались из рот принудительно. Другой разряд составляли доклады и диспуты на свободно избранные темы. На них шли без принуждения, и часто о них даже не оповещали, а лишь регистрировали темы в ВПЧ у Неверова. На эти доклады собирался лишь

небольшой кружок интеллигенции. Темы избирались чаще всего научные или литературные, мало доступные массам. Для характеристики их назову цикл докладов по истории масонства, прочтенных профессором Макаровым (умер на Соловках), по истории Соловков — доцентом Приклонским, о сокровищах Эрмитажа — художником Бразом (зам. хранителя Эрмитажа), о литературе древнего Востока — профессором Кривош-Неманичем и т. д.

Самым шумным и оживленным диспутом был имевший темой «Преступность в социалистическом обществе». На нем выступали и интеллигенты, и марксисты, и шпана. Особенно ярким было выступление Б. Глубоковского, утверждавшего, что преступность в СССР растет, принимая бытовые массовые формы и разрушая этические основы общества. Это было в 1925 году, и дальнейшая советская действительность подтвердила положения Глубоковского, но на материке в то время подобное утверждение было бы оплачено автору... Соловками. На Соловках же оно сошло благополучно и вызвало сочувственные отклики каэров и уголовников. Парадоксальны и сумбурны были те годы на Соловках.

Глава 12
«НОВЫЕ СОЛОВКИ» И «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА»

Мысль о выпуске газеты на Соловках зародилась впервые в мозгу Н. К. Литвина, сменовеховца, в прошлом сотрудника какой-то крупной ростовской газеты, кажется, «Приазовского края». Тогда он только что вышел из лазарета после тяжелой болезни и тихий, молчаливый, бродил, опираясь на палочку, по кремлевским дворам.

Что побудило его сменить вехи — не знаю. Он никогда и никому не открывал глубин своей души; рассказывал, что кружил по Балканам с какой-то группой новоявленных артистов, был, видимо, удовлетворен своей работой, не голодал и вдруг... вернулся и, конечно, попал на Соловки, как бывший сотрудник Освага, чего он не скрывал. О своем плане Литвин не сказал никому из заключенных, а действовал в одиночку, по обычному пути — через Когана. Обстоятельства благоприятствовали, т. к. в то же время открылась и типография, организатором которой был контрабандист с десятилетним сроком, дельный и феноменально работоспособный Слепян из Себежа. Этот маленький, хлопотливый, неказистый с виду еврей таил в себе хитрость Талейрана и выдержку Фабия Кунтатора. В Себеже у него была своя типография, служившая одновременно базой для переброски через границу крупных ценностей, главным образом золота. Она была на подозрении, и обыскивали ее каждую неделю, но всегда безрезультатно. Слепян сплавлял золото в слитки, подобные по форме слиткам типографского металла, покрывал поверхность их этим металлом и держал на самом видном месте.

— Бывало так, — рассказывал он, — закончат обыск, протокол пишут, а я эти же слитки на их бумаги кладу, чтобы не разлетались...

Но всё же попался. Кто-то из соучастников выдал его. На Соловках он развил ради сокращения срока бешеную деятельность, создав образцовую типографию.

Еженедельная печатная газета была разрешена. На ней не стояло подписей ни редактора, ни издателя, но фактическим редактором был назначен П. А. Петряев, секретарем Тверье, цензором комиссар Соловецкого особого полка Сухов. Каждый из них был колоритен для Соловков того времени.

Гвардии капитан Павел Александрович Петряев не принадлежал к преобладающему типу родовитой и богатой гвардейской аристократии. Средств у него, судя по его рассказам, не было, и служба в гвардии была лишь ступенью карьеры. Карьеризм, видимо, толкнул его и к вступлению в 1918 году в войска советов, где он быстро выдвинулся вплоть до поста командующего XIII советской армией, действовавшей на северо-западном фронте. С переходом на мирное положение он занял место инспектора артиллерии, но скоро был съеден. Говорили, что он был связан с павшим тогда Троцким. Вполне возможно, но утверждать не берусь. На посту редактора каторжанской газеты, а позже и ежемесячника он был более чем на своем месте. Прекрасно знавший и тонко чувствовавший русскую литературу, всегда ровный, выдержанный, тактичный и всегда ясно разбиравшийся в столь изменчивой на Соловках расстановке сил, он умел легко и незаметно обходить все

подводные камни, мягко и эластично устранять препятствия. Он никогда не шел напролом, но почти всегда достигал цели, тонко учитывая психологию противника и ловко маневрируя. Несомненно, он ошибся, став военным. Его призванием была дипломатия.

Внутренняя жизнь этого человека была от нас скрыта. Мы не знали даже, коммунист он или каэр. Изящно фрондируя, остроумно отшучиваясь, он отбивал все попытки проникнуть в его «нутро», был очень отзывчив к чужому несчастью, и я не помню случая, когда бы он отказал кому-нибудь в помощи и заступничестве, даже рискуя нанести ущерб своему влиянию.

Официальная цензура не стесняла Петряева, ведь цензором был Сухов из сверхсрочных вахмистров, прошедший какую-то совпартшколу. Коммунистическая обработка не могла вытравить в душе этого служаки крепких устоев, заложенных в нее учебной командой полка императорской армии. Теперь на Соловках бывший вахмистр Сухов был военкомом полка, а Петряев, бывший капитан гвардии и революционный командарм, — каторжником, но в подсознании Сухова Петряев оставался гвардии капитаном, да еще, как-никак хоть и революционным, но всё же командармом, генералом. Военком охраны явно робел перед каторжником и безоговорочно подписывал к печати все предложенные Петряевым корректуры, иногда даже не читая их. Но и при внимательном чтении разобраться во многом ему явно было не по силам.

Совсем иным был секретарь редакции чекист-коммунист Тверье, мрачный, озлобленный неудачник. Будучи посланным для агитации в Германию, он был там разоблачен, жестоко избит студентами и брошен в сток нечистот. Такие провалы в ГПУ не прощаются: последовали Соловки, но и здесь за какой-то, очевидно, серьезный промах он ухитрился попасть на сутки в знаменитую «Аввакумову щель» — каменный мешок в кремлевской стене, где нельзя было ни стоять, ни лежать. Придирчивый, подозрительный Тверье (подлинная фамилия Тверос) был темным пятном редакции. К счастью, он оставался в ней недолго, т. к. был переведен в команду охраны в Кемь.

После его перевода Петряев свел должность секретаря к чисто технической работе и взял на нее полную противоположность Тверье — милого, приветливого и услужливого Шенберга. Он, как и Тверье, был евреем, но выросшим в богатой купеческой семье и получившим прекрасное воспитание. Трагическую роль судьбы, рока в его жизни сыграли... японцы.

Шенберг был одним из немногих евреев-офицеров, произведенных при Керенском. Прекрасное знание французского языка и связи отца доставили ему командировку во Францию, где его и застал Октябрьский переворот. У милого, элегантного, прекрасно державшего себя Шенберга к этому времени в Париже была уже невеста-француженка. Ради получения гражданства республики Шенберг поступил с чином младшего офицера в колониальные войска и был назначен в Индо-Китай. Это было, кажется, очень трудно для русского.

В Индо-Китае его постиг первый удар судьбы: он завел там любовницу-японку, которая оказалась шпионкой. Бедный Шенберг был не только изгнан из армии, но и из пределов Франции и ее колоний.

Куда? Скитаться бесприютным бродягой по Океании или рискнуть вернуться к оставленной в Москве семье? Не будучи ни в какой мере сменовеховцем (да и «вах»-то у него не было), Шенберг избрал второй путь и через Шанхай и Владивосток вернулся на родину, соблюдая все формальности к ничего не утаивая из своего прошлого.

Первая встреча с ГПУ во Владивостоке прошла вполне гладко, и бывший офицер французских колониальных войск, получив все права гражданства РСФСР, поселился в Москве, где быстро нашел прекрасную службу — секретарем торговой миссии Японии. Это, конечно, стало известным и было учтено на Лубянке. Шенберг был вызван туда и принужден к слежке за своим принципалом.

Новая «служба» повисла тяжким камнем на совести Шенберга. Избавиться от нее он не мог и пошел на компромисс, уведомив японца о происшедшем, а потом рассказал об этом кому-то из своих русских друзей.

Результат этой наивности не заставил себя ждать: высшая мера (расстрел) с заменой десятью годами концлагеря!

Тайфуны Индийского океана сменились колючим соловецким норд-остом; банановые заросли джунглей — темными елями соловецкой дебри. Бродя в их сумрачной тишине, бедный Шенберг ронял слезы на письма сохранявшей еще верность ему парижской невесты, которые всё же доходили. Но парижанка никак не могла понять сущности перемены в жизни своего жениха и, воображая, что он командует ротой какого-то советского пограничного полка, жертвенно предлагала ему соединиться даже там, во льдах ужасного русского севера...

Жившему еще старыми традициями революционного подполья Когану хотелось сделать из «Новых Соловков» массовую газету соловецкой общественности, конечно, направленную по советскому руслу: то, что на материке было организовано в форме пресловутого рабкорско-сельскорского движения. Это было, конечно, невозможно. В газете сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессионалов и научных работников. «Массы» откликались лишь со стороны своей худшей, наиболее аморальной части. Большинство поступавших со стороны писем и заметок были густо, до отвращения насыщены тем подхалимством, тою добровольно-принудительной ложью, которая теперь стала квинтэссенцией всей советской прессы. Повествовали о своем перерождении, перевоспитании и даже восхваляли прелести каторжного режима — «вкусный рыбный суп» и «веселую, здоровую работу»...

На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание: наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было спасением жизни, но ее фальшь была слишком очевидной и бесстыдной.

Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность «перековки» не верил никто даже в среде чекистского начальства. О ней и не говорили. В те годы причудливого сплетения уходившей в прошлое России с вторгавшейся в сознание советчиной еще жили остатки представлений о совести, о стыде, о личной честности даже в среде чекистов.

Нач. адм. части Васьков, передавая Петряеву одну из таких заметок, направленную через адмчасть с расчетом на прочтение ее им, сказал:

— Вот, возьми. Тут какая-то сволочь тебе врет...

Но газету читали и даже покупали. Из тиража в 1000 экз. раскупалось и расходилось по подписке на дальние командировки около 100—120. Цена была 5 копеек в счет заборной книжки (на руки присланные с воли деньги не выдавались). Остальное шло на материк, и там большинство подписчиков составляли родственники заключенных, желавшие узнать хоть по газете о жизни своих близких. Немного, конечно, они узнавали.

На Соловках же читали прежде всего очень краткую информацию о жизни в СССР и столь же краткий обзор международного положения. Это понятно. Никаких других газет не допускалось. Читали последнюю страницу, где была официальная часть: некоторые постановления коллегии ОГПУ и управления лагерей. Читали театральные рецензии и добродушные, мягкие фельетоны Литвина на местные темы.

Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал «Соловецкие острова». Он содержал 250—300 страниц убористого шрифта и мог быть смело названным самым свободным из русских журналов, выходивших в то время в СССР. Теперь мне ясны причины допущения этой свободы. Он был безопасен для большевиков. Его тираж в 500 экз. был весь в распоряжении ОГПУ. Пересылка журнала с острова на материк допускалась лишь по особым разрешениям, в то время как газету можно было посылать свободно.

Но ОГПУ он приносил несомненную пользу. Во-первых, он осведомлял его (помимо воли и намерений авторов) о настроениях некоторых кругов русской, преимущественно московской интеллигенции; во-вторых, был рекламным козырем в руках того же учреждения, которым оно оперировало как доказательством гуманности соловецкого режима перед иностранцами, а главное — в высших слоях своей же партии, где в то время была еще сильна оппозиция старых большевиков (Рязанов, Цюрупа, Красин, Томский и др.), относившихся отрицательно и к орудию Ленина — Дзержинскому, и к истреблению им русской интеллигенции.

Но тогда мы не знали этого и работали в журнале, упоенные возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли.

Журнал выпускался солидно, даже щегольски, на хорошей бумаге, в строгой серой обложке, с заголовком по эскизу талантливого Н. Качалина. Он не только не

имел провинциального вида, но внешне напоминал лучшие из старых изданий этого типа. Вышло его семь или восемь номеров.

По содержанию он распадался на две части: художественную литературу и научно-краеведческую. Вторая была много обширнее первой.

Художественная проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубоковского, мои... Стихов было больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. В стихах можно было сказать больше и неуловимо для цензуры, всё же выразить свои чувства. Соловецкие поэты это делали. На смерть Есенина «Соловецкие острова» отозвались целым циклом (около десяти) стихотворений различных авторов. В них звучала нескрываемая скорбь о безвременной кончине поэта и упрек его гонителям.

Не сберегли кудрявого Сережу,
Последнего цветка на скошенном лугу...

На материке сделать этого не осмелился ни один журнал. Там поэты равнялись по хамской, циничной эпитафии Есенину, данной Маяковским.

Интереснее был отдел воспоминаний. Мне запомнились мемуары генерала Галкина, последнего русского резидента при последнем хане Хивинском. Они проливали яркий свет на жизнь этой малоизвестной окраины России, этого нелепого пережитка азиатских деспотий... Многие вспоминали войну 1914—17 гг., и эти воспоминания, равно как и мемуары ген. Галкина, могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий.

Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых Соловков, давал художник Браз, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведовал одним из отделов.

Вторая часть журнала — научно-краеведческая — заинтересовывала не только специалистов. Материалы по биологии, климатологии, океанографии и пр., конечно, мало кого, кроме них, интересовали, зато всё касавшееся истории Соловков находило читателя. Такового было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии. Картины долгой и насыщенной творчеством жизни таинственного монастыря вставали одна за другой: новгородские монахи-ушкуйники, воинственные старообрядцы, выдерживавшие осаду стрельцов воеводы Мещеринова, ссыльные запорожские атаманы и даже некоторые декабристы — все они прошли на страницах журнала, на фоне огромной культурной и экономической работы, проводившейся четыреста лет монастырем, на пепелище которого были брошены последние могикане, мелкие осколки разбитой, поруганной русской культуры. Пустырь разоренного монастыря, угрюмая тишина северной дебри были ее последним приютом на родине, казалось нам тогда...

* * *

В детстве мне случилось однажды попасть на скотскую бойню. В одном из ее помещений я увидел груду внутренностей убитых животных. Безжизненно розовели легкие, белели связки кишок и между ними темнели комки сердец. С них стекала густая черная кровь...

Сердца еще жили. Они пульсировали, сжимались, расширялись в неверном, порывистом темпе. Сила инерции уже отнятой жизни еще владела ими и заставляла их содрогаться. Одни уже замирали, другие еще работали вхолостую, вырванные, разобщенные с организмами, которым они служили, брошенные на грязный, залитый кровью пол.

Такой же грудой вырванных из тела, но еще пульсировавших, кровоточивших внутренностей представляются мне Соловки 1923-27 гг. У выброшенных на эту всероссийскую свалку не было ни будущего, ни настоящего. Было только прошлое. И это безмерно мощное прошлое еще сотрясало уже обескровленные сердца. В этой беспорядочной груде валялись и туго набитые уже загнившей заглоченной пищей желудки. От них шел удушливый смрад.

Они были уже мертвы, а сердца еще жили...

* * *

Однажды глухою безлунной сентябрьской ночью я возвращался пешком с отдаленной командировки. Дорога шла лесом, и я сбился с тропинки. Пришлось идти наугад, путаясь в высоких папоротниках, спотыкаясь о бурелом и валежник.

Пути не было, и я шел, уже не надеясь найти его до рассвета. Но вдруг впереди мелькнул отблеск какого-то луча. Я пошел на него, почти не веря, что это огонь в жилище человека. Он едва мерцал и порой совсем исчезал, скрытый ветвями ели...

Лишь подойдя вплотную, я понял, что свет идет из крохотного оконца незаметной во тьме землянки. Я заглянул в него.

Прямо передо мной горела лампада, и бледные отблески ее света падали на темный лик древней иконы. Ниже был виден ничем не покрытый аналой, а на нем раскрытая книга... Это было всё, и лишь присмотревшись, я смог различить склоненную пред аналоем фигуру стоящего на коленях монаха и рядом, на лавке, очертания раскрытого гроба.

Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника Святой Нерушимой Руси.

Взойти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно-торжественный покой беседы молчальника с Богом?

До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей Неугасимой лампады пред ликом Спаса...

Я думал... нет... верил, знал, что, пока светит это бледное пламя Неугасимой, пока озарен хоть одним ее слабым лучом скорбный лик Искупителя людского греха, жив и Дух Руси — многогрешной, заблудшей, смрадной, кровавой... кровью омытой, крещенной ею, покаянной, прощенной и грядущей к воскресению Преображенной Китежской Руси.

* * *

Я знаю, что у многих, очень многих читателей возникает вопрос:

Почему, на каком основании автор называет несколько десятков жалких, заморенных, голодных, искалеченных работников науки и искусства, брошенных на Соловецкую каторгу, последними носителями русской культуры? Ведь в то же время на всей территории СССР развертывался процесс грандиозного строительства, включавший в себя огромное количество творческих сил высокого напряжения! Как можно сравнить по объему и по результатам творческую работу этих сил с ничтожными усилиями жалкой кучки каторжников?

Но бродяга, изгой, беглый раб, каторжник Сервантес узрел своими духовными очами и запечатлел словом образ Вечного Рыцаря, будучи в оковах, в тюрьме. Рухнула мощная империя, в пределах которой не заходило солнце, а рожденный в каземате Вечный Рыцарь всё так же бродит по миру, любит, страдает и борется, повергается во прах и снова восстает и снова устремляет свое копье против злобных великанов и коварных чародеев! Люди, государства, режимы сменяются, но он неизменен, ибо он — Дух.

Сокровища человеческого духа, к числу которых принадлежит и русская культура, не поддаются ни физическим, ни математическим, ни иным, доступным человеку измерениям. Ничтожная лепта евангельской вдовицы превысила все сокровища храма. Слово, вдохнутое Богом, победило сильнейшую из империй, созданных человеком. Двенадцать галилейских нищих противопоставили свой Дух и излученную им мысль непреоборимой силе непобедимых легионов — и победили их!

Работа в области культуры ничтожной кучки русских интеллигентов на Соловках была действом Духа. Она была бескорыстна, стимулировалась только волей творивших ее, она была тяжелой, порою подвижнической.

Подвигом было создание театра Сергеем Армановым, ничтожным в мастерстве сценического преображения, но великим в своей любви к нему.

Подвижником был доцент Приклонский, кропотливо собиравший и склеивавший при свете коптилки клочки древних разорванных записей...

Прошли десятилетия, и многим казалось, что воля к личному подвигу сокрушена, растерта в прах тяжким жерновом социалистической обезлички. Казалось, что угасла приглушенной Неугасимая лампада — душа России... Казалось и мне тогда...

Но только казалось. Господь судил мне увидеть иное, о чем расскажу в конце этой книги.

Глава 13

КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

В 1926 году пароход «Глеб Бокий», доставивший на остров разгрузочную комиссию во главе с Глебом Бокием, привез в наглухо запертом трюме и небольшую партию новых ссыльных, среди которых был одесский контрабандист с десятилетним сроком Н. А. Френкель и сыпнотифозная вошь.

Глеб Бокий, без подписи которого не обходился ни один смертный приговор коллегии ОГПУ, был убийцей многих тысяч.

Сыпнотифозная вошь, занесенная в лагеря и до сих пор не переводящаяся в них, стала убийцей многих сотен тысяч людей.

Натан Ааронович Френкель, которому суждено было стать оформителем и главным конструктором системы концлагерей страны победившего социализма, может смело претендовать на звание убийцы многих миллионов.

Было бы ошибкой назвать его автором, изобретателем системы социалистической принудиловки. Эта система вполне закономерно и логично вытекает из самой доктрины социализма. Концлагеря ОГПУ лишь первичные ячейки, опорные пункты теперь уже достроенного социалистического государства-концлагеря, в котором жизнь «свободного» гражданина отличается очень немногим от жизни концлагерника за проволокой. Он не был автором системы, но в его мощном, реалистически мыслившем мозгу отвлеченная и еще туманная тогда идея получила свои первые реальные практические формы. Он осознал, оформил ее и включил в действие. Соловки были первым опытом ее широкого применения.

Большинство коммунистических карьер начинается быстрым взлетом ad astra — к звездам и очень нередко заканчивается еще более стремительным падением и пулей в подвале всемирно известного учреждения.

Карьера Натана Аароновича Френкеля развернулась в обратном порядке: от более чем вероятной пули в подвале — к звездам, в системе которых он и поныне блистает в составе того созвездия, которое чуть было не прервало не только его карьеру, но и жизненный путь.

Расцвет нэпа в Одессе был особенно пышен. Город, помнивший блаженную для дельцов эпоху порто-франко, город, насчитывавший даже в царское время более десяти тысяч зарегистрированных уголовников всех видов и специальностей, ожил и возродился в родной ему стихии. Шиберство, спекуляция и контрабанда развернулись в нем тогда в невиданных для России масштабах.

Еще молодой в то время коммерсант, природный одессит Натан Ааронович Френкель разом понял и оценил «дух эпохи», наступившей, как обещал сам Ленин, «всерьез и надолго». Понявши это, Френкель сделал «оргвыводы» и приступил к их широкой реализации — образовал трест контрабанды с размахом поистине американским.

Несколько пароходов, целый флот парусников и катеров этого треста совершали правильные рейсы между советскими портами Черного моря, Румынией и Турцией. «Дело» велось открыто до бесстыдства. Всевозможные товары, начиная с шелковых чулок и кончая валютой всех стран, находили себе место в трюмах этой флотилии и чемоданах доверенных агентов Френкеля. Пограничная охрана, уголовный розыск, суды и даже само ГПУ было закуплено.

Френкель был коммерсантом действительно большого стиля и человеком своей эпохи в истинном ее значении.

История любит иногда подшутить. На этот раз ее шуткой была служебная командировка в Одессу члена коллегии ОГПУ Дерибаса, фамилию которого шпана считала остроумно придуманным псевдонимом «Дери-бас», что на блатном языке означает: ори во всю мочь, нагло и нахально. Но эта фамилия была подлинной и лишь несколько иначе писалась до революции — де Рибас, с добавлением звучного титула. Носивший ее чекист был прямым потомком нашедшего новую, более чем милостивую к нему родину в России французского эмигранта, аристократа, ближайшего сотрудника строителя Одессы герцога Ришелье, главная улица которой носила тогда его имя.

Последний из рода де Рибас был чрезвычайно ярко выраженным вырожденцем. Очень маленького роста, почти карлик, с огромными оттопыренными ушами,

шелушащейся, как у змеи, кожей и отталкивающими чертами лица, он вызывал среди окружающих чувство отвращения, гадливости, смешанной со страхом, какое испытывают обыкновенно при взгляде на паука, жабу, ехидну...

Он знал это и не старался замаскировать своего уродства, но, наоборот, бравировал, подчеркивая его крайней неопрятностью, бесстыдством, грубостью и презрением к примитивным правилам приличия.

Столь же уродлива была и его психика (сказать — душа было бы ошибкой. Вряд ли у него была таковая). Дерибас был более чем обычным садистом: он был каким-то концентратом зла всех видов, «Лейденской банкой», заряженной дьяволом в аду. Он ненавидел всё и всех и не переносил улыбки довольства даже на лицах своих ближайших сотрудников и сотоварищей. Дерибас завидовал всему миру в целом и каждому его атому в отдельности. Он никогда не пропускал возможности причинить боль или иной вред каждому, даже бывшему в его лагере. Если коллегию ОГПУ считать ножом гильотины революции, то он был острием этого ножа. Его ненавидели и боялись даже члены этой всемогущей коллегии. Шатобриан или Лермонтов нашли бы в нём готовый прототип выразителя демонизма, который они безуспешно искали среди людей.

Именно эти качества Дерибаса и приковали к нему внимание Дзержинского в первые годы чрезвычайки. Создатель Чека, вернее, выполнитель этого задания Ленина, оценил по достоинству редкостное внешнее и внутреннее уродство этого человекообразного существа и быстро возвысил его до члена коллегии. Такие люди были там нужны, и Дзержинский не ошибся в своих расчетах: Дерибас оказался даже «полезнее», чем ожидал этого сам главный палач. В силу своей ненависти ко всему живущему Дерибас был на самом деле... **неподкупным.** Ненависть превышала в нём все другие чувства, желания и страсти...

Прибыв в Одессу с самыми широкими полномочиями, Дерибас, конечно, тотчас же узнал о контрабандном тресте Френкеля. Знал, конечно, и Френкель о полномочиях Дерибаса. Игра началась.

Френкель по происхождению был евреем, но не имел ничего общего с крупной и мощной в Одессе еврейской общиной, руководимой чтимыми раввинами. Он был циничным и откровенным атеистом, поклонялся лишь золотому тельцу и щедро рассыпал подачки нужным ему людям, но ничего не давал ни на синагогу, ни на еврейскую благотворительность. Раввины были настроены против него. Эту историю рассказывал мне здесь же, на Соловках, также еврей, сосланный туда одесский чекист среднего ранга. От него я и узнал подробности о начале деятельности Френкеля.

Именно этот антагонизм между Френкелем и еврейской общиной помог Дерибасу одержать победу. Борьба с Френкелем в тот период была нелегка даже и для такой крупной фигуры, как Дерибас, ибо у Френкеля были закупленные им «свои люди» в составе самой коллегии. Можно предполагать, что одним из них был возвышавшийся в то время Ягода, который позже, уже во втором периоде карьеры Френкеля, явно ему покровительствовал. Глава НКВД того времени Менжинский был, по существу, пустым местом. Доведенный до полного рамолизма наркотиками и развратом всех видов, он был пешкой в руках своих ближайших помощников, а среди них, как это всегда было, есть и будет во всех учреждениях и организациях коммунистической партии, шла ожесточенная внутренняя борьба. Пауки яростно пожирали друг друга. Умный, расчетливый и осведомленный о ходе этой борьбы Френкель был в курсе всех изменений в расстановке внутренних сил НКВД и спекулировал на них столь же умело, как и на валюте.

Но на этот раз он наскочил на достойного противника. Щупальца спрута, раскинутые от Москвы до Константинополя, встретили жало ехидны. Ехидна была под самым сердцем спрута, в Одессе.

Дерибас, сея ужас вокруг себя, повел игру с Френкелем чрезвычайно осторожно. Он умало делал вид, что хочет сам сорвать с Френкеля крупный, очень крупный куш, столь значительный, что не стеснявшийся обычно в таких случаях Френкель призадумался и начал торг при помощи доверенных лиц. А пока шел этот торг, в Москву, помимо и даже тайно от одесского отдела НКВД и, вероятно, от некоторых членов коллегии, шли сообщения Дерибаса, в чем ему помогала настроенная против Френкеля религиозная часть одесских евреев.

И вот в одну далеко не прекрасную для Френкеля и его друзей ночь в Одес-

су прибыл зашифрованный поезд с отрядом московских чекистов, который поступил под команду Дерибаса. Френкель, вся головка одесской Чеки и главные «директора» треста были в ту же ночь арестованы и через несколько дней отвезены в Москву самим Дерибасом.

Далее этот авантюрный роман разыгрался так: коллегия ОГПУ вынесла Френкелю и его ближайшим сотоварищам смертный приговор, но их покровители не сложили оружия. Френкель был уже приведен в подвал... и там ему было объявлено помилование, вернее, замена смертной казни десятью годами Соловецкой каторги.

Странная, незримая нить связала Френкеля и привезенную вместе с ним сыпнотифозную вошь. Первой стала действовать она. На острове началась и развилась с необычайной быстротой эпидемия сыпняка.

Лазарет уже не вмещал больных. Заболевали в кремле, в скитах, на соседнем острове Анзере, в Секирном изоляторе... Яма для свалки трупов на монастырском кладбище ежедневно расширялась на несколько метров.

Так действовала вошь, слепо и стихийно, убивая и сама погибая на трупах убитых ею...

Френкель действовал иначе — обдуманно и систематически. В первые же дни по прибытии на Соловки он, при помощи взятки, устроился в штат нарядчиков и внимательно присмотрелся к жизни соловецкого муравейника. Его точный коммерческий практицизм констатировал бесцельность, никчемность труда двадцати тысяч каторжников. Практический результат этого труда был ничтожен. Машина работала вхолостую, бесполезно растрачивая горючее. Думается, что тут же, в первые дни пребывания на острове, в его голове начал оформляться грандиозный план, вполне созвучный тому, который уже оформлялся тогда в лабораториях московского Кремля и вступил в жизнь СССР под именем первой пятилетки.

Но надо было ждать случая для проведения первого опыта, обстановки, нужной для рождения эмбриона.

Эту обстановку создала сыпнотифозная вошь.

Бурное развитие эпидемии вынудило начальство к срочным профилактическим мерам. Населению островов, уже отрезанному от материка прекращением навигации, грозило полное вымирание к весне. В первую очередь нужны были бани и в кремле, и в раскиденных по островам командировках; нужны немедленно, срочно.

Инженеры, которым было задано составить план и сметы построек, запроектировали их сроки в 10—20 дней. В проекте, поданном Френкелем по его личной инициативе, значился срок в 24 часа для постройки самой большой бани и только 50 человек рабочих, набранных по его выбору.

Баринов вызвал Френкеля к себе:

— Берешься построить за сутки?

— Берусь, если дадите всё, что указываю.

— Дадим. Надуешь — Секирка!

— Знаю!

— Вали!

Френкель отобрал около 30 сильных молодых работников, в большинстве ловких на все руки кронштадтских матросов. Служа нарядчиком и надсмотрщиком в отделе рабсилы, он уже знал их и намечал безошибочно. Остальных он потребовал из барака инвалидов.

— На кой черт тебе это барахло? — изумился Баринов.

— Мое дело.

— Раз так — бери. У меня попов да генералов хватит. Только помни: сорвешь — сгною на Секирке!

Обе команды — работников и инвалидов — Френкель построил друг против друга на месте намеченной стройки. Дул норд-ост. Мороз грыз уши и руки. Старики меньшей шеренги зябко кутались, топчась на месте. Многие были в лохмотьях.

— Дело обстоит так, — обратился к рабочим Френкель, — в 24 часа мы должны построить здесь баню. Не выполним задания — уйдем с работы прямо на Секирку. И вы, и я, и они, — указал он на стариков. — Горячую пищу — мясную — принесут сюда. Будет по стакану спирта. Начинаем.

Молодежь смотрела на стариков. Старики смотрели на молодежь. И те и другие были людьми. Молодежь поняла не столько умом, сколько сердцем, что от нее, и только от нее, зависит в данный момент жизнь стариков.

— Берись, братва! Дружно! По-авральному!

— Свисти всех наверх, боцман!

— Боевая тревога!

Вероятно, в давно минувшие времена Святой Руси так же дружно, с таким же напряжением всех сил строились по обету церкви-однодневки. В мятежных кронштадтцах, последних матросах Русского Императорского флота, еще жили пронесенные в их сердцах сквозь кровавый туман безвременья традиции Севастополя и Порт-Артура. Ими еще пелась тогда песня о героической смерти «Варяга».

Стены из толстых бревен были еще не закончены, а в огороженном ими пространстве уже клали печи. Доски, баланы, брусья словно сами летали по воздуху. Двухдюймовые гвозди загонялись одним ударом молотка сильной, привычной рукой...

— Даешь! Даешь! Полундра! — звучало над стройкой.

Старики помогали чем могли, но могли они мало. Френкель умышленно выбрал самых убогих, самых старых епископов и генералов. Сам он был центром всей работы, ее мозгом и распоряжался спокойно, дельно, толково... Свои обещания он сдержал: были и густые мясные щи, и хлеб без веса, и спирт...

Чахлый день соловецкой зимы замирал. Над стройкой вспыхнули прожекторы, и работа продолжалась в том же темпе.

Пришедший на следующее утро Баринов вошел в пахнувший свежей сосновой стружкой предбанник. Из двери бани валил белый пар уже закипевших котлов.

— Молодцы, так-растак, в сердце, в кровь, в селезанку!..— рявкнул восхищенный Баринов. — Всем по стакану спирта! От меня! А ты, — обратился он к Френкелю, — зайдешь ко мне... побалакаем...

Работа была выполнена за два с половиной часа до срока. В лазарет унесли только двух замерзших ночью стариков-священников.

Этот день был началом новой эры в жизни Соловецкой каторги. Она вступила в систему социалистического строительства, раскинутую на территории одной шестой мира.

* * *

Вторая часть зимы протекала под знаком напряженной работы сыпнотифозной вши и Натана Аароновича Френкеля.

Первая работала в низах, транспортируя уже не в одну, а десятки ям, вырытых в мерзлой земле, новые и новые сотни мертвых.

Второй работал в верхах, подготовляя транспортировку того же продукта социалистического производства уже не в десятки, а в сотни, тысячи, сотни тысяч братских могил.

Управление СЛОН было реорганизовано коренным образом. Его отделы, возникшие в период хаотического развития Соловков — свалки недорезанных, были преобразованы, частью аннулированы и пополнены новыми, сведены в стройную систему воспитательно-трудовой части, во главе которой стоял Френкель.

Для специалистов-техников всех видов настал золотой век. Первыми вступили в него экономисты-плановики — уродливая, паразитарная профессия, порожденная практикой социалистического хозяйства, и бухгалтера. Пишущие машинки управления стучали день и ночь, продуцируя кипы планов, смет, схем, которые единственный тогда соловецкий самолет едва успевал перебрасывать на материк — в Кемь, а оттуда на Лубянку.

Соловки были всегда микрокосмом, чутко отражавшим в уменьшенном во много раз виде все процессы, возникавшие на материке. Они пережили свой период военного коммунизма, свой нэп и теперь вступали в эпоху формирования социалистической кабалы.

Отразили они и последний бой зубров революционного подполья с провозвестниками грядущей армии роботов. Воспитательно-просветительная часть встала на путь воспитательно-трудовой. Коган вступил в борьбу с Френкелем и был разбит, приведен к молчанию, утратив разом всё свое влияние. Иначе быть не могло. Соловки отражали жизнь СССР.

Вместе с воспитательно-просветительной частью были разгромлены и все ячейки со-

ловецкого пережитка русской культуры. Первым умер журнал, ненадолго пережила его и газета. Музей сохранился лишь как показательно-рекламное учреждение; его научные сотрудники-краеведы были растасованы по канцеляриям, а часть их — геологи, топографы, картографы, геодезисты и пр. — направлена на изыскательные работы в торфяники Колы, тайгу Северного Урала и даже на Новую Землю, где была запроектирована база промышленного лова тюленей, моржей и трески. Биосад обезлюдел, театр был разделен на несколько мелких передвижек для обслуживания пропаганды в новых беспрерывно формировавшихся лагерях и командировках.

Размах Френкеля был широк и его организационные способности, несомненно, велики. Если до него распорядители соловецкой рабсилы в большинстве случаев не знали, куда девать прибывавших каторжников, то теперь людей, и особенно техников всех специальностей, не хватало. В отправленных в Москву планах и схемах значилась потребность в десятках, сотнях тысяч... ОГПУ удовлетворяла ее в срочном порядке.

Молох социалистического рабства рос с каждым днем, и ничтожный северный остров не мог уже вместить даже его мозга. Управление лагерями особого назначения было перенесено на материк, а сами Соловки превратились к 1930 г. в третьеразрядный лагерь, последнее пристанище безнадежных доходяг. Их роль была сыграна.

Соловецкий этап развития социалистического рабства сменился Беломорско-Балтийским. Во главе этой новой гигантской системы стоял Н. А. Френкель, превратившийся из каторжника с высшим сроком в неограниченного повелителя миллионов жизней, орденоносца и героя социалистического труда. Надо быть справедливым: это последнее звание он мог носить по праву. Его вклад в практику осуществления социализма — грандиозен.

В наши дни Френкель продолжает вести свое страшное дело, разворачивая его всё шире и шире. Теперь он уже имеет чин генерала Госбезопасности и множество орденов. С Дерибасом он, очевидно, сосчитался: этот последний исчез в период террора 1938 г. на Дальнем Востоке.

Часть третья

ЛЕТОПИСЬ МУЖИЦКОГО ЦАРСТВА

Глава 14

ФРОЛКА ГУНЯВЫЙ

Эту правдивую повесть недолговечного Уренского царства рассказывал мне урывками в долгие зимние вечера мой сотоварищ по вязке плотов на Соловецком взморье — Алексей Нилович. Фамилии он не имел, писался Ниловым по батюшке.

Рассказывал он мастерски, пересыпая свою плавную, струящуюся, как ручеек, певучую северную речь цветистыми оборотами, присказками, древними русскими словами, пахнущими смолою бора и цветением луговых трав. Тогда я не мог записать его рассказов: при освобождении с Соловецкой каторги делали тщательный обыск и всё рукописное или забирали в следственную часть, или просто уничтожали. Вывозить книги и тетради можно было только после просмотра, с особого разрешения административной части.

Я не мог записать их и после: на советской «свободе» всегда ожидал обыска и ареста, а тогда эта запись была бы мне не меньше трех лет концлагеря.

Теперь, спустя двадцать пять лет, многое, конечно, позабыто, но вместе с тем здесь, на берегу нежного, голубого Неаполитанского залива, обрамленного темною зеленью апельсиновых рощ, в моей памяти с необычайною силой и яркостью встали суровые, молчаливые северные сосны, белесое, льдистое море и он — Нилыч. Вероятно, это произошло в силу контраста: «прекрасное издалека».

И вот, что вспомнил — записал, стараясь по возможности восстановить узорную вязь его речи. Пересказать ее полностью, со всеми оттенками и переливами, конечно, не смог. В познании красоты и величия нашего языка Нилыч дал мне не меньше чем сама московская Alma mater в ее блестящем расцвете начала XX века.

Ростом Нилыч был невелик, но необычайно соразмерен: в меру широк, в меру полон. Бывают такие огурчики, крепенькие, гладенькие, на русском севере их называют окатными. Эта гармония, соразмерность была основной чертой всего его существа. Она была в его лице, немножко скуластом, финском, в его голосе, не тихом и не громком, но переливчатом и певучем. Когда он рассказывал, то чудилось, что не то старый раздобревший кот мурлычет на теплой лежанке, не то пузатый самовар завел вечернюю песню в комнатке с геранями и вязаными скатерками. Становилось тепло и уютно даже в холодном сумраке обращенного в тюремную казарму Соловецкого собора.

Слегка раскосые глаза Нилыча никогда не бывали спокойными: говорил ли он о смешном, — в веселую, смачную присказку он любил и ценил, — или о загадочном, — глазки бегали, как солнечные зайчики на стене; приходили уставные божественные слова — глаза поднимались вверх, но не притворно, не по-ханжески, а со светлою верою в силу и значимость этих слов. Само слово было для него чем-то физически ощутимым, реальным, весомым, вроде камешка в мозаичной картине, и он любовно укладывал эти камешки, радуясь на них, как ребенок. Большой художник слова жил в Нилыче.

За три года жизни в Соловках Нилыч ни с кем не поссорился и не поругался. Если его обижали, он или отвечая забористой, но вместе с тем добродушной репликой по адресу обидчика, вызывая смех у всех окружающих, или махал рукою:

— Бог простит!

Посылок из дому он, как и все остальные уренчане, не получал, но жил хорошо, сытно, промышляя ложками, вырезывая их из дерева. Казенных на Соловках не полагалось, а иметь собственную ложку при общем баке на шесть человек, больших аппетитах и пропорционально малых порциях тресковых щей было жизненной необходимостью. За ложку платили гривенник или соответствующее число хлебных пайков, а гривенник тогда, в разгар нэпа, был большими деньгами и на Соловках, где деньги ценились высоко, особенно среди тайных игроков.

Кроме того, урвавшись на час с работы, а это ему всегда удавалось, Нилыч мгновенно набирал земляники, малины, брусники, смотря по сезону, и всегда отличных белых грибов, которых была масса на острове. Лес он знал изумительно.

Водил дружбу и с рыбачьей командой, меняя там что-то на рыбку... Мужик был с хитрецой и оборотистый, но не скаред, и случалось, что сам бесплатно подавал новую, ухватистую ложку изголодавшемуся неудачнику-шпаненку:

— Возьми, родимый, ради Христа, а то, вишь, они какие хапалы, соседи-то твои... Как львы глотают!

* * *

Над мутной Вислой и туманной Двиной уже давно ухали и завывали тяжелые, неповоротливые пушки, а за обряженной в изумрудный сарафан вековечного кондового бора серебряной Унжей стояла нерушимая тишь. По давнему, утвержденному отцами и дедами обычаю текла немудреная и покойная жизнь в кондовых, срубленных из охватных бревен избах волостного села Уреней. Крепко-накрепко оберегали его от обезумевшего мира раскинувшиеся на сотни немеренных верст густые, бездорожные леса да дымящиеся сизыми туманами топкие, невылазные болота. По-прежнему гукал и ухал в них старый хозяин — леший, пугая припоздавших баб-грибовниц; в ясные майские ночи выходили из своих болотных горниц бесстыжие чарусные девки, плескали лебедиными крыльями жемчужную гладь лесных озер, а мглистою осенью, когда первые утренние заморозки знобили алые нити рябины и завертывали в трубку дубовый лист, уставший за летнюю страду Ярило-Купало отпускал на волю двенадцать сестер-трясовиц, и они плясали в болотном мареве, взмахивали откидными рукавами серых саванов, нагоняли на уренчан огневые лихоманки.

От лихоманок лечила бабка Лутониха, пользовала больных отваром ведомых

ей душистых целительных трав, собранных в лесах, в темные Купаловы ночи, когда уренские девки и парни скакали сквозь пламя костров и сами пламенели в любовных шорохах зачарованного бора.

Мудрственная была бабка, древнюю черную книгу имела, и хотя сама неграмотная была, однако куда до нее костромским докторам: и кровь-руду зашептывала, когда кого медведь подерет, и в жарко натопленной бане вывихнутые суставы расправляла, а о роженицах и говорить нечего — за долгую свою жизнь (под сотню ей уже подходило), почитай, все Урени на свои руки приняла. Она же и свахой была, да не такой, какие в Солигаличе или не Ветлуге свахи, что за полтинник любой грех на душу возьмут и с корявой да кривобокой окрутят, — нет, придет к Лутонихе баба, у которой девка на выданье, поклонится дюжиной локтей домотканой суровой холстины, Лутонихе посмотрит в свою черную книгу, пошепчет над опарой или красной гущей, потом на Владычицын лик древнего, праведного письма помолится.

— За Федора Марью выдавай, а за Ваську-озорника — ни-ни! И не думай.

По ее слову и сходилось. Федоровым родителям супротив Лутонихи идти было невозможно, и на Покров, по первопутку, катали не разубранных санях «князя» Федора с «княгиней» Марьей.

В церкви венчали редко. Древнего благочестия держались Урени, в беспоповцах числились. Однако церковь в селе была, и служил в ней поп Евтихий; ничего, хороший поп, обходительный. Никаких от него притеснений уренчанам не было, даже и младенцев богоданных без купели в книги записывал.

— По закону, — говорит, — разрешено бабкам слабых младенцев во имя Пресвятой Троицы без попа окрещивать, а они-то, голубчик, ангельские душки, всё-то слабенькие... Гляди, и лерышка куриного не поднимут!..

И уренчане обходительного попа уважали; жил он в достатке, крепко, а уж по огородной части в трех губерниях такого хозяина не было. Одних огурцов не менее, как сортов двадцать выводил поп Евтихий. Любой выбирай: и муромские, и для соления вязниковские, дубовые — не уколупнешь, и нежинские — с наперсток, и выписные из самой Москвы, «чудо Америки» по три фунта весом. Ну, эти более для забавы, настоящего вкуса в них нет.

Правили Уренями свой выборный старшина Мелетий и урядник, отставной Нижегородского драгунского полка ефрейтор, человек бывалый, и хотя чужой, из Великой Устюжны родом, однако правильный, и с уренскими старцами живет в ладу. Письменную часть при них выполнял учитель, присланный от земства. В школе ему работы не было: читать, писать в Уренях мало кто учился, а если и постигали книжную премудрость, то у начетных стариц по испытанной старопечатной псалтыри и «Адаманту благочестия». Да и кому, кроме писаря с урядником, нужна была грамота в Уренях? Они из города казенные бумаги получали, они же, что полагается, народу объявляли. Вот и вся грамота. Дед Зиновей сроду бумаги в руках не держал, а как начнет на Филипповки на посиделках сказки да стародавние бывальщины сказывать, так и до масленой не кончит и ни одной вдругоряд не повторит.

Крепким, как кряжистый дуб, русским уставом жили Урени, отгородясь лесами и болотами от ошалевшей, потерявшей лицо России. Слышали, конечно, что немецкий царь великою силою пошел на русскую землю, что нашему царю трудно и большая ему помощь от народа нужна. Рассказывали об этом на сходах старшина и урядник, а больше пояснял великий ведун лосиных лесных троп Нилыч, в самую Кострому за сто двадцать верст в двое суток добегавший по бурелому. Он почту носил, в городе бывал, и он же отвел туда в неурочное летнее время первых мобилизованных; летом-то в Урени колесного пути нет.

Что ж, воля Божия! Повыли бабы, поголосили да и угомонились.

Бывало такое и раньше, но хранил Господь Урени. А к тому же молотить было время, плакать некогда.

* * *

Но пришло и такое, какого раньше не бывало. Перед самою Пасхою, по последнему санному пути, вместе с бочкою керосина и тюками цветистых ситцев, привез приказчик купца Жирова из Костромы непонятную, страшную новость:

— Царя больше нету у нас... Нету и нету. А в Костроме невесть что творится: губернатор в остроге сидит, и ничего понять невозможно..

Стало боязно, словно за лесом громом прокатило. Обезумевшая Россия вплотную надвинулись на затворившиеся от ее беснований Урени. Однако до осени на селе было тихо: лесную дорогу летом болотом затягивало, а опричь нее в Урени колесного пути не было. Прибежали, правда, лесными тропами два своих солдата с фронта, но хоть и много они говорили, а в толк становилось лишь одно:

— Понять ничего невозможно.

Все же Покров проводили честь-честью, а как стала Унжа и медведи залегли в свои зимние домовины, собрались в город старшина и урядник. Только их и видели. Назад не вернулись. Лишь на Крещенье узнали в Уренях, что их под караул в уезде взяли и отвели, а куда — неизвестно.

Подошла масленая. Заревел в бору сохатый, возвещая близкую весну, затоковали тетерева. Кое-где, на припеке, с резных оконниц заснеженных уренских изб ледяные капели свисли. Погуляли. Старики, как полагается, самогону и сыченой браги досыта хватили; девки и парни соломенную масленицу на лубяных санях в мочальной упряжке за погост увезли и там спалили с песнями и хороводным плясом.

Не самое Прощеное Воскресенье, когда уренчане, напарившись в бане до одури и вывалявшись в снегу, обвязали себе больные головы шитыми рушниками, обложили виски квашеною капустой, в уши моченою клюквою набили (с похмелья — первое средство) и сели зверобоем опохмеляться, прибыли в село неведомые люди. Прикатили на четырех подводах и прямо к поповскому дому. А провел их сквозь чащу и сугробы, февральскими метелями нанесенные, свой, Фролка Гунявый, солдатишка беспутный.

Этого Фролки давно уже не видали в Уренях. Быя он бобылем. Такая слава о нем шла, что бабка Лутониха ему даже самой завалящей невесты не отпускала.

Без огня дыма не бывает. Крепко нечист на руку был Фролка. Начал он свои художества еще в отрочестве по мелочам — холсты с токов потягивал, а как в возраст вошел, с цыганами снюхался и конями промышлять стал. Водили его за это по селу в волчьей шкуре и били крепко. Грозились по обычаю кишки на кол вымотать. Только не помогла наука: отлежался в своей подклети Фролка и через несколько недель у первого уренского богатея Силаева купленного заводского жеребца увел; три катеринки дал Силаев за жеребца — шутка ли! В Урени после этого дела Фролка не вернулся, а, переметнувшись к московским церковникам, через благочинного себе паспорт выправил и был таков.

Сразу Фролку и не признали: шуба на нем городская, оленьим мехом крытая, а под нею — пиджак мягкой кожи и на голове треух с алой звездой. Выбрался он из крытых ковром розвальней, не спеша ноги расправил и хозяином пошел на попово крыльцо. За ним потянулись и прочие. Снега с валенок не обмели, а прямо в горницу прут, шапок не снявши и Божьего благословения не испросив.

— Здравия желаю, ваше толстопузое священство! Как изволите жить-поживать?

Оробел поп Евтихий... Что за люди — неведомо, но видно, что не с добром прибыли. А Фролка зубы, как волк, ощерил, смеется, цигарку из газеты крутит да на попа поглядывает. Вишь, в городах зельем антихристовым себя испоганил. Скрутил и к образу.. Лампадку неугасимую от Спасова лика снял и припалил от нее цигарку. Око, верно, образ письма неправильного, никонианского, и всё же Христово обличье и с двуперстным знамением. И не убил его, проклятого, Бог!

Поп так и обмер, слова не выговорит, а Фролка под образа садится, ногу через ногу перекидывает.

— Ну, поп, принимай гостей по достоинству... Вели своей попадье яичницу зажарить, щи из печи тащить, попенок твой пускай насчет самогонного дела расстарается, оно с морозцу не вредно. А вы, товарищи, располагайтесь у сего опиума, потому что и он для народа. Ясно!

Составили приезжие винтовки в углы, поскидали тулупы, а под ними на каждом полосы с патронами висят и не поясах леворверты. Фролка же дальше командует:

— Звони, поп, в свою медную посудину, да по моленным дай весть в била ударить, чтобы народ весь на выгон шел. А мы покамест погреемся.

У попа не токмо что руки, а все суставы в сотрясение пришли, и в глазах живчики скачут, однако распорядился с закуской и работника к начетным старцам послал.

Ударили в колокол.

Плохонький он был в Уренях, всего о пяти пудах, большого-то туда не довезти, да и тот, правду сказать, ни к чему: в церковь мало кто хаживал. По сокрытым моленным застучали деревянные била, тревожную весть возвещая. Уренчане покрестились на старописные темные лики, поснимали с гвоздиков опашные шубы из романовских овчин и побрели степенной поступью вдоль тесовых закрещенных околиц. Торопиться в Уренях не любили, а старикам-то спешка и вовсе не под стать.

Глава 15

ХЛЕБУШКО «В ПОТЕ ЛИЦА»

Фролка с товарищами тем временем и закусить и самогоном обогреться успел. Велел на площадь большой попов стол вынести, а на него другой, поменьше, поставить.

— Это, — говорит, — трибуна будет, а без нее теперь невозможно.

Под трибуну распряженные сани поставили, а на них невиданную машину на треноге с колесиком.

— Это у нас главный оратор, — посмеивался Фролка, — по шестьсот слов в минуту выговаривает. А имя ему — товарищ пулемет. Не видали еще такого, волосатые? Я его сам с фронта вам привез заместо гостинчика.

Собрались. Конечно, и бабы с ребятишками набежали, в сторонке стоят.

Фролка духом на стол сиганул и начал:

— Товарищи! Считаю митинг в селе Уренях открытым, а слово для доклада представляю себе, товарищу продкомиссару Гунявому. Ясно-понятно?

Первое дело, — говорит, — известно нам, что власти у вас сейчас никакой нет, а советской тем более, а также, что в лесах ваших укрывается гидра и контра. Товарищ же Ленин утвердил власть на местах, на каком основании и приступаю к выбору ревкома.

Говорит отчетливо, как топором рубит, а всё же непонятно, что за ревком такой и опять же продкомиссар?.. Исправник, что ли, или становой по-новому?

А Фролка дальше чешет:

— Ставлю на голосование список кандидатов: товарищи Гунявый Фрол, Тихонов Петр и Ерошкин Ефим. Кто против? Никого. Воздержавшиеся? Тоже никого. Значит: единогласно. Переходим к текущим делам: волостное правление протопить для ревкома и команды, а указанных товарищей разместить у попа, у Силаева и у бывшего старшины. Ясно-понятно?

Это понятнее. Значит, пришла новая власть. А с чем пришла — увидим.

Ожидать долго не пришлось. На другое же утро позвал к себе Фрол учителя.

— Списки давай!

— Какие тебе списки?

— А всего уренского населения! Должны такие быть.

— Как же, имеются. И все в порядке.

Посадил Фролка двух своих солдатишек за стол, а учителю велел списки зачитывать.

— Ревком, — говорит, — в полном составе. Приступаем к разверстке продналога.

Учитель читает, Фролка на каждого человека цену определяет, а солдатишка прописывает.

— Евстигнееву 100, Медведу — 100, Сукачеву еще 50 добавить, вытянет...

А как дошел до Силаева, у которого жеребца увел, так по столу кулаком застучал:

— Двести ему, черту голанскому ставь! Триста!.. Нет, мало, и пятьсот найдется!..

Старики, которые собрались в правлении, — ничего, этого Фрол не возбранял, — слушают, только опять невдомек — к чему этот счет ведет? И Силаев сам тут

же, кленовым посошком подпирается. Пока что помалкивают. Что дальше будет, ожидают.

А получилось вот что: закончил Фрол свою расценку и говорит:

— Вот что, граждане советские, медведям да волкам соседские! Прочтет вам сейчас учитель список. В нем кому что проставлено, тому и быть. Отпирайте клети да амбары, сыпьте золото-зерно, ржицу-матушку. Принимать с весу сам буду. Денька два потрудимся на советскую народную рабоче-крестьянскую власть, а в четверг с утра и в уезд повезем, потому что команде задерживаться здесь нечего. А в Костроме вместо хлеба, по полфунту жмыха на рыло дают.. На то приказ товарища Ленина...

Прочитал учитель список.

Мы молчим. Чего ж говорить на такое нестаточное дело. Брали с нас и допреж подушных по 32 копейки, да земских с полтину набегало, платили, и никогда за селом недоимок не бывало. Так ведь не сто же пудов! Такого и быть не может! Смеется Фролка, облыжет. Что за приказ? Какой-такой Ленин его писал? Все же промолчали. Пошли по домам, там погуторим.

Мужики побогаче у Силаева собрались, шумят.

— Не могёт такого приказа быть! Разорение это крестьянству! Слыханное ли дело, с Силаева пятьсот пуд, да он, может быть, их десять лет копил!.. Тем более, места наши лесные, не хлебородные, для себя только сеем, а прибыток более со льна да скотинки берем. Ежели все это выплатить, так не только на семена не останется, а и хлебушка до новины не хватит.

Шумели до позднего и порешили:

— Хлеба не давать, а пускай Фролка приказ покажет, чтобы подписанный был и с печатью. Ленина же мы никакого не знаем. Кем он на власть поставлен и от кого? Про то пусть Фролка объяснит.

Наутро без звона всем селом на выгон собрались. Громада! Сила! Поболее трех сотен дворов оно, село-то Урени, а с бабами да с ребятишками сколько народу будет, поди, посчитай.

Ждали недолго. Фролка от попа разом в правление прошел, а оттуда солдата с красным флагом выслал. Солдат его над крыльцом втыкает, гвоздем бьет, а мы глядим.

— Мать Пресвятая Богородица! Да ведь это попадьина юбка сподняя, канаусовая!

Бабы пересмеиваются, пальцами кажут.

— Разубрал попадью Фролка-греховодник! И за срамоту не почел, прости Господи!

Флаг прибили, и на крыльцо пулемет солдаты вынесли, крутятся около него. Вышел и Фролка, но с крыльца не сходит.

— Чего вам, товарищи? С чем пришли?

Мы тут все разом и зашумели.

— Нет такого приказа, чтобы хлебушко до зерна выбирать!..

— Откуда у нас жито? Сами покупаем...

— Не дадим, да и только!.. Деньгами подушные соберем, это правильно: царю ли или Ленину твоему, нам всё одно!..

Слушает Фролка, молчит. А как приутихли маленько, леворверт у пояса расстегнул и спокойно так, будто шутейно, говорит:

— Все вы врете, сукины сыны! Будто я вас впервой вижу, будто я вас ране не знал? По сто пудов отвалить не можете, а у самих скирды по три года немолоченные стоят. Приказ на то у меня есть, по-советскому мандат называется, — бумагу вынул и кажет, — все с печатью, по закону, а есть и другой приказ — вот...

Отхватил леворверт от пояса да как пальнет, а с крыльца солдатишки тотчас пулеметом затокали.

Сроду уренчане такого не слыхали и не видали, хотя все на селе охотниками были. Бросились кто куда, друг дружку топчут, свету не видят; бабы дурным голосом кличут, ребят тащут. Старцы посошки порастеряли, в сугробы попадали, плачут, имя Божие призывают.

А Фрол вслед кричит:

— Это вам, косопузым, только для старого знакомства очередь поверх пус-

тил! В другой раз прямо бить буду! Товарищ-то пулемет, он не милует: шестерых насквозь пробивает, в седьмом застревает!.. Так-то!..

Вот тебе и ревком с продкомиссаром! Дожили!

Фролка же, часа не теряя, пулемет к первой от края избе подкатывает, в воротах ставит, а сам с леворвертом к хозяину:

— Давай ключи от амбара! Духом!

Тому что делать! Токмо бы душу спасти...

— На, окаянный, бери, что хошь! Твоя воля! Оставь только животы наши в телесах...

А Фрол уже из амбара кричит:

— Мешки давай и веретья! Сани налаживай, коням корм засыпай да соседей зови, а то нам одним несподручно!

Не прошло и часу, как все закрома очистили, куренку и тому клюнуть нечего. Зерно в мешки ссыпали и на сани сложили.

Ребятишки ревмя-ревут, бабы убиваются, а Фролка хоть бы что, козырем ходит, антихрист, поганой цыгаркой везде коптит, шапку со звездой набок сдвинул, словно на игрище.

— Всем так будет, кто ржицу сокроет. А кто по-хорошему объявит, тому на прокормление оставлю. Советская власть шутить не любит!

Так и пошло — со двора на двор. Груженые санки к правлению вывозили. Там караул был поставлен. Объявляли по списку, сколько с кого пудов причитается. Только весить было некогда: Фролка всех торопил и обмерял на глаз. Увидит, что в закроме уже пол белеется и лопатка уже о доски стучит:

— Довольно, — кричит, — пиши: продразверстка выполнена!

А когда до Силаева дошел, — всё зерно дочиста выбрал и закромины велел веником обмести; в избу зашел, у баб муку забрал и по ветру ее пустил, а опару на пол вывалил.

— Будет, черт, жеребца своего помнить!

На ночь ворота в Уренях всегда на запоре; не то чтобы баловство какое бывало, а обычай такой: лес кругом. В ту же ночь не только на засовы воротницы взяли, но и колодами подперли изнутри: большого страха за день набрались.

Затихла улица, а по дворам работа идет: хоронят зерно мужики, кто куда может: кто в солому зарывает, в подполье тащут, и на чердак, и на сеновалы. Были и такие догадливые, что даже в колодезь мешки опускали. Коли мешок туго набит, так вреда самая малость будет: обмокнет на вершок снаружи, а внутрь вода не идет.

Между собой не сговаривались, куда там, днем некогда было, а глядя, как солдатишки хлеб забирают, у всех одна дума в головах стояла: сохранить добро свое, праведным трудом нажитое, горьким потом обмытое, крестьянское золото, богоданный хлебушко.

Деньги — что! В каждой избе в Уренях имелась своя заветная кубышка, лежало в ней веками накопленное серебро-золото, находились в этих кубышках и полновесные серебряные рубли с изображением ласковой императрицы, и тонкие, как кленовый листок, золотые полтиннички с ликом праведного царя Петра Федоровича (который в тайности старую веру хранил). Бумаг только уренчане не жаловали. Неверные они. Деды сказывали: набрали они этих бумаг, а после того, как воля вышла, понесли их в город на размен, а там не только что не берут, а еще смеются охальные гостинорядцы:

— Мохом вы обросли, в Уренях ваших сидючи да с лешими в свайку играючи... Эти самые ассигнации уж годов пять как прикончены, и размена им больше нет. Эх, вы, уренчане, гусиные лапы, воду лаптем черпали (присказка такая на Урени в народе)...

Кто пожег от сердца неверные бумаги, а кто и до сей поры бережет. Старица начетная Селивестрия каждый год о Петров день из кубышки вынимает и на солнышке развешивает — сушить.

— Не верю тому, — говорит, — чтобы деньга с царским орлом без цены стала. Это солигаличские купцы, нечистые щепотники, народ обманывают, новое гонение на истинную веру налагают...

Деньги — что, наживное дело! До войны каждую зиму в Рождественский пост правили Урени в Ветлугу, Буй, Солигалич, а то и в саму Кострому обозы. Везли

мед, воск топленый, дубленую овчину, кожу сыромятную, рыбу мороженую, ерша и налима из чистых лесных озер, лен-долгунец трепаный.

Всё правильное, богоданное, от Его великих щедрот человекам на услаждение, а хлебушко — он трудовой, ибо сказано про него в Писании: «в поте лица», а про мед и овчину того не написано.

Деньги — что! От них блуд и развращение сердец. Что на них покупали: бабам ситцы да миткали цветистые, фабричные, машинки швейные; ребятам сахар да крендели белые, пшеничные (от них лишь зубная хворь), а мужики, кто в вере послабее, так, бывало, потаенно и прескверную траву китайскую за пазухой возили. Ну, конечно, керосин и прочее...

А хлебушко-то — он не купленный, без него же и мышь не живет. Пошлет Господь дождичка во благовремение — сыта земля и радуется, прогневается — Его святая воля, — иссохнет земля в печали и несть человекам на потребу...

Утром, когда светлая зоренька еще за лесом нежилась, завились кудрявые дымки над Уренями — бабы печи запалили, заскрипели ворота — за водой с деревянными бадьями на расписных коромыслах девки пошли, а от колодцев иные и без воды прибежали сказать страшную новость:

— Ночью Фролкины солдаты Силаева да еще пятерых богатеев-тысячников из домов забрали и в правлении под крепким караулом держат.

А колокол снова сбор бьет. Снова на выгон тянутся мужики, только уж на тот раз бабам и ребятишкам путь туда заказан:

— Долго ли до греха.

Фролка же, полного сбора не ожидая, с крыльца народу кричит:

— Поите коней да запрягайте, чтобы через час обоз в путь был, а об арестованных мною вам беспокоиться нечего. Они за сокрытие излишков взяты, понесут за то революционную ответственность по пролетарской справедливости, а кроме того, они и есть самая гидра-контра, которая против Ленина и большевицкой партии идет. С ней разговор короткий! Которые же честно весь хлеб покажут, тем опасаться нас нечего.

Зачесались затылки у уренчан и головы вертуном пошли! Слова-то, слова-то какие! Революционная, пролетарская, гидра-контра... наверное, и сам поп Евтихий того не разберет, а он в губернии все науки превзошел. Это верно.

Обоз снарядили в сто подвод. Четыре солдата с ним пошли. А Фрол передохнуть не дает — уже другой готовит. Лошадей и саней в Уренях хватает. Безлошадных дворов искони не было, а иные и по две пары держали — корма в лесу привольные и сено по полянам изобильное.

Не узнать стало тихих Уреней. Над волостным правлением попадьина юбка треплется и доска прибита с надписью: «Ры-сы-фы-сы-ры. Уренский сельский революционный комитет». В самом помещении столов понаставлено, и учитель до ночи сидит и пишет. Царский портрет Фролка вырвал из рамы, углем разрисовал непристойно и на улицу бросил, туда же образа пошли. Бабы подобрали, спрятали. А раму с царева портрета старики отстояли: золоченая и деньги мирские за нее плачены. Фролка поспорил и плюнул.

— Черт с ней! Пускай пустая висит. Привезу с города Ленина и в нее влеплю.

Фролку самого и по имени и по отчеству звать воспрещено, а приказано:

— Товарищ предревком.

Иным и выговорить трудно: не туда язык повернется и такое получается, что, — тьфу, прости Господи! — сказать непристойно — бабы засмеют, а Фролка ничего, не обижается.

— Первые пять лет, — говорит, — трудно, а после привыкнете.

Прежде зимой в Уренях тихо было. На улице только ребята в снежки забавляются, а мужики с бабами по дворам да по избам своим делом заняты: бабы ткут и прядут, а хозяева всякую снасть к лету справляют: кто рыбачьи сети плетет, кто бороны вяжет; ложки тоже резали, пимы валяли, овчину дубили.

Теперь с учреждением ревкома в Уренях по весь день дым коромыслом идет. Выбирает Фролка излишки и обоз за обозом в город гонит. Торопится. Знает бес, что санного пути не более как на месяц осталось. Зерно обобрал — за скотину принялся. Тоже, говорит, продналог, со всего он идет, отпустят морозы, и картошку повезем.

Вечером солдаты по избам ходят и народ в правление сгоняют; там тот же

Фролка или дружок его Ерошкин про коммуну и товарища Ленина рассказывают. Выходило оно распрекрасно. Не дала как к осени, урожай собравши, во всём свете этот Ленин полный порядок установит. Денег не будет — бери так всё, что надобно, мануфактуру и прочее, солдатчины тоже не будет, потому — воевать не с кем станет: все языки и царства эту самую коммуну принять обязательно должны, а Ленина на весь мир царем поставить. Про землю тоже рассказывал: от господ ее отобрать и между крестьянами поделить. Только уренчанам это неинтересно было: село спокон веков государственное, и господ в нем не водилось. Земли и леса хватало. Кроме того, вокруг на многие версты казенные леса шли. Коси траву на полянах, грибы сбирай, хворост, бурелом, скотину паси — никто слова тебе не скажет, разве от своей добродетели объездчику Митричу к празднику кто гривенничек подарит и то из уважения.

Выходило по Фролову хорошо, а на деле — крестьянам разорение. Кое-кто, конечно, хлебца-то спрятать сумел, а у иных и взаправду последние осметки доедали — погибель, до новых-то полгода еще. Скотины тоже поубавилось.

Однако кое-кто на сладкие Фролкины речи подался и к нему потвенно в попову горницу ходить стал. Особливо те, кто на водочку слаб был. С ними Фрол особые разговоры вел.

— Комбед, — говорил, — учредим, и все Урени промеж себя переделим.

Глава 16

ЦАРЬ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Незаметно и весна подошла. На Марию Египетскую последний обоз из города вернулся. Еле добрались. Просовы и полыньи — коням по пузо. Еще бы денек, так все бы в лесу и остались. Разом весна слюни распустила.

Новую страшную весть обозники привезли: первою — старика, уренского богатея Силаева, и всех взятых с ним вместе в остроге смертью казнили. Просили уренские возчики хоть мертвеньких им выдать для честного погребения, а им в ответ посмеялись только:

— Куда вам их везть по распутице! Гляди, еще леший себе на разговены отымет. У нас им веселей в большой компании...

Притихли Урени. Начетные старцы в моленные затворились, по невинно убиенным панихиды правят, Святую псалтирь читают. В избах у новопреставленных рабов Божиих бабы на голос ревут, однако на улицу, как оно полагается по обычаю, выйти боятся. И на них нагнал Фролка страху.

Когда совсем затемнело и в бору сыч заухал, нечистой силе время ее возвещая, собрались кое-кто из мужиков в избе у Петра Алексеевича. Пришли тайностью, огородами, по улице идти опасаясь. Всего человек с пятнадцать. Без уговору собрались. Такой час пришел, что у всех дума одна встала на Петра Алексеевича.

Был он мужик небогатый, но все же в достатке: двор справный, изба чистая о пяти стен, скотинка удойная, огород и всё, что по крестьянству требуется. Но не за достаток почитали в Уренях Петра Алексеевича, а за правильность. Помрет ли кто, а сыны миром поделить достояние не могут — зовут Петра Алексеевича:

—Раздели по-божески.

Баловство ли какое произойдет, так допреж того, как на сходе разбирать, идут к Петру Алексеевичу:

— Так и так, мол, вот что случилось... Что будем с охальником делать?

Сам покойный старшина Мелетий, прежде чем свое слово последнее сказать, всегда Петра Алексеевича спрашивал, и как тот скажет, так тому и быть.

Правильный был человек Петр Алексеевич, и не от Писания было ему то дано, а отроду. Начетные старцы Писанье до точности знают, и когда какое слово сказано в премудрости своей разумеют, а все же много греха на душу берут и сребролюбию сильно подвержены. Петр же Алексеевич неграмотный был и не более как «Верую» да «Отче наш» помнил, а не только рублем серебряным, но и косой тысячей укупить его на скривление души невозможно было.

Росту он был преогромного, аккурат сажень без вершка, и силы непомерной. На медведя всегда один ходил и ружья с собой не брал, а по древности — нож-рогач и рогатину. Когда во младости на призыв ставился, так господин воинский начальник, глядя на него, инда заплакал:

— Стоять бы тебе, — говорит, — Алексеев за императорским троном в золотой броне да в славном кавалергардском мундире, а взять тебя невозможно...

Указательный перст на десной руке был у него отсечен: ребятишками с братом баловались, топором начисто отхватили.

Нрав имел Петр сумный и упористый, кремень-мужик, дуб, что скажет раз, того не менял и в доме своем всех соблюдал в великой строгости. Компании ни с кем не водил и водки в рот не брал даже и в Светлое Христово Воскресение. Однако при всей своей суровости невежества и обиды никому не чинил: ни домашним, ни соседям, ни крестьянству.

К этому-то правильному человеку и собрались в лихой час уренские мужики. Ставни примкнули, оконницы позанавесили. Покрестились на образа, сели по лавкам, где кому положено: кто постарше — ближе к Спасову лику, помоложе — к двери. Света не зажигали — лампада теплилась.

— Смерть пришла, Петр Алексеевич, последний час!

— Погибель крестьянству, одолела советская власть, у иных всё дочиста съела, проклятая, и мышам на пропитание не оставила...

— А все Фролка, он, нечистый дух, солдатишек в Урени навел. Жили мы до того, советской власти неизвестными.

— Так и жили бы, без Фролки!

Горячатся мужики, злобятся. У каждого на сердце накипело. Не то чтобы старцы древние к Петру собрались, а всё годки его, в самом соку мужики, лет по 40, работники, хозяева.

— Не хотим растакой советской власти. Коли царской теперь нет — свою поставим, крестьянскую!

— Поди, возьми нас в Уренях! Да и брать-то кто будет? Солдатишки вшивые, дармоеды!

Пошумели и, сердцем остыв, замолкли, на Петра Алексеевича глядят:

— Каково твое слово будет?

Поднялся Петр, справедливым двуперстным знаменем груди осенил, бороду огладил:

— Во имя Отца, Сына и Духа Свята! Правильны слова ваши: не стало житья крестьянину. Пошто будем в поте лица трудиться? На поганую советскую власть несытую? К добру ли, к худу ли, а путь нам один объявляется: солдатишек с советской властью прогнать и свою власть в Уренях утвердить.

Мужики разом загомонили:

— Отсидимся от солдатишек в Уренях, поди, возьми нас из лесов, из топей...

— Коли до боя дойдет, своих триста ружей поставим... Все охотники, у каждого свинец с зельем найдется...

— Значит, быть по тому!

Порешили в ту же ночь по первому петуху солдатишек с Фролкой взять и повязать. Сотворить это в небольшом числе, чтобы шуму и кровопролития не было. А наутро всем миром сход созвать и свою власть учредить, чтобы всем, без изъятия.

Отобрал Петр Алексеевич одиннадцать человек, сам двенадцатый, велел за ружьями да топорами сбегать и повел...

Солдатишек взяли без шуму. Осмелели они за спокойной жизнью в Уренях, разбаловались. Спервоначалу караул у пулемета в сенях ставили, а тут и дверь припереть забыли. Вошли уренчане в пимах тихо; видят: лампочка на столике привернута, чадит, винтовочки в углах составлены, а сами солдаты, разобравшись до исподнего, храпят вповалку. Жарко. Натоплено. В Уренях полен в печи не считают.

Петр Алексеевич первым на двух крайних навалился, за ним и прочие. Стриженая девка косы заплесть не успела, как всех перевязали, а было их шестнадцать человек. Никого не поранили, только помяли малость, особливо тех, что под Петра попали. Было в нем восемь пудов.

С Фролкой не так вышло. Поп на запоре ворота держал. Стучать пришлось. Кобели завыли, залаяли. Пока работник попов услыхал, да от третьего сна очухался, пока окликал да выбивал примерзшие засовы, Фрол беду учуял. Света не зажигая, оделся, леворверт забрал и на огород хотел податься, оттуда уж до леса

рукой подать. Только не вышло. На дворе его поповы кобели прихватили. Только на ночь спускал их поп с цепей, и Фролку они за своего не почитали.

Отбивается Фролка ногами, молчит, чтобы голосом себя не обнаружить. Только когда ему наизлейший мухрастый кобель зубом мягкое тело до костей прохватил, не стерпел Фролка.

—Ах ты, мать твою так, паразит!

Наши слышат — Фролкина речь. Этого паразита мы от него пишь узнали. Через забор полезли. Фролка из пистолета — хлоп! — и в нужнике затворился. Мужики за ним. Окружили нужник.

— Выходи, Фролушка, нечего прохлаждаться!

Фролка снова из пистолета через доски. Озлились уренчане.

— Всё едино не уйдешь, Фрол! Не проливай зря крови христианской. И без того шесть загубленных душ на тебе, вопиют ко Господу сиротские слезы.

— Растуды их, гадов! Побожитесь, что жизнь мне оставите!

— Не возьмем греха, Фролушка, не побожимся. Как мир решит.

— А за что же вы, гады волосатые, судить меня будете?

— За всё, Фролушка: и за новое и за старое...

— Так пропадайте, в Бога, в кровь... — и опять из пистолета пальнул, только никого не тронуло. Видят мужики, что так взять Фрола, без пролития крови, невозможно. Надо со сноровкой. Что ж, дело знаемое — все медвежатники. Натащили соломы из попова скирда, свалили в кучи, да тихонько их жердями к нужнику пододвинули. Угольки в горшке принесли, запалили.

Как стало Фрола дымом морить да огнем припекать, выскочил бес из нужника.

— Всё одно, — кричит, — пропадать, так не один, по крайности, в сыру землю лягу! — и из пистолета в Петра целится.

Стрельнул, да опять не попал за дымом, а в то время кто-то из мужиков ему жердочкой аккурат под колена угодил. Упал Фролка. Тут на него навалились и связали.

Мало кто спал в эту ночь в Уренях. Фролкина пальба всех на ноги поставила, но до света всё же никто на улицу носа не показал: опасались, и только лишь когда девки по воду вышли и увидали, как попадьина сподница сорванная в снегу лежит, а с нею рядом — доска написанная, так все мужики разом к правлению хлынули, горницу забили — яблоку упасть негде, на выгоне толпятся. Гомонят.

Вот начетные старцы на крыльцо вышли, в пояс народу кланяются, святым крестом плеча осеняют. От них аж пыль идет, до того древни. Нафанаил же еще в полной силе был, он и речь держит:

— Про то, что сею ночью антихриста Фролку и городских солдатишек повязали, вам, мужикам, ведомо. Ведомо и то, за что их взяли. Днесь же рассудим совместно, всем миром, как с ними быть далее: казнить ли или миловать за тяжкие их прегрешения? Как мир порешит, так тому и быть. Мирское слово — воля Божия.

Опять зашумели.

— Начинать с кого будем?

— С Фрола, он всему начало!

— С солдатишек, а Фрола опосля, о нем речь особенная.

— Выводи солдат!

Вывели. Поставили повязанных средь народа. Трясутся, стоят, иные слезы льют. Стоят, как взяты были, в исподнем, босые.

А народ лютует. Обида под сердце подкатывает, крови распаляет. Кто поближе стоит, норовит солдатишку ткнуть кулаком, а то и посошком огреть. Особливо бабы зверствуют: волосья рвут солдатишкам, за носы, за губы щиплют... Известно, нету удержу бабе в гневном исступлении. А задние орут:

— Нечего долго с ними мытариться! На осину всех!

— Животы вспороть да мукой набить! Хай лопают, несытые!

— В каменья их! В песочины!

Не жить солдатам. Сами видят смертушку. На колени валятся, вопят дурным голосом:

— Помилуйте, православные, Христа ради!

Народ же всё злей напирает. И был бы тот день для солдат последним, кабы не услышали все зычного голоса Петра Алексеевича:

— Укротитесь! Дайте слово молвить!

Зычный голос все услыхали и солдатишек оставили. А Петр Алексеевич на крыльцо восходит и с поклоном речь начинает:

— Не во гневе Бог жив, а в справедливости. Солдатишки — народ подневольный. Всё едино — по царскому ли слову идут или по советскому. Не их власть, чтобы собой управлять. Что приказано, то и исполняют. Нам же кровь их на душу брать несовместно, то и перед Богом ответ великий, и начальство, какое ни будет, за то не похвалит. Мое слово — солдатишек помиловать!

Опять зашумели. Только теперь уж об ином спорят: пустить ли совсем или под караулом содержать? Всё же порешили:

— Пустить и одежду им возвратить. А оружия и хлеба на дорогу не давать. Дойдут к городу — их счастье, не дойдут — воля Господня.

Так и сделали. Теперь за Фролом черед. Вывели его на крыльцо, кажут народу. Не узнать парня: левого глаза за чернотой и не видать, вихры в кровях запеклись, и губы надулись — били, пока до правления вели. Однако стоит прямо и глазом остатним вертит.

Вышел опять старец Нафанаил:

— Се есть Фрол, — говорит, — вины же его всем известны: многие христиане через него лютый глад терпят, вопиют к Господу вдовы и сироты об отмщении, невинно убиенных им души стоят пред престолом Божиим. Почто Силаева на казнь послал, Ирод? По злобе анафемской за татьбу, тобою же, Велиал, содеянную? Почто веру истинную попрал и к нечестивым никонианам переметнулся? Почто воинство антихристово на вертоград сей навел, анафема? Несть тебе прощения от Господа. Вопиют к престолу Его мерзости твои... Геенна и ад ликуют, тебя ожидая!

Страшен Нафанаил, аки пророк древлий, нечестивых владык обличающий. Горят глаза его под нависшими бровями, рукой потрясает и перстом на Фрола указывает.

Притих народ. Боязно. Только начетные старцы за Нафанаилом сгрудились, посошками стучат, перстами на Фрола тычут, у иных даже брады от ревности вздыблены.

— И принять тебе, анафеме Фролу, от Господа души погибель, от людей же лютую смертную казнь. За мерзости свои будешь ты бит нещадно. За татьство ночное утробу твою отверзть по обычаю. За невинных же убиенных и опустошение вертограда набить мукою утробу твою смрадную и тело прескверное бросить в лесу зверям на растерзание. Тако мы, старцы недостойные, порешили.

Безмолвствуют люди. Хоть и кипит в сердцах их на Фрола ярость, но страшит всех лютая казнь. Молчат. Никто первым не смеет утвердить страшное осуждение. Друг на друга поглядывают.

Ступил на шаг Петр Алексеевич и за всех ответил:

— Справедливо. Быть по сему.

Казнить Фрола порешили наутро. В тот день Вербное Воскресение было и в такой великий праздник кровь проливать, хотя бы и по справедливости — грех.

Но и в страстной понедельник казни не было: сгинул Фрол. Заперли его с вечера в заднюю горницу в правлении, в окне ставню наглухо забили и к дверям караул поставили. Утром взошли — нет Фролки, и окно открыто. Ставню осмотрели: клещами гвозди повыдернуты. Нашелся, значит, в Уренях Фролу сообщник, а кто — доселе неизвестно. Баяли потом на многих: и на тех, кто к Фролу потаенно хаживал и в комбед соблазнялся, и на дочку попову указывали, будто у нее с Фролом любовь была... Мало ли что сказывали, а в точности уяснить не могли.

Тем же утром собрались в правлении начетные старцы и мужики, кто помогутнее, новую власть устанавливать. Без власти жить невозможно.

Затворились от прочего народа. Надо сначала самим вырешить, в малом числе, а потом на мир вынести. Иначе же один крик будет, а толку никакого не получится.

Но и в затворе шум большой был. Нафанаил со старцами на свою сторону гнет, чтобы им управление взять, они-де Писания умудрены. Могутные мужики свою линию держат: как было, выбрать старшину и урядника назначить. В старшины мельника метят.

Большой спор был, чуть ли не до драки. Когда попритихли, возговорил Лукич Селиверстов, не больно могутен он был, однако ухватистый по торговому делу.

Лен, воск и прочее в Уренях на себя искупал и сам в город возил; там и набрался разуму.

— Старцы, — говорит, — нам, извините, непригодны. Писание, конечно, святое Божие слово, а только мы люди есть, человеки, во грехе пребывающие, а по Писанию жить не могём. С другого же понимания старшина и урядник есть власть, однако начальству подчиненная. Досель становому и исправнику повиновались, а в конечном счете царское повеление соблюдали. А теперь — в чьем они будут повиновении? Выходит, этого-то товарища Ленина, который на царское место заступил, а от него опять к Фролке, к другому такому злодею в лапы... Это так...

Опять же рассудить: тот же Фролка объяснял, что товарища Ленина приказ: власть на местах утверждать. Значит, мы, Урени, свою власть сотворить в полном праве, и такую власть, чтобы верху над ней не было...

— Царя, что ли!

— А хотя бы и царя... или как бы вроде...

Пообсели старцы и мужики. Есть над чем позадуматься. Оно и правильно выходит и боязно. Царь есть Помазанник Божий, откуда же сие Уреням? Однако же, цари Российские из Ипатьева монастыря вышли, и хоромы их там доселе нерушимы стоят, монахи по ним богомольцев водят. И царя в те поры на Руси не было, а вступил он на царство по народному избранию, утвержденному праведным патриархом. До окаянного Никона дело было.

С другой стороны глянуть: Ленин этот власть на местах избирать велит, значит, с ним спора никакого быть не может, к тому же Урени — место отлетное, сокрыто лесами и топями, и проезда к нему летом нет.

Начетные старцы тоже соглашаются:

— Несть бо власть, аще не от Бога, — говорят, — так и в Писании сказано, только царю править с ними в совете, как оно было в древние праведные времена, щепотникам на прельщение не поддаваться и в истинном благочестии пребывать.

Порешили — царя!

Вышли к народу и устами Нафанаила объявили:

— Своего царя избираем, а кого хотите звать на царство — того кричите!

И крикнул весь народ одним голосом:

— Хотим государя Петра Алексеевича, кроме его никого!

Дело решенное. Старцы с могутными опять затворились в правлении. Приговор на избрание писать надо и всё в точности указать. Позвали учителя, бумагу правильно составить велели, чтобы потом чего не вышло. А каким способом Петра на престол возводить — опять спор.

Начетные старцы утверждают:

— Соборно помажем. Того достаточно, и царство будет крепкое.

Мужики же такой пример им подводят:

— А венец ваш старческий крепок? На живую нитку он без узла шьется! Окрутите в моленной потаенно, а за метрикой на младенцев богоданных в церковь иди. Хлопот потом не оберешься и мошну вытрясешь! А такого разве не бывало, чтобы парень, в моленной окрутившись, жену оставлял и в церкви вдругоряд венчался? Нет, вы свое благочестие творите, как хотите, а для верности без церковного не обойтись... Зовите попа!

Пришел поп Евтихий, по порядку всё выслушал.

— Решение, — говорит, — правильное и богоугодное. Ясное дело: Петра надо ставить, а не Фролку-подлеца, душегуба! Но помазанье производить и на ектенье поминать я Петра без указа из консистории не могу. Вот молебен с акафистом благодарственный за избавление от супостата или о здравии и преуспеянии в благих деяхх, это возможно. Совершу и одобряю.

На том и помирились: старцы у себя, как хотят, в церкви же молебен особо, и старцам идти туда надобности нет.

Над приговором же до вечера трудились. Шесть раз учитель листы переписывал. Пришли к тому:

Быть Петру Алексеевичу царем полновластным и единодержавным над всеми Уренями.

Творить ему, царю, суд справедливый в своей царской воле, по Божьему закону и его цареву разумению. Быть тому суду нерушимым, хотя бы добра и живота кого лишить. Всем же уренчанам тому его царскому суду не противиться.

Ему же, царю Петру Алексеевичу, войско созывать коли потребуется, и под начал свой брать, кого пожелает.

Всем же уренским мужикам царю Петру быть покорными и не прекословить, за его же царские труды положить ему в год по полтине с дыма и по пуду зерна, иных же податей ни подушно, ни на землю, ни на промысел не накладывать. Писаря же содержать самому царю из его царских милостей.

Быть тому приговору нерушимым на вечные времена.

В том и расписались, кто мог, а сам царь праведный крест поставил.

В моленной помазали соборно при малом народе, в церкви же на молебствие, окромя старцев, все Урени сошлись. Правда, больше вокруг храма стояли. Благолепно всё было. Сам Петр слезно молился, не вставая с колен, и мужики стояли истово. Все разумели:

— Дело великое!

От церкви Петра всем народом до избы его проводили, и стал он с того часа царем всех Уреней, Петром Первым.

Снова жизнь в Уренях потекла тихою мерою. Святая Пасха всему народу истинным воскресением стала. Вместе с Фролкою ушел страх из села. На розговены по всем избам разубранные столы стоят. Всяк своим достатком похваляется. Не боятся, что советская власть, как при солдатишках, за «излишки» ухватится. А похвальба такая крестьянину в грех не ставится: от трудов своих разубран стол, от «пота лица».

Тем, у кого Фрол весь хлеб начисто выгреб, приказал царь Петр Алексеевич помощь мукой собрать с каждого по достатку, и сам первый три пуда отвесил. Только не в милостыню, Христа ради, такое каждому хозяину зазорно, а в долг, с отдачей к Покрову, после обмолота, и бумагу на то учитель составил. Все очень довольны были: и Христу послужили и без убытку.

Светлую заутреню отстояли, кто в церкви, кто по моленным, как кому от отцов положено. Сам царь в церковь не пошел, а к Нафанаилу, но попа с крестом к себе принял, тропарь простоял, похристосовался с ним честь-честью и водкой потчевал. Нафанаил и старцы не препятствовали: царь — надо всеми царствует, и над истинными, и над щепотниками. Лишь бы себя в благочестии соблюл.

Погуляли. Без этого и праздника нет. Случилась и драка промеж парней. Царь судил тут же, на месте, и тут же наказание произвел: всем драчунам без изъятия, и битому и небитому, по дюжине ременных лестовок отсчитать для вразумления. Отсчитали.

Прошла Фомина. Русалья неделя настала. Береза пахучим листом украсилась, невестой стоит в весеннем своем уборе. Лесные дебри устлались синим первоцветом. Легким духом из бора потянуло. Медведь зимнюю шерсть на дубовую кору счесывает — хозяину лесному на валенки. Русалки и чарусницы от зимнего сна пробудились, на вольной озерной глади играют. Снял с них ледовую кабалу морозного деда повеселевший Ярило-Купала. Поэтому и неделя эта Русальей прозвана.

На Егория разубрались бабы в китайчатые летники (теперь этой китайки и в Москве не сыскать). Старцы Фролу и Лавру, скотину соблюдающим, помолились, святой водой дворы окропили.

Заиграл на берестяной жалейке старший уренский пастух дед Емеля, и погнали бабы мягкотелыми вербными хворостинами оскудевших за зиму черно-пегих очкастых холмогорок на привольные корма, на сладкую вешнюю траву.

Всё как будто по старине пошло и даже лучше. Допреж урядник себя показать любил, настырный был покойник и крикун, а также на руку скор. Перепадало от него по уху и безвинно, особливо когда во хмелю пребывал, а к водке он был усерден. Царь же Петр Алексеевич в чужие дела не входил, молчаливым был отроду, без вины никого пальцем не трогал и не было от него никому беспокойства. Зато и крепла день ото дня его царская власть, в пояс ему и могутные мужики кланялись, а величали не иначе, как:

— Царь наш, Петр Алексеевич.

Только не прошло всё же без следа пребывание в Уренях Фролкиных солдатишек. На Красную горку задумала мать Колоуриха скороспелку-свадьбу сыграть. Была к тому причина: девка ее Евпраксия с одним из солдатишек погуливала. В Уренях такое дело девке в укор не идет. Обычай там вольный: девок в затворе не держат. Особенно в тех домах, которые по старой вере. Бабам иное дело. Бабу, — скудельный сосуд, — держат в страхе Господнем и мужу повиновении. Ибо сказано в Писании, и старцы подтверждают: «да боится жена своего мужа», про девок же умолчено.

Поклонилась Колоуриха бабке Лутонихе. Холстеца положила и сотенку яичек. Лутониха в книгу свою глянула и на жениха указала, на кузнецова сына. Кузнец от того не прочь. Колоуровы хозяева статные, дом — полная чаша и роду известного, хорошего; приданым не обидят девку — самим зазорно будет. Жених тоже согласен: девка в самом соку, ягода.

А свадьбы не вышло. Заартачилась девка, как кобыла норовистая.

— Нет и нет! К кому захочу, к тому и пойду! Своим умом изберу любушку-лапушку, яхонта-князя!

Уговаривали девку. Старицы из скита приходили усовещивать — ничего не берет, а на стариц и смотреть не хочет.

— Молодыми, — грит, — были — сами жили, любовь сладкую крутили, а ушла краса, в черных галок перевернулись, деньгой чулок набивают...

Родитель поучил лестовкой, а в ночь девица сгинула. Сказывал потом ходок Нилыч, что в городе ее видел. Солдата своего она там не нашла, потонул он в болоте, из Уреней идучи. А живет в почете. Косы остригла, красным платком по-никониански повязана и сама вроде начальства. В главном совете сидит и на мужиков покрикивает.

Бывали и раньше в Уренях свадьбы-самокрутки. Так с венцом, хотя бы никонианским. Такого же срама, чтобы косы стричь и без мужа жить, не случалось во все века.

И в других девках шатание стало заметно. Бывало на праздник, под вечер, на завалинках посядут и про Алексея Божьего человека али про Книгу Голубиную стихиры поют, али мирские стародавние: «Сад виноградный», «Лебедь белую».

Теперь про Алексея и вспоминать не хотят. Смеются.

— Алексей — человек Божий, а нам, девкам, не гожий. Одна скука от этой песни, а вот не хотите ли:

> Яблочко, ты мелко-рубленное!
> Не целуйте меня, я напудренная...

У солдатишек, паскуды, научились.

От парней тоже солдатским духом несет. Иные от солдат табак курить выучились. Опоганились. А он, бес, зелье антихристово, за собой блуд тянет.

— Ничего, — говорят, — в том плохого нет. Всё это про грех скареды-старцы врут. Вот когда из правления иконы выкидали, солдаты одну себе взяли, цигарку запаленную Спасу ко рту прилепили:

— На, — говорят, — товарищ Бог, покури, а то попы не дадут.

И ничего им за то Бог не сделал.

Отцы иных поучили лестовками и сами тому не рады: баловаться парни не перестали, только что в избах не дымят, материнского лая боятся, на гумнах украдкой дым пущают, того гляди овины сожгут, и смотреть стали волчатами.

Как пообсохло, кто пободрее лесными путаными тропами в город бегать зачал и, оттуда вернувшись, похваляется:

— В городе, конечно, голодно. Откуда им, куцым кобелям, хлебушка взять! Зато весело! Собрания идут всякие, на них мудрственные слова говорят: про Бога, про советскую власть, иноземных буржуев и прочее. Ишь, какого ума набрались! Каждый вечер в мучном лабазе Барамова-купца (самого-то забрали) — представление: комедианты приезжие Петрушку строят или киношка.

Про комедиантов мы и ранее слыхали, что навроде ряженые, или как ранее было — скоморохи, а что за киношка такая — не ведали. Учитель объяснял:

— Американское изобретение. Живая движущаяся фотография.

Опять ничего не поняли.

К сенокосу пришли теми же тропами последние из уренских, что на войну были взяты. Себя фронтовиками зовут. Совсем обмирщенные. Цыгарки по весь день изо рта не вынимают и в избах дымят, а на бабий лай лишь посмеиваются.

— От нашего дыму, бабы, целей будете. Копченые окорока по три года нетленны.

Пришли голодные, но одежа справная и сапоги принесли тонкого офицерского хрома. При оружии и патронах.

— Товарищ Ленин нам для защиты советской власти оставил.

Опять он, Ленин, везде встревает.

Для начала погуляли-покуражились:

— Мы-де растакие-сякие, опора пролетарской революции!

Однако царь Петр Алексеевич их укротил, хотя без боя не обошлось. Один фронтовик навек с косой рожей остался, так его царская рука по скуле благословила. И оружие царь Петр отобрал. В правление вместе с пулеметом заперли.

Присмирели фронтовики, посбавили куражу, видят — не их здесь сила. Между прочим, и сено косить надо. Дни стоят ясные, сухие, каждый зимнего месяца стоит. Занялся каждый по крестьянству. Рыло, однако, скоблить не перестали, божьего подобия не придерживаются.

Продолжение следует

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР ЕРЕМИН

«И БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ...»

Выступать сегодня в поддержку Горбачева или хотя бы попытаться объективно оценить его деятельность — дело не только безнадежное, но даже опасное.

Компрометация президента идет сразу в нескольких направлениях: с одной стороны, его представляют коммунистическим монстром, во имя марксистских бредней удушающим малейшие потуги народа на человеческое существование; с другой — выставляют этакой марионеткой, которую дергают за веревочки мафиозные кланы. Третьи благодушно разъясняют, что президент просто по-человечески ошибается, заблуждается, но порывы его искренни и он сам не знает, к каким результатам приведут завтра его сегодняшние действия. Последние особенно коварны, поскольку прекрасно понимают, что совершать подобного рода ошибки, давным-давно вскрытые, описанные, всесторонне проанализированные крупнейшими умами XX столетия (тем же Иваном Ильиным), может либо безграмотный невежда, либо тупица, познающий наследие прошлого по принципу «смотрю в книгу — вижу фигу». В конце концов эти «доброхоты» старательно подводят нас к идее ущербности и рабской сущности народа, ибо только ущербный народ может шесть долгих лет преспокойно наблюдать, как «дурак» губит страну и развязывает гражданскую войну, палец о палец не ударив, чтобы дать ему пинка. Но так ли это на самом деле?

Вернемся к апрелю 1985 года. Горбачев становится во главе КПСС и страны. Он полон надежд, планов, горячо верит, что ему удастся добиться народной поддержки.

Ситуация в общественных структурах сложнейшая. С одной стороны — реакционеры-консерваторы, чье благополучие целиком зависит от незыблемости устоявшейся системы. Но они стары, наиболее авторитетные из них перемерли, служки же разбегаются в поисках более молодых хозяев. С другой стороны — нувориши-космополиты, люди, нажившие гигантские капиталы на беззастенчивом грабеже народа, но недовольные зависимостью своего благополучия от системы; они желают официального и стабильного признания себя и своих наследников собственниками страны, они мечтают влиться в элиту мировых господ и безраздельно, гарантированно, открыто повелевать трехсотмиллионным российским «быдлом». Эти люди давно столкнулись с западным капиталом и его спецслужбами и, в обмен на расчленение России и дешевую распродажу национальных богатств и рабочей силы, добились от последних гарантий на всемерную поддержку при установлении в разваливающейся стране своих диктатур. Они относительно молоды, грамотны, напористы, к ним стекается вся нечисть, долгие годы сосавшая народные соки под прикрытием брежневщины.

Эти зажравшиеся буржуа эпохи первоначального накопления прекрасно знают, на какую наживку легче всего поймать бесхитростную массу полуграмотного населения: отсутствие личных свобод граждан, жестко зажатых прессом коммунистической идеологии, расцветшая на этой благодатной почве бесконтрольности и безответственности бюрократия. И нувориши объявляют себя «демократами», выдвигают откровенно лживые, рассчитанные на неграмотность людей лозунги. Основа этих лозунгов — ускоренные темпы якобы демократических преобразований в условиях отсутствия необходимой материальной и духовно-интеллектуальной базы — этот безошибочный, исторически выверенный путь к гражданской резне и диктатуре. Таким образом, идеи демократических свобод на долгие годы оказываются скомпрометированными в глазах народа, он вновь, как и в 1917-м, становится безропотным рабом «демократической» диктатуры и «демократических» хозяев.

Обе группировки боялись и презирали народ, обе готовы были продать его первому же выгодному дельцу. Разница сводилась к тому, что «демократы» были умнее, действовали хитрее и уже успели найти покупателя, в то время как у престарелой братии с этим делом было туго.

ЕРЕМИН Виктор Николаевич, родился в 1957 г. Окончил исторический факультет Кишиневского университета. Преподавал в Кишиневском сельхозинституте. Сейчас работает в журнале «Витязь». Живет в Москве. Это — первая публикация автора.

А посему участь последних была предрешена.

Третьей силы в тех условиях не было да и быть не могло. Человек, стоявший во главе государства, мог сохранить власть, лишь вступив в стаю «демократов». И Горбачев решился... Внешняя нейтральность позволила ему сыграть на противоречиях приблизительно равносильных монстров и остаться на плаву.

С апреля 1985 года поэтапно, в полном соответствии с графиком, а не стихийно, как нам пытаются внушить сегодня, стал воплощаться в жизнь глобальный план уничтожения России (она же — СССР), разработанный и неоднократно публично обсуждавшийся крупнейшими специалистами Запада еще в 70-х годах и уже тогда получивший название «перестройка». Главным пунктом этого плана являлась ограниченная гражданская война на территории России, имеющая целью ликвидацию активной патриотической части общества без применения средств массового уничтожения и установление марионеточных диктатур фашистского толка в многочисленных вновь образовавшихся государствах. Такое решение вопроса устраивало и Запад, и «демократов».

Расчлененная Россия навсегда исчезала с мировой политической арены, поскольку новоявленные американские хозяева никогда бы не позволили ее мелким клочкам воссоединиться ни в целое, ни в союз. Как они умеют это делать, мы видели на примере злополучного Ирака. Западу гарантировался самый зверский безнаказанный грабеж вновь образовавшихся многочисленных колоний, что в ближайшей перспективе даст ему шанс безболезненно выкарабкаться из надвигающегося к началу XXI века, невиданного по своим масштабам всемирного кризиса.

Что касается «демократов», то предварительно следует уяснить, что именно они по своим лозунгам, идеологии, формам организации и практической деятельности являются прямыми и единственными наследниками тех самых «революционеров», которые вкупе с российской бюрократией привели Родину к февральско-октябрьской катастрофе 1917 года.

Это их безнравственные деды ввергли народ в братоубийственную гражданскую войну и подрубили корни национальной духовности, их отцы ограбили и распяли народ во имя личного обогащения, а сегодня они сами, розовощекие, холеные наследники, выполняя завещание преступных предков, окончательно добивают и Родину и остатки несчастного народа. Почему? Потому что пока существует единая Россия — сохраняется народная память, пока есть народная память — жив народ, пока жив народ — не будет покоя у «демократов», дни и ночи будут они с брюшным трепетом ожидать разоблачения и возмездия за свои кровавые злодеяния. Чтобы жили «демократы» — народ должен умереть, чтобы умер народ — надо подменить народную память лжепамятью (что ныне с успехом и делается «демократической» прессой, в то время как наивные толпы принимают за лжеисторию детский лепет сталинских недоучек), чтобы восторжествовала лжепамять — необходимо уничтожить единую Россию.

Однако с самого начала было ясно, что расчленить Россию и тем более установить в ней, по выражению Гавриила Попова, «демократические» диктатуры, без гражданской войны невозможно. Первый раз, в 1917 году, когда народ был еще памятлив и силен, даже резня не помогла. Потребовалось 70 лет всесторонней обработки и промывки мозгов, чтобы «демократы» вновь решились подступиться к коренному решению столь жизненной для них задачи.

На первый взгляд, однако, получался тупик: гражданская война в стране с ядерным потенциалом и атомными электростанциями вроде бы несла в себе угрозу всему человечеству. Но это для дурачков! Теоретики «перестройки» прекрасно понимали, что гражданская война — это война народа и толпы, защитников Родины и ее предателей, патриотов и «демократов». Из этих двух сил патриотическая — малочисленная, в отличие от «демократов», ослабленная десятилетиями непрекращающихся и по сию пору террора и лжи, даже перед угрозой окончательной гибели никогда не поднимет она руку на Отечество и его обманутый народ. Единственные, кто способен пойти на такое, — это сами «демократы», находящиеся под присмотром заокеанских хозяев. Таким образом, ядерный потенциал СССР отныне не является угрозой благополучию Западного мира, он становится великолепным орудием шантажа, призванным парализовать всякое патриотическое сопротивление расчленению России. Ссылки на опасность использования ядерного оружия, одновременные угрозы повзрывать все к чертовой матери, если не будет по-ихнему, постоянное талдычанье о том, что мы вот-вот можем-де переступить опасную грань войны, оказались прекрасным средством, позволяющим как можно дольше не давать народу возможности осознать, что война против него ведется уже давно. Чем позднее народ это поймет, тем меньше времени будет у него на организацию самозащиты, а если «демократам» повезет, то они завершат свое черное дело и вовсе без единой для себя жертвы.

Понимал ли Горбачев, что приход «демократов» к власти означает гражданскую войну? Думаю, что понимал. Но нашел только один «выход»: сам выступил организатором так называемых народных фронтов национальных республик, первый год бегавших по улицам с его портретами и от его имени требовавших запрещения русского языка, а затем и дискриминации русского населения.

«Демократы» тем временам не дремали. Используя накопившуюся ненависть к бюрократической системе, они довольно «грубо», но весьма эффективно состряпали и выставили на всеобщее обозрение красную тряпку КПСС. И над страшной про-

грохотало дружное многомиллионное: «долой!». Ну откуда всем этим затюканным, измученным судьбой людям было понять, что давно уже нет на свете единой, сплоченной и реальной силы — коммунистов, что КПСС давным-давно раскололась на меньшинство грабящих народ правителей-нуворишей и на тот же ограбленный и одураченный народ — «быдло», коего большинство. Они даже не заметили, что травлю коммунистов организовали журналы коммунистической же верхушки: сперва «Коммунист», а следом «Огонек» — два возлюбленных детища высшего партийного функционера Яковлева. Вожаки умывали руки, подставляя для расплаты ничего не подозревающих простолюдинов с красными книжечками, правда, вкупе с жалкими остатками перепуганных брежневцев.

Вскоре неразборчивой толпе были предоставлены и конкретные «ребята для порки» — Егор Лигачев и Нина Андреева. Обладатель внешности типичного партийного бюрократа, Егор Кузьмич Лигачев стал сущим кладом для развлекающихся «демократов». Стоило ему где-нибудь появиться, да еще, не приведи бог, раскрыть рот, как взвинченных «демократической» прессой и особенно патетическими спектаклями Гдляна-Иванова зрителей буквально захлестывала волна ненависти вне зависимости от того, что Лигачев говорил или делал. Стоит ли удивляться, что «демократы»-нувориши, подлинные хозяева теперешнего Кремля, так долго и упорно держали и так же упорно травили Лигачева в Политбюро? Не удивительно и то, что резкое откровенное выступление Нины Андреевой они поспешили связать с именем проштрафившегося члена Политбюро.

Возьмите и перечитайте андреевскую «Не могу поступиться принципами». Самый жесткий противник ее политических пристрастий не может не признать, что в статье нет ни слова лжи. Все стало так, как писала «петергофская мегера», ибо писала она честно, писала о том, что выстрадала, что выносила в самой глубине сердца. Именно это и испугало «демократов», именно это заставило их буквально залить помоями искреннюю женщину. А теперь возьмите «демократические» отклики на андреевскую статью, начиная с яковлевского подвала в «Правде» и кончая писаниями его подголосков типа Коротича, — и попробуйте с высоты сегодняшнего дня отыскать там хоть слово правды. Не старайтесь, не найдете! Выводы напрашиваются сами собой.

В 1986 году патриоты еще только начинали пробуждаться, а «демократы» уже приступили к прощупыванию общества на готовность к гражданской войне. Первой ласточкой здесь стало выступление небезызвестной погромщицы русской деревни академика Заславской. В четвертом номере «Коммуниста» за 1986 год ее статьей «Человеческий фактор развития экономики и социальная справедливость» началась промывка мозгов, а заодно выщупывание и компрометация наиболее опасных теоретиков, способных вовремя уловить готовящийся крестовый поход против Отечества. Далее были Аганбегян, Тихонов, появился Шаталин и прочие. Из номера в номер журналы партийной верхушки вдалбливали в головы читателей идеи развала общества и стравливали его различные слои и нации. Уже тогда мелкие демократические подпевалы договорились до того, что потребовали официального признания неравных стартовых возможностей для образования детей; поскольку-де высокообеспеченные родители могли обеспечить более качественное воспитание своего потомства, предлагалось именно таких детей в первую очередь принимать в престижные вузы и, соответственно, направлять на руководящую и престижную работу. Сегодня эти великомудрые теоретики галопируют в первых рядах «прорабов» перестройки. Что же будет завтра, борцы за вольнолюбивый рынок? Неужто вы и впрямь решили, что рынок и демократия позволят нам трудиться по способностям, а получать по труду? Какой наив!

А Горбачев молчал... В тот день мало кто понял, что произошло. А те, кто понял, перекрестились и воззвали: «Боже, спаси Россию!». Документальной основой грядущей кровавой эпопеи стали яковлевские заключительные резолюции XIX Всесоюзной партконференции, главной из которых стала резолюция «О некоторых неотложных мерах по практическому осуществлению реформ политической системы страны». В ней определялась продолжительность подготовительного этапа войны, внешне еще мирного, но особенно важного, поскольку именно на этом этапе «демократы» намеревались окончательно стравить население и довести спровоцированные ими противоречия до неразрешимых мирным путем антагонизмов. Чтобы убедиться в том, что сей план был с успехом выполнен, достаточно ознакомиться с документами партконференции в свете уже известных нам событий.

Финальным аккордом подготовительного этапа становился апрель 1989 года, когда первый Съезд Советов окончательно обрубал все пути к бескровному пресечению провокации. Со дня открытия съезда начинался второй этап, этап развязывания региональных вооруженных конфликтов и постепенного втягивания в войну всей страны. До этого уже были Казахстан и Нагорный Карабах, хотя массовую трагедию и развал еще можно было предотвратить. Но почему именно Съезд Советов делал невозможным мирный выход из кризиса?

Дело в том, что созданные эсерами и большевиками во время гражданской войны 1905—1907 годов «полновластные Советы» по своей исторической природе являются органами гражданской войны, могут нормально существовать только в условиях гражданской войны, своим возрождением определяют активизацию гражданской войны и объективно, зачастую помимо воли своих представителей, являются самой заинтересованной в непрекращении гражданской войны стороной. Причины такого положения прекрасно обозначил эмигрант Максимов, сказавший, что в подобного рода органы выбирают не лучших, а себе подобных. Поскольку к полновластию Советы приходят в условиях назревания гражданской войны, когда люди уже озлоблены, стравлены, ненавидят друг друга за социальную и национальную принадлежность, за лишнюю шмутку, за смазливую или уродливую рожу, наконец, — то к власти в Советах за редким исключениеим прорываются самые озлобленные, самые буйные, самые болтливые, готовые ради своих застольных бредней положить на жертвенный алтарь весь мир, а не то что собственных сограждан. И как бы умильно и красиво ни вещали они с высоких трибун, за кулисами они, как правило, вершат свои кровавые злодеяния. Это не гипотеза, это — выверенный нашими шкурами закон.

Знал об этом, видимо, и Горбачев. Возможно, он надеялся, что ему удастся хотя бы частично нейтрализовать яковлевскую компанию: часть депутатов избиралась от общественных организаций. Правда, эти «нейтралы» — преимущественно партийные и прочие функционеры — оказались малоэффективным балластом, повисшим на шее главы государства. Они вроде бы и поддерживали его, голосовали за выдвигаемые им резолюции, но гораздо больше заботились о личной реабилитации и изо всех сил разыгрывали из себя демократов.

Оставалось только удивляться, как это яковлевцы умудрились допустить такую стратегическую оплошность. Но... все было распланировано заранее. Когда президент и Верховный Совет СССР выполнили возложенные на них «демократами» дестабилизирующие функции, полностью скомпрометировали себя и стали удобными мальчиками для битья, они вдруг почуяли, что их выкидывают на свалку, и вознамерились сопротивляться. Вот тут-то наличие депутатов-функционеров и оказалось главным козырем для «демократического» пути разгона неугодного парламента.

Больше того, напуганные депутаты-функционеры бросились за поддержкой к разрастающемуся патриотическому движению, а те, думая прежде всего о трагическом вымирании нашего народа, о необходимости беречь и возрождать каждую личность, каждую душу, приняли их с распростертыми объятиями. Это ли не повод для «демократов» вновь передернуть карты, выставить патриотов коммунистическими агентами, тянущими страну к неосталинской диктатуре, и со скандалом присвоить себе чужие заслуги в тяжком деле защиты народа.

Но это будет потом, в 1991 году. А по каким критериям выбирались «народные» депутаты в 1989 году? По деловым качествам? По уму? Честности? Порядочности? Совестливости? Нет! «Демократы» стравили народ до такой степени, что критерий был один: в республиках — кто сильнее ненавидит русский народ, в России — кто крепче лягнул коммунистов. Не о Родине думали, не о себе и не о своих детях, а о том, как бы почувствительней нагадить русским и коммунистам.

Нас постоянно приучают к постоянному расшаркиванию перед Советами как народной и демократической властью. Нас чуть ли не законодательно понуждают уважать их не за дело, а за сам факт их существования. Но ведь это же дико, безнравственно! В дни гласности для «демократов» пора и честным людям набраться мужества и сказать правду: Советы избраны стравленным, обманутым народом и являются не созидательной, а разрушительной силой в обществе. Ведь кандидаты в депутаты даже не проходили гласной медицинской комиссии на психическую полноценность, о чем уже неоднократно писали газеты. Разве могут психически нормальные люди вымораживать и морить голодом тысячи детей, женщин и стариков, разве могут психически нормальные люди спокойно наблюдать это варварство и во имя демократии и суверенитета пресекать любые реальные попытки спасти несчастных? Разве могут психически нормальные люди создавать регулярные отряды для истребления людей других национальностей, благословлять их на центральных площадях столиц и слать на убийство, а другие психически нормальные люди обсуждать это на своих заседаниях и преследовать... убиваемых за попытки защищать своих детей и свой кров? С ужасом мы узнаем, что в одном из парламентов покровительствуют главе регионального общества «Мемориал», заурядному садисту, палачу, принимавшему участие в изуверских пытках партизан (не о политике речь идет, не об идеологии, а о наслаждении от пыток других людей, в том числе и женщин) и не повешенному «проклятым Сталиным» только по молодости лет! Да разве могут психически нормальные люди запрещать армии защищать детей и стариков от безумствующей толпы, а затем на многомиллионных сборищах травить военных, если те не выдержали и все-таки вступились за невинных?

С тяжким чувством стыда и обиды за Родину следует признать, что грядет то время, когда публика будет ухохатываться до колик над решениями нынешнего высшего (!) органа власти страны, как ухохатывались специалисты-обществоведы у экранов своих телевизоров, когда «уважаемый» Съезд Советов на полном серьезе обсуждал филькину грамоту (точнее названия и не подберешь), подсунутую ему яковлевской компанией в связи с лжедоговором 1939 года. Расчет Яковлева был понятен, одним залпом он убивал сразу нескольких зайцев: во-первых, устраивался бесплатный цирк для заокеанских хозяев и внаглую позорился на весь свет наш народ, умудрившийся избрать себе такую власть; во-вторых, закладывались юридические, политические и идеологические основы расчленения России; в-третьих,

создавалось так называемое общественное мнение, подготавливавшее население к мысли о неизбежности и правильности развала страны; в-четвертых, узаконивалась деятельность «демократов» по развалу Отечества.

А вот о чем думали наши бесценные депутаты-неяковлевцы? О чем угодно — о проклятом Сталине, о чертовых русских, о бандитах коммунистах, об артистично разыгравшем на трибуне сцену истерики старичке, — но только не об истине, не о Родине и не о своем народе. Еще им очень хотелось за счет клеветы на свою страну, за счет ее развала показать свою «прогрессивность», демократичность, а поскольку прогрессивным тогда можно было прослыть, только подпевая разрушителям, то мы и получили соответствующие, вопиющие по своей безграмотности, решения. Чтобы понять, чего стоит принятый съездом документ для профессионалов, приведу более доступный пример. У вас заболел живот, но лечить вас почему-то берется Съезд Советов, который, в конце концов, решает провести вам трепанацию черепа, чтобы проверить, все ли у вас в порядке с головой. Провести трепанацию поручается дворнику дяде Пете, причем только кирпичом, поскольку ему этого очень хочется, а депутаты у нас — демократы: как хочется, так и делай. Потом, когда вам проламывают череп, оказывается, что живот уже прошел, но поскольку мозги случайно вытекли, то и бог с вами, главное, что все демократично. Остается только поражаться, с какой охотой расплачиваются «народные» депутаты чужими страданиями и кровью за свою неграмотность и нежелание в этом признаться.

Есть лишь один способ хоть частично искупить эту страшную вину: добровольно, в кратчайший срок передать все полномочия патриотическому Комитету Национального Спасения и самораспуститься, предварительно объявив вне закона все Советы, не подчинившиеся такому решению. Однако этого никогда не будет, слишком хорошо нам известна психология людей подобного типа: случайно дорвавшись до власти и ее привилегий, добровольно они ее из рук не выпустят, даже если для этого надо будет выморить все население страны. К тому же у некоторых из них, у тех, кто преднамеренно стравливает народ, кто разваливает страну, есть один путь: из депутатского кресла — на скамью подсудимых, ибо то, что сегодня нам подсовывают под маркой плюрализма мнений, в любой другой стране юридически именуется государственной изменой и преступлением против человечности. Им нечего терять, но, осуществив геноцид России, они получат все!

Понимал ли Горбачев, что ориентирующие общество на передачу власти Советам резолюции партконференции могли означать начало гражданской войны в стране? Не мог не понимать, иначе ему нечего было бы делать в кресле главы государства. Не мог он не знать и законов гражданской войны. Их не преподают в вузах, но их назубок знает каждый серьезный политик. И первый из этих законов: нельзя начинать гражданскую войну, но если она все-таки развязана, ее следует пресечь на самом раннем этапе, каждый лишний день гражданской войны сегодня грозит сотнями и тысячами смертей завтра. Гражданскую войну развязывают политики, народ втягивается в нее постепенно, пока война не достигает стадии всеобщей резни. Ее еще можно было остановить с минимальными жертвами и победой над «демократами». Три года бескровной борьбы не пробудили основные пласты населения, вернее, дали только отрицательный результат: вместо народа миру явилась обманутая, разъяренная демократами толпа, готовая громить и рушить все на своем пути. Совершилось то, чего больше всего боялись теоретики-эмигранты: на растерзание толпе вместо идеологии коммунизма подставили Россию.

А что же армия? История выявила главную слабость русской армии — ее идеалистическую моральность. Мужественно она может сражаться с внешним врагом, внутри страны, — при столкновении же с «пятой колонной» она оказалась бессильной. Поэтому-то с Россией и не стоило воевать в открытую, ее следовало подорвать через внутренних агентов, через захват средств массовой агитации и пропаганды. Один раз, в 1917 году, сделать это удалось успешно. Жизнь подтверждает стопроцентную верность этой блестящей концепции и сегодня.

Армия оказалась одной из первых и наиболее деморализованных государственных структур эпохи перестройки. Она заколебалась, хотя и незаметно для непосвященного глаза, от первого же толчка — непредсказуемых шараханий дипломатии Яковлева — Шеварднадзе. Посадка Руста у собора Василия Блаженного свидетельствовала о глубинной моральной катастрофе армии, а не о ее устаревших структурах, как нам пытались доказать. Это была постыдная капитуляция перед внутренними неурядицами. То безнравственное глумление над разваливающимся воинством, которое устроила на съезде предводительствуемая Сахаровым группа «демократических» депутатов, напоминала отвратительное измывательство уверенных в своей безнаказанности «смельчаков» над тяжелораненым, не способным к самообороне человеком.

Проблему армии и ее роли в государстве «демократическая» пропаганда вкупе с коммунистами окончательно запутали в течение кратчайшего срока — нескольких дней тбилисских событий, когда военные попытались защитить мирное население от искусственно возбужденной толпы грузинских националистов, тех самых, которые сегодня со спокойной душой, методически, при негласной поддержке Советов, осуществляют геноцид осетинского народа. Населению и самим военным вдолбили в голову провокационную идею о невмешательстве армии во внутренние дела страны. На эту удочку попались миллионы, в силу своей некомпетентности и не подозревающие, что принадлежность армии к государственной структуре не означает абсолютное и беспрекословное подчинение ее высшим органам государственной власти, а ее функция защиты страны от внешнего врага не является единственной и, как это ни покажется странным, главной. Главной и единственной функцией народной армии является сохранение государственности народа и территориальной целостности этой государственности. Все прочие задачи — производные от главной и попеременно преобладают в зависимости от ситуации. Армия — последняя и высшая гарантия самосохранения народа, после падения которой наступает национальная катастрофа. Потому-то в условиях, когда гражданская государственная власть деградирует, не в состоянии или не желает защищать народную государственность (но не государственный строй) и территорию народа, а паче того предает народ и начинает действовать в интересах иностранных враждебных народу группировок, армия не только имеет право, но и обязана экстренно вмешаться во внутренние дела. Право на это ей дает уже то, что обанкротившиеся политиканы в конце концов разбегаются писать мемуары по Парижам и Женевам, а народу бежать некуда, он остается страдать, убивать друг друга, уничтожать молодежь и национальный интеллект. Народная сущность и высшая обязанность защищать народ, в том числе и от своих политиканов, — вот право армии на вмешательство во внутренние дела общества.

23 февраля 1991 года. Митинг на Манежной площади в поддержку армии. Пламенные речи сотрясают воздух. Всеобщий энтузиазм. Патриотические песни. Истерика «демократических» средств массовой информации... Но каков лейтмотив митинга? Жалоба! Мольба о защите!! Демократическое словоблудие!!! Более того, призывы к саморазвалу, только замедленному, менее болезненному. Армия прячется за спину бессильного президента. Разве так должны поступать защитники Отечества?

А на следующий день, 24 февраля, многотысячная толпа «демократов» ревела: «Долой!», «Горбатый Союз могила исправит!», «Развалить!», «Уничтожить!», «Уже выросли те деревья, на которых мы будем вас вешать!», «Ельцина! Ельцина! Ельцина!!».

Вот мы и подошли к товарищу Ельцину. Его можно было бы назвать феноменом на нашей политической арене, если бы человечество уже десятки раз не обжигалось на подобных штучках.

Так называемые «демократы» с самого начала рассматривали Ельцина как недалекого, безответственного, а потому и неопасного политика, весьма удобного для мелкого шантажа Горбачева. Так его и использовали, совершенно позабыв, что названные качества, помноженные на самовлюбленность и честолюбие, порождают политиков с непредсказуемым поведением. Когда «демократы» спохватились, было поздно — над головой Бориса Николаевича уже сиял нимб борца-великомученика. Ему было все равно, что правые, что левые, главное — кто будет ему поклоняться и кто подставит кресло. А поскольку никто этого делать не собирался, Ельцин сам активно заработал локтями, наживая политический капитал критикой Горбачева, здесь он вовремя почувствовал конъюнктуру. Это уже потом, гораздо позже вдруг появилось на его устах имя России, вначале как вселенской преступницы, а уже затем как жертвы, нуждающейся в его жертвенной защите. Имя и карьеру наш славный вождь делал на кремлевской кухне.

Демократы засуетились. Переборщив с популяризацией не того человека, они оказались в ситуации, когда могли быть оттеснены от ими же замешенного пирога. И тогда яковлевцами был предложен компромисс: Борис Николаевич получал в правление РСФСР, почему-то объявлявшуюся Россией, но обязывался расчленить оставшуюся часть своей Родины, а «демократы» перебегали в его лагерь, подставляя Горбачева в качестве козла отпущения за содеянные ими преступления. Таким образом они в который раз выходили сухими из воды, и уже Ельцин становился очередной кандидатурой на роль мальчика для битья.

Ельцин, в свою очередь, как натура широкая, был не против расчленения страны, но только при условии установления его личной диктатуры на облюбованных им территориях, на слишком многое он не зарился и был не прочь отрезать сочные кусочки от жирного пирога России и другим любителям острых ощущений. О планах «демократов» Ельцин знал, благо действовали они по одному шаблону, но был уверен, что с этой «мелюзгой» справится, тем паче, что в ходе своей скандальной поездки по Соединенным Штатам он тоже заручился соответствующими гарантиями. Наши заморские друзья, как всегда, остались верны принципу «разделяй и властвуй».

Как бы то ни было, Ельцин и «демократы» сошлись на середине дорожки и единым фронтом двинули на раскисшую в сентиментальной жалости к забиженному борцу Россию. При этом «демократы» шли на значительный риск. Не секрет, что политик Ельцин в азарте выступления совершенно не учитывает, какие секреты выбалтывает и какие «откровения» несет с высоты самых ответственных трибун. Надолго ли хватит благожелательных комментаторов, чтобы вытаскивать его из очередной лужи. Но эта-то слабость, по расчету яковлевской компании, и является главной гарантией их будущего успеха. Правда, история уже неоднократно наказывала таких самонадеянных прожектеров. Отставка Горбачева может оказать катастрофическое воздействие на политическую карьеру Ельцина: он лишится камуфляжа оппозиционера и жертвы, а на передний план выйдет его равнодушие к судьбе русских людей и его политический уровень. И тогда, чтобы удержать власть,

он наверняка обратится к массовому террору. И в первых рядах жертв, как это обычно водится, будут друзья-«демократы».

Ни для кого не секрет, что во главе РСФСР Ельцин оказался только назло Горбачеву. Вновь думали о чем угодно, но только не о Родине и потомках. Да и откуда было знать нашим доморощенным борцам за демократию, как на очередном лужниковском митинге Ельцин и Гдлян восторженно аплодировали посланию академика Сахарова: в округлых выражениях «ум, честь и совесть нашей эпохи» разъяснял, что русский народ — величайший преступник перед человечеством, что на коленях, рабским трудом и всемерным послушанием должен он искупать свою вину, верно прислуживая «забиженным» им малым народам. А вина его, русского народа, в том, что больно он велик, понарожал рвань, а теперь, чтобы прокормиться, грабит и мучает другие нации. Вот вам и борцы за суверенитет русского народа! Молитесь на них, доверчивые!

Когда Борис Николаевич получил-таки власть в РСФСР, пусть ограниченную, но все же власть, он тут же кинулся исполнять намеченное, обещая направо и налево куски Отечества молодчикам из народных фронтов. Не забыл он и о себе. Вскоре на прилавках киосков и магазинов появились миллионные тиражи доморощенной «Малой земли» в кооперативном варианте. Правда, в отличие от именитого предшественника, Ельцин просто полоскал нижнее белье своих политических противников. Покатили экскурсионные автобусы по местам детства и юности любимого вождя товарища Ельцина. Ну а дальше произошло кощунство: разоритель ипатьевского дома содрал великомученический нимб с головы зверски убитого невинного подростка и напялил на свою голову. Икона «Великомученик Борис» пошла гулять по Москве. Все это не маразматическая вакханалия, а всего лишь логическое развитие событий. Разве может поступить иначе человек, со спокойной душой обнимающий покровителей румынских боевиков Снегура и Друка, с ног до головы залитых кровью его соотечественников? Человек, поддерживающий прибалтийские парламенты, осуществляющие открытый геноцид других наций и поднявшие на щит палачей, живьем, целыми селами сжигавших в свое время детей и женщин? Человек, окруживший себя организаторами уничтожения России — Аганбегяном, Заславской, Абалкиным, Арбатовым и прочая, прочая, прочая? Ельцин объективно трудится над разжиганием гражданской войны, это заметили многие. Но не правы те, кто именно его винит в ее развязывании. Война началась задолго до Ельцина.

Спрашивается: почему же гражданская война оказалась выгодна подавляющему большинству наших политиков? И вновь это вытекает из ее законов: гражданская война не может закончиться чем-либо иным, кроме как диктатурой. Причем может быть установлена диктатура только двух типов: патриотическая или антинародная. Первая есть диктатура созидательная, вторая — разрушительная. Главный принцип первой — ничего нельзя разрушать, необходимо преобразовывать, совершенствовать, ненужное или вредное в таких случаях отмирает само собой либо получает свою внешнюю регуляцию и уже не в состоянии оказывать решающее воздействие на общество. Антинародная или разрушительная диктатура, отрицающая этот принцип, не может прекратить гражданскую войну, не уничтожив народ полностью. Она может только заморозить ее на относительно продолжительный срок, но при малейшем ослаблении диктатуры война вспыхивает вновь. Именно это и произошло с антинародной разрушительной диктатурой пролетариата. Фактически мы более семидесяти лет живем в условиях гражданской войны и выйти из нее можем только через один из типов диктатуры, причем разрушительная диктатура на этот раз должна непременно покончить с народом. Так что с первых дней перестройки стоял вопрос не о демократии, а о том, кто в ходе гражданской войны скорее и прочнее подготовит базу для установления своей диктатуры. Прочее было демагогией для простаков.

Иван Ильин, величайший русский мыслитель двадцатого столетия, прекрасно сознавая такую перспективу, уже в 1948 году заявил, что постсоветское общество в России должно представлять собой патриотическую диктатуру, установленную сроком на десять — двадцать пять лет и имеющую задачей материальную, социальную и нравственную подготовку общества к демократическим преобразованиям. При этом под демократией понимается не демагогически извращенные представления о всеобщей выборности, а постепенно расширяющиеся личные свободы граждан, подкрепленные материальной базой и нравственной воспитанностью общества. На этой основе появляется возможность для наиболее полной самореализации личности — главного положительного зерна демократического пути развития. Другой демократии просто не бывает, выборность же органов власти не является даже ее обязательным атрибутом. Не показные мученики типа Сахарова, а подлинные национальные мыслители, борцы против коммунистического засилья, повсеместно, в том числе и на Западе, гонимые и преследуемые, неоднократно предупреждали нас: выборная демократия в постсоветской России преступна, она выгодна только политическим авантюристам, имеющим целью окончательное уничтожение Отечества. Здесь и кроется главная причина, почему так называемые «демократические» диктатуры, будучи антинародными и стремящимися к увековечению своего господства, делают все возможное для разрушения страны и уничтожения единого народа. Убив народ, прежде всего изведя под корень русскую нацию, они наконец-то завершат развязанную их дедами и прадедами гражданскую войну в свою пользу. Опыт семнадцатого года учтен ими в совершенстве. Для дурачков они выставили пугало диктатуры, старательно скрывая от народа ее неизбежность, травя таким образом патриотическое движение, вышибая у него из-под ног почву. Ибо обречен тот народ, и постыдно преступно то движение, которые в разгар резни призывают к непротивлению злу насилием, выставляют лозунг: «Лучше смерть, чем гражданская война!» Переживем мы эту войну или нет, уже не суть проблемы, ее давно развязали, не спросясь у нас. Сегодня вопрос стоит по-иному: выжить, победить и выйти из кровопролития с наименьшими потерями для Отечества. Если же страна развалится и восторжествуют «демократические» диктатуры, мы на деле узнаем, что такое висельники на фонарях и как расстреливают подлинно народные митинги и демонстрации. Первый опыт в Молдавии проведен с успехом.

Но что же президент? Открытая связь с демократами, последовательное проведение в жизнь их программы «перестройки», как и предполагалось, не прошли ему даром. Нет сегодня в стране более непопулярной личности, чем Горбачев. Имя его клянут всюду — от фешенебельных квартир на Большой Бронной до залитых кровью горских сакль, от чукотских юрт до многострадальных молдавских кас, от сибирских изб до прибалтийских особняков. Клянут его все: и «демократы», и коммунисты, и патриоты, и нейтралы. И это не удивительно. Полноценная, жизнеспособная страна загажена, оболгана, разрушена почти до основания; погром не только не прекращен, но набирает темпы. Во внутренние дела России отныне вмешиваются все, кому не лень, вплоть до Исландии, просто сисястых секс-бомб и рок-педерастов. Вновь после 1944 года началась «тихая» внутренняя оккупация Молдавии румынами. Развал соцсистемы и особенно иракская авантюра, неотмываемым кровавым пятном легшая прежде всего на предательскую дипломатию Яковлева — Шеварднадзе, поставили наше Отечество в положение международной половой тряпки. Чтобы хоть как-то держать пристойную мину, мы, подобно побитой шавке, судорожно елозим брюхом по грязи и преданно заглядываем в очи грозного хозяина — США. Не думаю, что открываю большой секрет, утверждая, что на сегодня хозяином нашей страны являются Соединенные Штаты Америки, в любую минуту могущие продиктовать всему нашему населению свою волю, достаточно им подбросить несколько сахарных костей (дотаций) отдельным кускам разодранной России. Слабая попытка Горбачева выступить в роли миротворца на Ближнем Востоке с треском провалилась как за рубежом, так особенно внутри страны, где она вызвала только презрительные насмешки и очередной взрыв ненависти.

Внутри страны положение еще хуже. Над запоздалыми, некомпетентными или вообще бессмысленными решениями высшей власти потешаются все, кому не лень. Их никто не выполняет, да и не могут выполнять при всем желании. По стране шествует анекдотичный парад суверенитетов, отменяющих и стравливающих всех и вся. Указы президента и законы Верховного Совета СССР не отменяют разве что дети доясельного возраста — в суверенных яслях недемократический диктат уже не пройдет. Межнациональная драчка перехлестнула все пределы разумного: кровь течет уже не каплями, а ручьями, и грозит перерасти в полнокровные реки и океаны. Людей безнаказанно сжигают живьем, выбрасывают с верхних этажей небоскребов, забивают ногами на площадях, расстреливают, морят голодом. Организованные фашистские банды под прикрытием «суверенных» Верховных Советов спешно формируют регулярные воинские части. Ненависть, предательство и склока с лихвой вколочены в неразвитые детские души и обрекли грядущие поколения на еще более страшные потрясения.

Развал экономики достиг предела. А президент собирает бессмысленные совещания и заседания, пытаясь пропагандистской шумихой вокруг них создать впечатление, что что-то делается. Наконец организуется ничего не решающий, но всех озлобляющий референдум, будто насильно можно унять клочком бумаги. В результате президент оплеван с ног до головы суверенными «демократическими» режимами, первоначально старательно разыгрывавшими роль борцов за человеческое достоинство, а потом разом повернувшимися к народу спиной.

Да, у Горбачева сдали нервы. Ничем иным, кроме как паникой, референдум назвать нельзя. Когда представители Общероссийского национального комитета в день референдума обратились к Лукьянову в связи с идущими в Молдавии погромами избирательных участков, они услышали от «правой» руки президента слезливые жалобы на свое полное бессилие и беспомощность. Какой уж здесь референдум? Какая уж здесь власть?

Эпоха Горбачева неумолимо скользит к своему трагическому финалу. Количественные накопления переросли в качественные изменения, когда неприязнь народа к своему главе уже не дает замечать хоть гран положительных намерений в его действиях. Создалась ситуация, когда Горбачеву нельзя браться ни за одно положительное преобразование, чтобы не скомпрометировать его своим участием.

Стоя на краю пропасти, неужели мы снова сделаем губительный шаг «вперед»? Неужели мы отдадим на заклание себя, детей наших, Родину?!

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

ТОМАС Б. УАЙТ

НЕ СПЕШИТЕ В КАПИТАЛИЗМ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ЛЮДЯМ

Будучи гражданином Америки, я с большим интересом слежу за переменами в вашей стране, расширением интеллектуальной, политической и экономической свободы. Однако хотелось бы, чтобы люди, равно как и Правительство СССР, постарались извлечь урок из серьезных проблем, реально существующих в Соединенных Штатах, а отнюдь не выдуманных. Как образцу для подражания США, бесспорно, многого недостает. Как мудро заметил профессор Колумбийского университета Фриц Стерн, если «большевизм» проиграл, то это еще не значит, что американская система автоматически преуспела. Ясно, что Штаты не стали более здоровыми только потому, что СССР «болен».

1

В своем вполне понятном стремлении вдохнуть полной грудью воздух свободы советские люди не должны принимать за чистую монету банальные мифы о Соединенных Штатах. Сбросив с себя один груз лжи, вовсе не обязательно принимать на себя другой.

Что же это за мифы? Первый заключается в том, что любой человек с достаточной хваткой, рвением и решимостью может легко достичь богатства и благосостояния, особенно в деловом мире. Американская система, мол, отличается тем, что поощряет личную инициативу или, по крайней мере, щедро вознаграждает ее. Глава одной аргентинской семьи («Нью-Йорк Таймс», 8.12.90), имея в виду эмигрантов, высказал уверенность в том, что в Америке каждый, начав с низов, может завершить свою карьеру владельцем компании.

Солидный «Уолл-Стрит Джорнэл» рисует несколько иную картину (15.02.1990). Глава одного из акционерных обществ «Эпл Компьютер» Джон Скали, заработав в 1986 г. 1,3 миллиона долларов, вел роскошную жизнь, которой мог бы позавидовать любой старорежимный шеф коррумпированной восточногерманской компартии: три дома в Калифорнии, два—для отдыха— в Массачусетсе и три настолько роскошных конюшни, что один из работников компании мистера Скали весьма сожалел о том, что не может стать одной из этих лошадей. Когда компания была вынуждена уволить несколько своих руководителей, они получили огромную многомиллионную долю: один только вице-президент получил 2,1 миллиона долларов. Что касается нижестоящих работников, то они не получили даже пенсионного обеспечения. Все справедливые требования подобного рода администрация решительно отклонила.

Консультанты и аналитики в области бизнеса Кантер и Мирвис в своей книге «Циничные американцы» всесторонне проанализировали жизнь обычного американского акционерного общества. Документы, использованные ими, свидетельствуют о несправедливости и цинизме. Между тем чиновники на привилегированном положении. Кевин Филипс, исследуя деятельность акционерного общества СЕО в 1989 году, пришел к заключению, что оно получило прибыль, в 93 раза превышающую доходы средних американских рабочих (для сравнения: еще в 1980 г. эта прибыль превышала доходы рабочих в 40 раз).

Неудивительно поэтому, что американские рабочие часто чувствуют себя «неимущими», эксплуатируемыми в условиях жестокого рынка «имущими». Сотни разгневанных рабочих фирмы «Эпл», говорится в поместившем их письмо «Уолл-стрит Джорнэл», обвиняют компанию в несправедливости. Так обстоят дела с обществом равных и неограниченных возможностей.

Другой миф состоит в том, что американская система гарантирует «всеобщее равенство» и, следовательно, равные политические и юридические права.

Но реальное положение и тут несколько иное. В то время как в США действительно много сделано для конституционных гарантий («Билль о правах» и т. д.), именно другие страны на деле воплощают в жизнь действенные меры по защите личных прав. В отличие от этих стран, США, например, не имеют независимых поддерживаемых правительством полномочных комиссий по защите личных прав работающих гражданских лиц от каких-либо правительственных мер. В 1974 году президент Форд даже запретил организацию подобной комиссии.

В США защита личных прав весьма обременительна. За восстановление нарушенных прав вы должны платить; если же у вас нет денег, тогда вся Конституция не более чем пустое обещание.

С финансовой точки зрения для среднего американца нереально также выдвинуть свою кандидатуру на политический пост. Миллионы и миллионы долларов необходимы на поддержку абсурдных дорогостоящих кампаний посредниками, которым щедро платят. Рональд Рейган не мог позволить себе баллотироваться на пост президента, пока не накопил огромное состояние.

Старый миф о том, что в Соединенных Штатах каждый может вырасти до президента, — чистый вздор. В политике, так же как и в бизнесе, существует завуалированная классовая структура. Подобно тому как в СССР процедура голосования обычно контролировалась компартией, демократия в США находится под колпаком у другой элиты — нового высокооплачиваемого класса профессиональных посредников.

Само право голосовать становится бессмысленным, поскольку оно лишь тогда имеет значение, когда существует широкий выбор. К политическим выборам 1988 года в США повсеместно относились без должной серьезности. Подоплеку этих настроений, как ни странно, уловил небезызвестный М. Каддафи, заметивший, что выборы в нашей стране напоминают очередь к мусорному контейнеру. Показательно, что Лига голосующих женщин США, частная организация, которая ранее была спонсором телевизионных президентских дебатов, отменила в 1988 году свое спонсорство, обвинив Буша и Дукакиса в отказе от сколько-нибудь серьезных злободневных дискуссий.

Является ли все это тем, что советские люди подразумевают под гласностью? Вряд ли. Скорее всего это деградация демократии и американского политического наследия, борьба людей с высокими доходами, за которой пассивно наблюдают избиратели, вынужденные сделать выбор между двумя практически одинаковыми кандидатами, так как если бы они выбирали один из двух кусков мыла. В этом смысле весьма характерно название книги двух американских журналистов — «Тривиальность президентства».

Рыночные и подлинно демократические ценности несравнимы. Первые основаны на манипуляции людьми с помощью специалистов по общественным отношениям, в то время как вторые, в противоположность реально проходящим выборам, руководствуются правдой и справедливостью.

Подступы к юридической системе в США также контролируются, но уже другим высокооплачиваемым классом — юристами. Справедливость приходит лишь к тем, кто сможет заплатить за услуги адвоката 75 000—250 000 долларов в час. Мать и сын, привлеченные к суду штатом Калифорния за оскорбление ребенка, вынуждены были продать свое дело, чтобы расплатиться с адвокатом. Оливер Норт, привлеченный к суду правительством США за нелегальную деятельность, связанную со скандалом «Иран—Контрас», платил 200 000 долларов в месяц по легальным расценкам. Адвокаты королей наркобизнеса открыто хвастаются, что они сорвали большой куш с торговли наркотиками. Голливудские адвокаты наживают целые состояния на тяжбе между богатыми кинозвездами и компаниями по выпуску фильмов. Юридические фирмы с Уолл-Стрита накопили огромные барыши за счет акционерных предпринимателей; только очень богатые люди или акционерные общества могут позволить себе защитить свои права в соответствии с американской конституцией.

Наиболее высокооплачиваемые юристы получили в 1988 году 860 млн. долларов. Общие доходы ста наиболее значительных юридических фирм выросли до 12,4 млрд. в 1989 г. по сравнению с 10,6 млрд. в 1969 году.

То обстоятельство, что судьи в США независимы от политического контроля, не делает их более справедливыми. Равная правовая защита — это еще одна большая ложь американского образа жизни.

В конце 40-х годов главной темой сталинской пропаганды стало различие между медицинским обслуживанием в Америке и в Советском Союзе, как гарантирующим бесплатную квалифицированную помощь. Сталинисты, хотя и прослыли тиранами, в этом были правы. Сегодня более 37 миллионов американских граждан не имеют возможности пользоваться услугами медицины. В ряде районов столицы США и Нью-Йорке уровень детской смертности выше, чем в некоторых так называемых странах «третьего мира». Дела приняли такой оборот, что в одном из штатов — Орегоне — предпринимаются попытки нормирования медицинского обслуживания.

Для Советского Союза было бы лучше перенять систему медицинского обеспечения, существующую в Австралии или Канаде, где частные медицинские учреждения сочетаются с национальными общественными программами медицинского страхования для всех. Против последних упорно выступают группы медиков-профессионалов в США, входящих в Американскую медицинскую ассоциацию: такие программы контролировали бы все их доходы.

2

Американская журналистка Джейн Крамер в обширной статье в «Нью-Йоркере» заметила: «Русские любят верить, на сей раз они решили поверить в чудом работающий рынок... Они твердят о нем весьма благоговейно». Парадокс состоит в том, что популярность приватизации и капитализма у вас в Союзе возрастает, в то время как их недостатки у нас, в Соединенных Штатах, становятся все более очевидными.

Возьмите, к примеру, разбалансировку рынка, его сберегательно-кредитных ассо-

циаций предоставляющих частным банкам возможность утаивать деньги вкладчиков, проделывая возмутительные спекулятивные манипуляции со вкладами. В итоге часть предпринимателей с Уолл-стрита, не обласканных правительством, оказались под угрозой банкротства. А между тем на улицах все больше бездомных... Ведь цены из-за спекуляций недвижимостью резко подскочили.

По свидетельству уже упоминавшегося нами Кевина Филипса, перераспределение доходов в настоящее время — наихудшее с XIX века. В США самое высокое для промышленной нации число людей, живущих за чертой бедности, — 32 млн. человек. В то время как критическая концентрация капитала в Штатах в 1980-х годах резко увеличилась. Достаточно сказать, что в промежуток между 1981 и 1989 гг. состояния четырехсот самых богатых американцев утроились.

Еще одна большая ложь, будто бы американский образ жизни — это образ жизни, ориентированный на семью. В этом смысле социальная политика США возмутительно лицемерна: с одной стороны, многое делается для того, чтобы защитить детей, с другой — женщинам, ожидающим ребенка, равно как и родившим, не выплачивается федеральное пособие; за ними не сохраняется прежнее их место работы.

А жестокая природа неуправляемой прессы и телевидения, делающая маленьких детей свидетелями всех подробностей жестоких преступлений, в то время как их матери вынуждены работать допоздна, а нередко и в выходные дни?

Поток американского теленасилия, по словам президента Бостонского университета Джона Сильбера, вызывает «ненависть и отвращение, как естественную реакцию на насилие. Мы примирились с насилием, как будто оно является обыденностью».

Такие программы так называемого «бульварного» телевидения, как «Текущие события», «Репортеры», «Внутренний выпуск», как о привычном, сообщают об убийствах, всех видах самого жестокого насилия (скажем, муж перемалывает свою жену в деревообрабатывающей машине). Убийцы-маньяки, на чьем счету не один десяток невинных жертв, стали объектом популярных программ телевидения (некоторые из них — такие, как «Ночной сталкер», — основаны на реальных жизненных ситуациях). И вся эта грязь во всех отвратительных подробностях через ТВ приходит в каждую американскую семью, решительно подтачивая ее, впрочем, как и другие ценности цивилизации.

Советский Союз, в последнее время настойчиво пытающийся сделать свое общество все более и более открытым, должен бы поразмышлять над парадоксом, с которым мы столкнулись много раньше: неограниченная свобода и безграничная открытость вполне могут разрушить саму цивилизацию, необходимую для защиты свободы.

Американский общественный деятель Алан Блум, критикуя американскую молодежь, считающую «все ценности относительными», отмечал, что, погрязая в безграмотности, рок-н-ролле, наркотиках, порнографии и телевидео, она по сути своей становится враждебной интеллекту. Безграничная свобода обернулась вседозволенностью. Может ли такое общество, задавался вопросом Блюм, быть до такой степени открытым, чтобы в конце концов превратиться в общество, свободное от лучших проявлений чувств, общепринятых интеллектуальных стандартов, основных моральных норм? А рок-музыка, по словам того же Блюма (к сожалению, во многом успевшим устареть), подавляемая в странах восточного блока из-за ее разрушительной силы, создавшая массовую профашистскую психологию, подавив разумную человеческую мысль! Популярные «рэпв и «хэви метал» прорастают в сексуальном насилии.

Благодаря всему этому эпидемия преступности в Штатах день ото дня достигает все новых и новых рубежей жестокости, порой просто потрясающей...

В 1988 году девятнадцатилетней массачусетской девушке было нанесено 50 ножевых ранений. Преступник — молодой человек, насмотревшийся фильмов-ужасов, главный герой которых убийца-психопат по имени Джесон убивал свои жертвы, надев хоккейную маску. Полицейское расследование установило, что юноша так же собирал хоккейные маски и комиксы, главной темой которых были убийства. Беседы с его сверстниками помогли узнать, что парень был просто в восторге от фильмов о Джесоне, ему очень хотелось понять, что чувствовал убийца, в руки к которому попала жертва. В октябре 1989 года несколько молодых людей в масках Джесона совершили налет на магазин одежды в Бронксе (Нью-Йорк). Годом раньше подростки в масках подвергли жестоким пыткам женщину в Нью-Йорке.

Между прочим попытка Джона Хинкли убить президента Рейгана тоже была «игрой» в стиле фильма «Водитель такси». Как выяснилось на суде, Хинкли имитировал действия убийцы-психопата (Роберта де Ниро), убившего в кинофильме политика в доказательство своей любви к девушке, роль которой играла актриса Джуди Фостер. (Интересно, что Хинкли преследовал реальную Дж. Фостер; получив отказ, он выстрелил в Рональда Рейгана.)

Опросивший большое число молодых американцев, психиатр доктор Томас Радеки свидетельствует, что многие из них буквально помешаны на киноубийцах — уже упоминавшемся Джесоне и Фрэдди из видеофильма «Ночной кошмар на Элмстрит».

В июле 1990 года полиция Нью-Йорка арестовала десятилетнего мальчика, изнасиловавшего двух маленьких девочек. Он признался, что имитировал только что просмотренный порнофильм. В январе того же года другой десятилетний мальчик, сыграв в видеоигру, выстрелил в своего сверстника. Очевидно, малолетний преступник изображал насильника, воплощенного в видеофильме.

О стремлении своих детей подражать убийцам после просмотра известного сорта фильмов или участия в коммерческих сатанинских видеоиграх говорят многие родители. Двое детей были убиты шестнадцатилетним подростком, вовлеченным в странную оккультную игру «Темница и драконы». «Ночной сталкер», известный калифорнийский преступник, врывавшийся в 1985-м в дома, где совершал жестокие обрядовые убийства, как оказалось, просто пытался воспроизвести лирику музыки «хэви метал», глубоко связанную в его понимании с культом поклонения сатане. На месте преступления, как правило, он оставлял причудливые надписи (эти действия напоминали многие убийства, совершенные пятнадцатью годами раньше семьей Мэнсонов).

Как отмечал Джон Сильбер, общая реакция населения на подобные сообщения — оцепенение, способствующее в конце концов потере людьми восприимчивости ко все возрастающей волне ужасов. Примечательно, скажем, что сообщение о потрясающем убийстве (девятнадцатилетний отец скормил убитого им сына собаке) было опубликовано в «Нью-Йорк таймс» (8.12.1990) лишь на второй полосе. В прошлом такое преступление вызвало бы национальный шок. Сегодня демонические силы настолько слились с основами американской «культуры», что стали ее полнокровной составляющей.

Примечательно, что даже среди американских кинопродюсеров и телевизионщиков растет осознание того, что волна свободы в описании и образной подаче насилия докатилась до крайней точки. К примеру, в фильме «Дистанционное управление» (1987) служащие видеомагазина начинают осознавать, что видео превращает зрителей в самых настоящих психопатов.

Газета «Джорджия Конститьюшн» (17.09.1989) подтверждает воздействие и роль средств массовой информации на рост преступности, используя документы. Автор статьи «Телевидение нажимает на курок», написанной сразу же после массового убийства в штате Кентукки, совершенного бандитом, в распоряжении которого был весьма внушительный арсенал, ссылается на многочисленные интервью с торговцами оружием, полицией, криминальными экспертами и дельцами бизнеса развлечений, подтверждающие тесную взаимосвязь между насилием, отображенным в средствах массовой информации, и широкой продажей огнестрельного оружия.

Вот всего лишь несколько примеров. Показ в популярном американском криминальном шоу «Нравы Майами» полицейских детективов, вооруженных новейшей моделью «Смита и Вессона» 645-го калибра, вызвало мгновенный огромный рост продажи оружия, в том числе и по самым высоким ценам. Реклама оружия в таких фильмах, как «Рэмбо», «Кобра», позволила увеличить его продажу в США с 8 тысяч единиц в 1981 году до 176 тысяч в 1988 году.

Что же предпринимают американские «консерваторы», клянущиеся в своей любви Америке, для того, чтобы остановить самоубийственную приватизацию оружия? В 1984 г. Рейган увеличил вложения в импорт излишков китайского, а также европейского оружия. Буш, сам будучи заядлым охотником, пока что успешно сопротивляется принятию национального закона по контролю над оружием. Традиционно мощное лобби владельцев оружия, действуя в своих личных интересах, постоянно препятствовало принятию конгрессом и президентом законов, обеспечивающих всеобъемлющий контроль над распространением и использованием оружия.

«Рэмбо» уже демонстрируется у вас, и Советскому Союзу не мешало бы обратить внимание на опыт Австралии и Великобритании, в которых показ насилия в средствах массовой информации, так же как и доступ к оружию, является более урегулированным в правовом отношении, чем в США.

3

Мои советские читатели вправе мне возразить, что США можно считать свободными уже хотя бы потому, что все эти проблемы беспрепятственно обнаруживаются в прессе, по телевидению, в общедоступных книгах и журналах. Действительно, взять хотя бы это письмо, основанное на материалах из легко доступных источников. Но, согласившись с этим, мы тут же сталкиваемся с еще одним парадоксом: открытое общество может, тем не менее, оставаться закрытым. Угнетенный, подобно «К» в «Процессе» Кафки, может «идти», даже будучи закованным в цепи. Что хорошего в возможности критиковать американское общество, если средства массовой информации, образование, политика и массовая культура подмяли под себя культуру истинную? Классическое тоталитарное общество, как описанное в художественной литературе (Оруэлл, «1984»), так и реализованное в действительности, считает, что оно должно поставить надежный барьер на пути еретических мыслей и книг, которые могут соблазнить порабощенные массы. Ну а что, если самим массам наплевать на все эти книги и идеи? Что, если они просто хотят убедить самих себя в своих (пусть и ложных) вымыслах. Профессор Нейл Постман блестяще анализирует эту проблему в своей книге «Забавы со смертельным исходом».

«Большой брат» в США (у вас — «голубой экран») забавляет и отвлекает внимание публики при помощи телеобразов. Рональд Рейган с помощью изощренных специалистов ТВ по связям с общественностью выливали буквально целые потоки бесстыдной лжи в годы его президентства, включая фальсификацию о том, что Рейган лично снимал нацистские концлагеря, что США не поставляли оружие другим странам, за исключением тех случаев, когда нужно было освободить заложников, удерживаемых ближневосточными террористами. Вся эта ложь сообщалась с личной доверительностью и очарованием, которые, конечно, не имели ничего общего с подлинной искренностью. Тот факт, что Р. Рейган не был изгнан из своего офиса, несмотря на потрясающую ложь, убедительно демонстрирует, как так называемая демократия может оказаться в плену у очаровательного «Большого брата» с неот-

разимой улыбкой. Если в Америку придет фашизм, то и он предстанет в привлекательной, зазывающей упаковке.

В действительности право обнародовать идеи, информацию, являющиеся одной из важнейших форм свободы слова, всячески сдерживается в США — и не правительством, а частными издательствами. Контроль над мыслями — это одна из функций приватизации (факт, который должен рассеять веру в то, что приватизация — синоним свободы). Свободный рынок еще не означает свободу мысли. Официальным цензором, вместо идеологии, здесь становятся собственнические шкурные интересы.

Большинство издательских монополий сегодня все явственней переносят акцент на издание книг, которые, потворствуя, по словам Горбачева, «дешевым чувствам» и «низким мыслям», гарантируют более быструю и прибыльную, по сравнению с требующими серьезного осмысления изданиями, распродажу.

Критик Рассел Бейкер считает, что американцы не способны мыслить, охотно попадаются на крючок бульварной прессы и равнодушны к изменениям, происходящим в мире. Подтекст рыночной цензуры, удушающей с помощью свободного рынка неугодные ей мысли, в последнее время становится очевидным и восточноевропейским писателям. Интервью с некоторыми из них во время Парижской книжной выставки, переданные по «Нэшнл Паблик Рэдио» (30.03.1990), показали их озабоченность тем, что экономическая необходимость писать литературные произведения для массового спроса, не хуже цензора, способна вмешиваться в процесс творчества. И если иметь в виду американский опыт, то будущее представляется довольно мрачным. Один из первых сценаристов Голливуда Бен Хехт писал об американской прессе, как о «халтуре, понизившей уровень интеллекта народа, которая стала тормозом на пути превращения американцев в культурную нацию». И впрямь, общество, где неграмотные молодые люди, занимаясь спортом, делают миллионы, где сексуальность дает возможность принадлежать к элите, а у студентов едва ли не худшие среди остальных западных стран знания по математике, — так вот такое общество выглядит подзадержавшимся в развитии, и весьма основательно.

Как собирается решать эти проблемы американское образование? Если 1917 год явился началом большой ошибки России, то в 1918-м была совершена не меньшая ошибка в Соединенных Штатах. В тот год Бюро по образованию США распространило документ, излагавший основы реформированной системы образования. Из семи «главных» принципов, по которым необходимо было оценивать уровень подготовки жертв среднего образования, только один — «овладение основными процессами» — способствовал интеллектуальному развитию. С тех пор американцы постоянно сетуют на быстрый рост числа слабообразованных студентов, которые не могут даже найти на карте СССР или США.

Положение в наиболее престижных университетах США — лучшее доказательство того, почему советские люди не должны питать особых надежд на то, что американские деньги, частные предприятия и рынок автоматически приведут к более высокому уровню жизни. С тех пор как у американских университетов возникла необходимость самостоятельно решать свои финансовые проблемы, они стали заманивать новых студентов, по словам изучавшего американскую систему образования Чарльза Сайкса, легкими, нетребовательными в интеллектуальном отношении курсами: «Рекреация и досуг» (университет Мэриленда), «Видеомузыка» (Лос-Анджелес), «С нами рок-н-ролл» (университет Бауна) и т. д.

Словом, подобно другим важнейшим общественным институтам — политическим, медицинским, юридическим, — система образования в США разрушается безудержным профессиональным эгоизмом и рыночными ценностями. Если в советском коллективе нарушаются права индивидуума, то в Америке, наоборот, извечная жадность индивидуума нарушает право общества на некоррумпированные общественные институты.

4

Советский Союз переживает сейчас неспокойное время, выпадающее на долю немногих стран. Подобно Соединенным Штатам конца XVIII века, СССР имеет возможность создать новые устои жизни. Я вовсе не преследую цель дать какие-либо организационные или программные рекомендации. Мне хотелось бы лишь обратить самое пристальное внимание на природу и уровень человеческого сознания, необходимого для формирования политической и социальной ответственности.

До того как вы окончательно выберете вашу социально-политическую и экономическую систему, вам необходимо определить ваши принципы, ценности и убеждения — одним словом, вашу философию. Славянская имитация американской культуры, особенно в ее столь очевидных сегодня заблуждениях, была бы настоящим бедствием. Поэтому очень важно, чтобы очереди страждущих советских граждан у дверей ресторанов «Макдональдс» не переросли в безоглядное признание бесчеловечного по своей сути свободного рынка в целом, с его превращением людей в объекты потребления, знаний — в пустые развлечения ради удовольствия, политики — в шоу-бизнес, образования — в присматривание за детьми, идей — в их подобие. Нужно четко осознавать, что США сегодня напоминают пещеру, где призраки перемешались с реальностью, темнота — со светом.

Было бы слишком жестоко, если бы нынешняя открытость советского общества и его реконструкция, основанная на западных образцах приватизации и капитализма, привели бы его не в современный мир, а к темным сторонам уже пережитого страной прошлого. Но ведь, согласитесь, прогресс не может означать возвращение к прежнему состоянию...

Летопись России: история в лицах

МИХАИЛ ТИХОМИРОВ

Ольга*

На первых же страницах русской истории появляется замечательная женщина древности — княгиня Ольга, «мудрейшая из людей». О происхождении и ранней юности Ольги известно очень мало. Летопись сообщает только, что в 903 г. к Игорю привели «жену от Пьскова, именем Олгу». Позднейшие легенды упорно указывали на Псков как на родину Ольги, а с течением времени образ мудрой княгини, матери великого воителя Святослава, сделался совсем легендарным. Псковские предания то говорили, что Ольга родилась в самом Пскове, то называли ее родиной город Изборск, то село Выбутское под Псковом. Даже о браке Игоря с Ольгой, о котором так мало говорилось в летописи, рассказывалось с необыкновенными и романтическими прикрасами. Игорь как-то охотился в псковских лесах, говорилось в легенде, и искал способ переправиться на другую сторону реки. По реке плыла лодка, а в ней сидела прекрасная и сильная девушка. Молодой князь «уязвися видением» и пытался завести с ней вольные разговоры, но мудрая дева прочитала юноше целое наставления о чистой любви, заставив Игоря оставить «юношеское мудрование свое» и решить, что лучшей невесты ему не найти. В этом рассказе ясно переплетаются две противоположные стихии: народные предания о встрече в глухих лесах над рекой Великой молодого Игоря с его суженой невестой и благочестивые рассуждения позднейшего книжника.

Уже авторы XVI в. считали, что Ольга происходила из варяжского рода, хотя и не имели для этого никаких оснований, кроме своих домыслов. Варяжское происхождение Ольги не вызывало сомнений и у большинства историков XVII—XIX веков. Впрочем, оснований для этого мнения было немного. Слово «Ольга» производили от норманнского «Ельга», имея в виду, что в русском языке начальное «е» заменяется «о». Действительно, греческий писатель X в. называет Ольгу Ельгой. Однако другие греческие рукописи знают русскую княгиню и под именем «Ульги», или «Ольги». Так она названа в одной греческой рукописи XIV в.

Однако сам летописец, склонный выводить русских князей из заморья, ничего не знает о норманнском происхождении Ольги, а о каких-либо варяжских князьях в Пскове неизвестно. Поэтому осторожнее и правильнее сказать просто, что Ольга родилась в Псковской земле и была первой русской женщиной, оставившей о себе неизгладимый след в истории.

Летопись, как мы видели, говорит о браке Ольги и Игоря под 903 г., но этот брак состоялся, конечно, значительно позднее. Единственным ребенком от этого брака был Святослав, который родился в 942 г., т. е. за 3 года до смерти отца. Трудно думать, что брак Игоря с Ольгой в течение примерно 40 лет оставался бесплодным. Тут летописец поставил произвольные даты, чтобы заполнить пустые годы, и отнес женитьбу Игоря к раннему времени, так как хотел доказать, что Игорь был сыном Рюрика, тогда как народные предания, занесенные в летопись, запомнили Ольгу как молодую красивую женщину, способную пленить даже византийского императора.

Впервые Ольга появляется на политической арене после смерти своего мужа. Воинственный и неразборчивый в средствах Игорь вел большие войны с древлянами, жившими в густых лесах и болотах по Припяти. Здесь он был убит при попытке получить с древлян новую дань. Сделавшись вдовой, Ольга стала править от имени своего малолетнего сына Святослава и беспощадно отомстила древлянам за смерть мужа.

В рассказах летописи о местях Ольги, несомненно, много легендарного, но хитрость и жестокость были явлением того времени. Кроваво отомстить за смерть близких людей было делом чести, и в этом отношении русская княгиня ничем не отличалась от варварских королев эпохи Меровингов во Франции, оставивших после себя впечатление безудержной жестокости и мстительности. Летописец уверяет, что Ольга трижды обманула древлян и страшным образом им отомстила. Особенно была страшна первая месть, когда она предложила древлянским послам, присланным к ней для сватовства от

* «Рукописное наследие акад. М. Н. Тихомирова в Архиве АН СССР. Научное описание». Сост. И. П. Староверова. М., 1974, с. 159—161.

князя Мала, требовать великой чести. Послы не захотели ни ехать на конях, ни идти пешком на княжеский двор, а потребовали, чтобы их несли в лодках. Киевляне покорно исполнили требование, а послы сидели в лодках «гордящеся», не подозревая близкой гибели. Их ожидала заранее вырытая яма, куда они были брошены вместе с лодками. «Приникши Ольга и рече им: «добра ли вы честь»; они же реша: «пуще ны Игоревы смерти». Перед нами страшная по своему реализму картина: глубокая яма, куда брошены недавние победители, и приникшая к ее краю торжествующая мстительница. Свидетельства же о кровавых расправах, столь частые в средневековье, придают летописному рассказу зловещий оттенок действительного события, а не только предания.

Во всяком случае успешная война Ольги с древлянами — событие подлинно исторического характера. Помощниками Ольги в этой войне были два варяга — Асмуд и Свенельд, а номинальным предводителем войска—маленький Святослав. Древляне были разбиты, а их главный город, Искоростень, сожжен. Тяжелая дань стала уделом Древлянской земли, опустошенной воинами Ольги, и треть этой дани шла в пользу Вышгорода на Днепре, принадлежавшего самой княгине.

Несмотря на скудость летописных известий, нас поражает кипучая деятельность Ольги. Киевское государство представляло собой пестрое объединение отдельных земель под властью киевского князя. Как только ослабевала сильная княжеская рука, земли начинали отпадать от Киева и вновь подчинялись только после новых военных походов. При Ольге начинается внутреннее укрепление Киевского государства. Она устанавливала размеры даней и оброков, указывала места для их сбора — «погосты», объезжала свои обширные владения и всюду оставляла следы своей деятельности. На реках Мсте и Луге в Новгородской земле показывали погосты Ольги, в Пскове стояли ее сани, по Днепру и по Десне были разбросаны места для ловли зверей и птиц — «перевесища» и «ловища» Ольги, указывали даже ее село Ольжичи. Это последнее указание немаловажно для оценки деятельности княгини. Земледелие уже прочно утвердилось в Русской земле, но не получило еще господствующего значения. Название «Ольжичи», кажется, говорит за то, что Ольга посадила на своей земле рабов, которые по своей госпоже получили прозвание ольжичей. Таким образом, Ольга была основательницей первых княжеских сел на Руси.

Однако не это прославило имя Ольги в глазах русских людей. Величайшим ее делом было насаждение на Руси христианства, вместе с которым для русского народа открылась дорога к просвещению. Княгиня не побоялась даже долгого и опасного путешествия, и сама ездила в Константинополь. Об этой поездке сохранился сбивчивый и путаный рассказ в летописи, в котором благочестивые рассуждения книжника, действительные события и народные предания сплелись в один клубок.

По летописному рассказу, Ольга ездила в Царьград в 955 г. при императоре Иоанне Цимисхии. Увидев Ольгу «добру сущу зело лицем и смыслену», император изумился и сказал, что она достойна царствовать с ним вместе. Уразумев, куда клонятся слова императора, Ольга заявила, что она язычница и просит императора быть ее крестным отцом. Император так и сделал, забыв о том, что крестный отец не может жениться на крестной дочери. После своего крещения Ольга напомнила императору об этом, и тот воскликнул: «переплюнала мя еси Ольга».

Рассказ о поездке Ольги и крещении ее в Константинополе имеет явно легендарные черты, тем более что Цимисхий царствовал позже времени, указанного в летописи. Но что Ольга действительно была в Константинополе, мы знаем из свидетельства ее современника византийского императора Константина Багрянородного. В своем сочинении «О церемониях византийского двора» он описывает прием русской княгини Ольги. «Княгиня вошла со своими родственницами, княгинями и избраннейшими прислужницами, причем она шла впереди всех других женщин, а они в порядке следовали одна за другою». Вслед за ней вошли русские послы и торговые люди. После чинных и длительных церемоний, обычных при византийском дворе, император беседовал с Ольгой. В тот же день Ольга присутствовала на званом обеде. Она была в Константинополе с большой свитой: ее сопровождали племянник, 8 приближенных людей, 22 посла, 44 торговых человека, 2 переводчика, священник, 16 приближенных женщин и 18 рабынь.

Прием Ольги в Царьграде происходил в 957 г. К этому году чаще всего относят и крещение Ольги, происшедшее, по летописи, в Константинополе. Однако с этим мнением не соглашается исследователь истории русской церкви Е. Голубинский, так как в книге о церемониях нет ни слова о крещении Ольги, а на царском приеме русская княгиня появилась в сопровождении священника Григория, стало быть, была уже крещена. Так как ранние биографы Ольги говорят, что она пожила в христианстве 15 лет, а умерла в 969 г., Голубинский делает вывод, что Ольга крестилась в 954 г. Тот же автор оспаривает показание летописи о крещении Ольги в Константинополе, но в этом случае свидетельство летописи поддерживают византийские и западноевропейские авторы.

При крещении Ольга получила новое христианское имя Елены как воспоминание о римской императрице Елене, положившей начало господству христианства в Римской империи. Образ «равноапостольной» Ольги как водворительницы христианства на Руси, во всем подобной древней царице Елене, стал с этого времени любимым для русских книжников.

Трудно переоценить значение такого события, как крещение Ольги. Это было делом не только большого церковного, но культурного и политического значения. Христианство на Руси появилось по крайней мере в начале X в., просочившись из Византии и соседней Болгарии, но господствующие классы упорно держались язычества. Теперь христианство было освящено авторитетом самой правительницы государства, получив в некотором роде официальное признание. Вместе с христианством Ольга принесла в Киев новые культурные навыки. Первое каменное здание на Руси едва ли не было тем каменным теремом Ольги, о котором говорится в летописи. Церковная служба не могла обойтись без церковных книг, и таким образом на Руси стала внедряться новая культурная струя, без которой невозможно умственное развитие человечества, — письменность.

Византийские императоры прекрасно понимали и международное значение такого события, как крещение русской княгини. Поэтому они торжественно принимали Ольгу и поднесли ей византийские монеты на золотом украшенном камнями блюде, одарив соответствующим образом и ее спутников.

Однако русская княгиня занималась в Византии не только церковными и придворными церемониями, а вела с греческим императором переговоры по политическим вопросам. Есть основания думать, что эти переговоры не были вполне успешными, и отражение этого видим в летописи, сообщающей о недовольстве Ольги тем приемом, который был ей оказан в Царьграде. Мудрая княгиня быстро разгадала намерение византийских политиков использовать церковное подчинение Руси для своих целей. Поэтому вскоре после возвращения из Константинополя произошло неожиданное событие: Ольга обратилась к германскому императору Оттону с просьбой поставить для ее народа «епископа и священников». Об этом рассказывает германский хронист — так называемый Продолжатель Регинона — под 959 г., называя русскую княгиню Еленой, королевой руссов, которая была крещена в Константинополе. Действительно, в следующем году, во время пребывания Оттона во Франкфурте, монах Либуций был поставлен в епископы для русских. Однако Либуций так и не отправился в свою новую епархию, а умер в 961 г. «В преемники ему посвящен был Адальберт из братии монастыря Св. Максимина в Трире; сего последнего благочестивейший государь, с обычным ему милосердием снабдив щедро всем нужным, отправил с честью к ругам». Младший современник Адальберта епископ Титмар Мерзебургский, хорошо знавший события второй половины X в., уже прямо говорит, что Адальберт был поставлен в епископы Руси (Rusiae); следовательно, под ругами надо понимать руссов.

Какие же причины вызвали обращение Ольги к германскому императору? В данном случае она сделала ловкий дипломатический маневр, заставив византийских императоров идти на уступки из боязни потерять новую русскую церковь. Ведь это была эпоха соперничества двух империй: Священно-Римской, или Германской — на западе, Восточно-Римской, или Византийской — на востоке. Однако Русь была теснее связана с Византией и Болгарией. К тому же греческая церковь допускала церковные службы на родном языке, тогда как западная, или католическая вводила обряды по-латыни. Поэтому уже в 962 г. Адальберт вернулся на родину, «ибо не успел ни в чем том, за чем был послан, и видел свои старания напрасными».

Неудача переговоров Оттона с Ольгой не мешает отметить большое международное значение сношений России с Германией. Ольга впервые завязала связи с обеими империями, тем самым намечая традиционную линию русской политики XI—XIII вв., одинаково обращавшую свои взоры в сторону запада и Византии. Недаром же западноевропейские хронисты весьма сокрушались по поводу «лживого» характера русского посольства.

В самой Руси христианство, несмотря на весь авторитет Ольги, утверждалось медленно. Святослав не только не крестился, но смеялся над неофитами, хотя и не запрещал им принимать новую веру. Он даже гневался на свою мать, так решительно порвавшую с традиционным язычеством. Для воинственной души Святослава языческие обычаи и клятвы оружием были более понятны и ближе к сердцу, чем церковные песни и возгласы священников. Но отношения между сыном и матерью оставались теплыми, ибо «любяше Ольга сына своего Святослава».

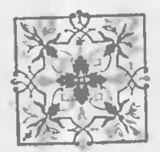
Во время дальних походов Святослава и его частых отлучек из Киева княгиня-мать по-прежнему держала в своих руках нити управления государством. В 968 г. она отсиживалась с тремя внуками в Киеве во время первого набега печенегов на Русь. Киевляне послали к Святославу, воевавшему в это время в Болгарии, с просьбой о помощи, и воинственный князь тотчас сел с дружиной на коней и «вборзе» примчался на выручку Киева. Ольга в это время уже доживала свои последние дни. Величественный образ княгини, может быть, ярче всего отразился в той глубокой любви, которую питал к ней до конца ее жизни Святослав, неукротимый и смелый полководец. Освободив Киев, он «целова матерь свою и дети своя и сжалися о бывшем от печенег». В 969 г. Ольга разболелась и не позволила Святославу идти в Болгарию, сказав, что он может идти куда захочет после того, как ее погребет. Через три дня после этого разговора Ольга умерла, «и плакася по ней сын ея и внуци ея и людье все плачем великом».

Погребение княгини было необычным. Она запретила совершать над ее могилой «тризну» — погребальное пиршество, а была похоронена по христианскому обряду священником.

Жизнь Ольги не прошла бесследно. Младшие современники видели в ней провозвестницу христианства на Руси. Она была предотекущей христианской земли, говорит о ней летописец, как денница пред солнцем и как заря пред светом; она сияла, точно луна во время ночи. Ее хвалят русские люди, как начальницу, продолжает тот же автор. Действи-

тельно, через 20 лет, когда поднялся вопрос о крещении всей Руси, одним из аргументов в пользу новой веры служила ссылка на то, что Ольга приняла христианство. Если бы плох был закон греческий, говорили сторонники новой веры Владимиру, разве бы приняла его твоя бабка Ольга, ведь она была мудрейшая из людей — «мудрейшии всех человек». Так слава мудрости, красоты, смелости сопровождала эту замечательную русскую женщину и после ее смерти.

Основываясь на летописи, относящей брак Ольги с Игорем к 903 г., Голубинский считал, что Ольга умерла в глубокой старости, «будучи лет 80-ти». Но мы видели, как спутаны и недостоверны известия летописи о времени брака Ольги и Игоря. Поэтому вернее предполагать, что Ольга умерла еще не старой, так как Святославу в 969 г. исполнилось едва 27 лет. После ее смерти началась языческая реакция, впрочем, не надолго: время, так как внук Ольги, князь Владимир, довершил дело «предотекущей» Русской земли.



ВАДИМ КОЖИНОВ

Об эпохе святой Ольги

Рассказ одного из виднейших послереволюционных русских историков М. Н. Тихомирова (1893—1965), написанный в 1940-х годах, — последнее по времени сочинение, специально посвященное личности святой благоверной княгини Ольги. Более того, М. Н. Тихомиров при жизни не смог опубликовать свое сочинение: оно появилось в печати лишь в 1974 году, к тому же в предназначенном только для самих историков издании «Рукописное наследие академика М. Н. Тихомирова в Архиве Академии наук СССР. Научное описание», вышедшем в свет мизерным тиражом 2000 экземпляров.

Это показывает, насколько насущна предпринятая журналом публикация материалов в рубрике «Русская история в лицах». Совершенно необходимое для истинного понимания и переживания родной истории представление о жизни и характерах основных деятелей этой истории, по сути дела, недоступно современному читателю; он может обращаться только к старинным (и неизбежно так или иначе устаревшим) книгам.

Но я считаю важным еще раз подчеркнуть (хотя уже неоднократно делал это в печати), что в таком, прямо скажем, диком положении вещей повинны не историки; ведь вот даже и занимавший достаточно прочное положение в Академии наук М. Н. Тихомиров не смог опубликовать свой обращенный к широкому читателю рассказ о святой Ольге!

Каждый, кто всерьез познакомится с научной деятельностью отечественных историков в послереволюционные десятилетия, не сможет не признать, что лучшие из них продолжали работать даже в самые тяжелые времена. Но одно дело — научное исследование истории, и существенно другое — изложение результатов этого исследования для широких читательских кругов. Наши историки, повторю, много сделали (особенно за последние десятилетия) для познания Древней Руси и ее основных героев, но плоды их работы чаще всего оставались в обращенных к узкому кругу специалистов статьях и книгах.

Уместно добавить, что исследование новой и новейшей истории России и ее основных деятелей находилось в еще более печальном положении. Тут запрещались и преследовались даже и те стремящиеся к объективности работы, которые были предназначены для специалистов. Приведу один выразительный пример.

В 1978 году вышла малотиражная чисто «научная» книга историка В. С. Дякина «Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг.». Исследование это, как можно понять из самих его хронологических границ (1907—1911), было посвящено времени П. А. Столыпина. В названии книги имя этого великого государственного деятеля в сущности было необходимо — ведь оно предстает почти на каждой ее странице. И ясно, что историк не ввел это имя в название своей книги, дабы, как говорится, не дразнить гусей. Но, несмотря на это, «гусь» нашелся и написал следующее:

«Согласно принятому взгляду... Столыпин — крайний реакционер, проводник политики, вошедшей в историю (позволительно спросить: в чью именно «историю»? — В. К.) под именем столыпинской реакции. В. С. Дякин не только не согласен с такой трактовкой, но весь пафос его книги направлен на опровержение этого взгляда... Неудобство этой позиции состоит в том, что она очень близка, если не сказать больше, к точке зрения октябристов и даже националистов (имеются в виду русские партии 1900—1910-х годов. — В. К.). Именно они, в частности Гучков и Шульгин, доказывали, что Столыпин, будучи мудрым консерватором, хотел добиться «конституционного» обновления России путем реформ, но без западноевропейского «парламентаризма», с сохранением «исторических устоев»...»[1].

Так специалист по разоблачениям А. Я. Аврех докладывал о «неблагонадежности» историка В. С. Дякина. И нельзя не выразить глубокого уважения к историку, который еще в 1970-х годах не страшился рассказать правду о деятельности Столыпина.

Но вернемся к святой княгине Ольге. Прошло уже тысяча с лишним лет со дня ее кончины, но память о ней — пусть и не очень подробная — живет в каждом русском человеке.

Видный деятель современной православной Церкви отец Иннокентий (Просвирнин), любовно разыскивающий следы жизни святой княгини, еще в 1970-х годах (когда о прошлом вспоминали гораздо реже, чем теперь) рассказывал мне, как он, в частности, стремился установить, где именно находился терем Ольги в ее замке-крепости Вышгороде, около Киева. Местная жительница, увидев, что приезжий человек что-то ищет взглядом около ее дома, вызвалась помочь ему. И когда он, захваченный врасплох, признался в чем цель его поисков, женщина радостно поведала, что терем Ольги, как рассказывала ей ее бабушка, стоял когда-то прямо вот здесь, на месте этого огорода...

Предание это может показаться безосновательным мифом — разве, мол, способна людская память передать весть через целое тысячелетие?! Но мы редко вдумываемся конкретно в реальность человеческого времени. Что такое тысячелетие? Это тридцать человеческих поколений. А если иметь в виду смену трех поколений, которые, как правило, знают друг друга — то есть дед — отец — внук или бабушка — мать — внучка, окажется, что со времен святой Ольги всего только десять бабушек должны были передать своим внучкам: «Здесь вот, — как мне говорила моя бабушка, стоял Ольгин терем». И значит, не так уж маловероятно, что женщина, жившая в Вышгороде в недавнем 1969 году (а святая Ольга скончалась 11 июля 969 года), поведала отцу Иннокентию чистую правду.

* * *

М. Н. Тихомиров написал свое сочинение о святой Ольге около полувека назад. А с тех пор историки совместно с археологами открыли или заново осмыслили многие явления и события времен Ольги.

Так, целый ряд историков заново исследовал отношения княгини Ольги с правителями Византии — крупнейшей и культурнейшей державы той эпохи. Есть все основания полагать, что вскоре после начала своего правления, то есть после гибели князя Игоря, Ольга устанавливает самый тесный союз с Константинополем.

Как известно, ее предшественники князья Олег и Игорь совершили жестокие атаки против Византии, причем Игорь даже пренебрег заключенным ранее и выгодным для него договором о мире с этой великой державой... Между тем Ольга, возможно, уже в 946 году (то есть через год после гибели своего супруга) отправилась в Константинополь с мирным посольством[2] и установила с Византией (правда, не без труда и трений) военные, политические, торговые и культурные отношения, не говоря уже о том, что Ольга (и, несомненно, многие люди из ее окружения) приняла христианство по греческому обряду.

С другой стороны, княгиня (о чем рассказывает М. Н. Тихомиров) предприняла усилия для установления отношений со сложившейся в ее время в Западной Европе «Священной Римской империей германской нации».

Нужно представить себе место Руси на тогдашней политической карте: к западу от нее формировалась — на основе германской государственности — Священная Римская империя, к югу вступила в период очередного расцвета и могущества Византийская, а еще оставался восток, где находился ближайший сосед — Хазарский каганат (тюркское слово «каган» означает титул, равный императору; то есть речь шла также об империи).

В сочинении М. Н. Тихомирова об Ольге, написанном в 1940-х годах, ничего не сказано о Хазарском каганате, ибо наиболее серьезные и содержательные исторические исследования о нем появились позже — в 1950—1980-х годах (работы М. И. Артамонова, С. А. Плетневой, Л. Н. Гумилева, А. П. Новосельцева, А. В. Гадло, А. Н. Сахарова и других). Ныне все более утверждается понятие о том, что правле-

---

[1] А. Я. Аврех. Царизм и IV Дума. М., 1981, с. 11.

[2] Следует отметить, что историки — прежде всего Г. Г. Литаврин — в последнее время ведут содержательную полемику вокруг даты посольства Ольги в Константинополь: отстаивается и 946, и 955 год, и даже идет речь о возможности двух посольств Ольги.

нию святой Ольги предшествовали тяжелые войны с Хазарским каганатом.

Войны с ним начались значительно раньше — еще в 820—830-х годах, но достигли новой остроты во времена князей Олега и Игоря. Л. Н. Гумилев обратил сугубое внимание на тот факт, что в наших летописях есть большие пропуски — с 885 по 903 год (то есть семнадцать лет) и с 920 по 941 год (двадцать лет) — как будто в столь долгие периоды на Руси не происходило никаких существенных событий. Между тем из других исторических источников — арабских, хазарских, византийских и т. д. — известно о столкновениях Руси с Хазарским каганатом именно в те времена. Вполне возможно, полагает Л. Н. Гумилев, что летописцы предпочитали не упоминать тяжелые поражения, нанесенные тогда Руси Хазарским каганатом. Более того, есть немало сведений, показывающих, что Хазарский каганат заставлял русских князей совершать походы против враждебной ему Византии, а также мусульманских городов на берегах Каспийского моря; при этом важно учитывать, что речь шла о походах по воде, на ладьях, которые в изобилии имелись только у Руси, пользовавшейся в древности главным образом (хотя бы из-за покрывавших ее непроезжих лесов) водными путями.

Из летописи явствует, например, что действия Игоря во время похода на Византию направляли воинствующие антихристианские цели. Воины Игоря так обращались с пленными христианами: «одних распинали, в других же, расстанавливая их как мишени, стреляли... Много же и святых церквей предали огню».

А ведь из той же летописи известно, что в дружине Игоря было много христиан, которых в то же самое время «приводили к присяге в церкви святого Ильи, что стоит над Ручьём» (в Киеве). Л. Н. Гумилев обоснованно отмечает, что воины Игоря, вошедшие в Византию, «имели опытных и влиятельных инструкторов» — из непримиримо враждебного христианской Византии Хазарского каганата [3]...

У Руси не было никаких основательных причин атаковать Византию, которая никогда на нее не нападала и была для нее важнейшим торговым партнером. Л. Н. Гумилев доказывает, что на определенное время Хазарский каганат «сумел подчинить себе русских князей до такой степени, что они превратились в его подручников и слуг, отдававших жизнь за чуждые им интересы», и что князь Олег «в наследство Игорю ...оставил не могучее государство, а зону влияния Хазарского каганата» [4].

Об этом же говорит и совсем другой видный современный исследователь — В. Н. Топоров, полагающий, что во времена Игоря «ситуация в Киеве... характеризуется наличием в городе хазарской администрации и хазарского гарнизона» [5].

Это, в частности, подтверждает летопись, в которой упомянуты существующие с X века киевские урочища (местности, районы) Козаре и Жиды (ведь иудейская религия господствовала в Хазарском каганате), а также Жидовские ворота.

Но существуют и свидетельства прямого современника и даже собеседника святой Ольги — византийского императора Константина Багрянородного (905—959), фактически правившего с 945 года. В своем известном сочинении «Об управлении империей» он сообщает, что в Киеве есть крепость, называющаяся «Самватас». Современный исследователь А. А. Архипов убедительно доказывает, что это древнееврейское название («Самбатион»), означающее «пограничную» реку (то есть Днепр, который правители Хазарского каганата считали своей западной границей) [6]. В этой крепости и размещался «хазарский гарнизон».

Кроме того, император свидетельствовал, что юный сын Ольги Святослав находился отнюдь не в Киеве, а в «Немогарде»; долго считалось, что речь шла о Новгороде, но сейчас высказывается точка зрения, согласно которой имелся в виду Невогород (ныне — Ладога), расположенный в 200 км к северу — не у истока, а у устья Волхова, впадающего в Великое озеро Нево (теперь также называющееся Ладожским). Во всяком случае бесспорно пребывание юного Святослава не с матерью в Киеве, а в отдаленном на 800 или 1000 км городе Северной Руси.

Но более того, и сама княгиня Ольга пребывала не в Киеве с его хазарской крепостью Самбатион, а в двадцати километрах севернее, где на крутом берегу Днепра ею был создан мощно укрепленный Вышгород. Новейшие археологические исследования в Вышгороде установили, что в нем сохранились — особенно в местности, до сих пор зовущейся Ольжиной горой, — следы жизни середины X века, в том числе византийская керамика и восточные украшения (например, бронзовый цеподержатель IX—X веков), которые можно даже было бы отнести к вещам самой княгини.

Наиболее же существенно, что, как выяснено археологами, «в X в. часть городища (Вышгородского. — В. К.) была занята производственными комплексами, связанными с железообрабатывающим производством. К середине XI в. «квартал металлургов» суживается, на его месте появляются жилые усадьбы» [7].

Из этого естественно сделать вывод, что именно при Ольге в Вышгороде изготовлялось оружие, необходимое на случай хазарского нападения (иначе просто непонятно, зачем создавать «квартал металлургов» в городке, расположенном всего в двадцати верстах от Киева; примечательно к тому же, что позднее «квартал» суживается за ненадобностью).

[3] Л. Н. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 194—195.
[4] «Русская литература», 1974, № 3, с. 167, 168.
[5] Russian Literature, Amsterdam, 198[illegible], XXIV, с. 24.

[6] История русского языка в древнейший период. М., 1984, с. 224—240.
[7] Археологические исследования Киева 1978—1983 гг., К., 1985, с. 135 (работа Л. В. Пекарской и В. Н. Зоценко «Археологические исследования Вышгорода в 1979—1981 гг.»). М., 1989, с. 200—205

Л. Н. Гумилев, доказывающий, что ко времени правления Ольги Хазарский каганат сумел в той или иной мере установить свой диктат над Русью, связывает с этим, в частности, и гибель Игоря, который вынужден был увеличить размер дани, собираемой им с племени древлян, не из личной корысти, а потому, что приходилось платить большую дань Хазарскому каганату. Но древляне не хотели с этим считаться и обрекли супруга Ольги на жестокую казнь [8].

Княгиня Ольга отомстила древлянам за гибель мужа и, как сказано в летописи, «возложила на них тяжкую дань: две части дани шли в Киев, а третья в Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Ольги». Вполне вероятно, что «две части» дани попадали в расположенную тогда в Киеве хазарскую крепость Самбатион...

Но княгиня Ольга смотрела далеко вперед. Она отправила сына на север, в Новгород или же в Невогород (Ладогу), и не только ради его безопасности, но и ради того, чтобы он, подрастая вдали от хазарских глаз, готовил могучую дружину для войны против каганата. Ольга вступила в тесный союз с Византией, что в свою очередь помогло ей установить союзные отношения со связанными с империей воинственными печенегами (эти отношения испортились лишь позднее, в 968 году, когда Святослав вступил в конфликт с Византией); печенеги, как известно, поддержали Русь в войне с хазарами.

Современные историки (В. Т. Пашуто, А. Н. Сахаров, Г. Г. Литаврин) выдвинули версию, согласно которой княгиня Ольга, отправляясь в Константинополь, взяла с собой Святослава, имея намерение, в частности, попытаться обручить его с дочерью византийского императора, который, правда, не согласился на это предложение [9]. В составе блестящего посольства Ольги (более ста человек, среди которых 14 знатных приближенных, 20 специальных «послов», священник Григорий, три переводчика, 43 купца и т. д.) был некий анонимный «родственник», который имел ранг второго лица после княгини. Не исключено, что это был оберегаемый своим инкогнито будущий князь. Путешествие в Константинополь, без сомнения, обогатило его сознание.

Позднее Ольга женила сына на дочери побежденного и убитого ею древлянского князя Мала, которую она взяла (после гибели ее отца) в свою свиту. Тем самым княгиня, несомненно, добилась определенного примирения и с древлянами.

Когда в 960-х годах (историки сейчас спорят о точной дате) молодой Святослав отправился в победный поход в столицу Хазарского каганата Итиль, он, в сущности, во всем опирался на предшествующие деяния своей матери.

Все это говорит об истинном величии святой Ольги как политической и государственной деятельницы Руси. И, конечно, величайший духовный смысл имело обращение русской княгини к христианству.

Правда, это обращение не дало прямого продолжения и развития, так как Святослав, выросший в Северной Руси, в человеческой среде, куда свет христианства еще не проник (в Киеве ко времени крещения Ольги было уже много христиан; в 944 году там имелось несколько церквей, в том числе соборная церковь святого Ильи), не смог разделить духовное озарение своей матери. Он говорил ей: «Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет насмехаться».

Святая Ольга так выразила свою надежду: «Да будет воля Божья; если захочет Бог помиловать род мой и землю Русскую, то вложит им в сердце то же желание обратиться к Богу, что даровал и мне». И то, что жило в Ольге, воскресло в ее внуке (сыне Святослава) Владимире, который рос на ее руках [10]. Как писал в XI веке монах Киево-Печерский лавры Иаков, «взыскал и воспринял спасение Владимир от бабки своей Ольги»...

[8] Л. Н. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989, с. 200—205.
[9] В летописи эта ситуация запечатлелась в переосмысленном виде: речь там идет о несостоявшемся браке императора с самой Ольгой.

[10] Замыслы Ольги, ее воли осуществлялись в жизни внука так, он сделал то, что не удалось Святославу, — взял в жены дочь императора Византии.

КРИТИКА

Русская мысль

В четвертом номере журнала мы обещали познакомить читателей с работами выдающегося русского философа и публициста Ивана Александровича Ильина (1883 — 1954). О нем рассказал Василий Белов в статье «Из пепла...»

«Поющее сердце», которое мы предлагаем сегодня читателям, в нашей стране никогда не издавалось. У этой книги, как и у других книг И. Ильина, трудная судьба.

В 1938 — 1945 годах за рубежом вышел книжный триптих — философско-художественная проза И. Ильина. Написана и издана она была на немецком. Несколько лет автор работал над вариантом для русского читателя. Не переводил,— а именно создавал новый вариант: 1. «О человеческой жизни»; 2. «Поющее сердце»; 3. «О грядущей культуре». Но издать книги не удалось. Уже после смерти Ильина вдова опубликовала только «Поющее сердце» — в 1958 году.

Работы эти являются вершиной философско-художественной прозы Ивана Ильина.

Трудно определить их жанр — нравственная проповедь, философская публицистика, художественная медитация... Сам И. Ильин определил главное: «Это философия — простая, тихая, доступная каждому...».

И. А. ИЛЬИН

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ. О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него духовная встреча с теми далекими, но *близкими*, для которых он втайне писал свою книгу?

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения: глаза бегают по буквам, «из букв вечно выходит какое-нибудь слово» (Гоголь) и всякое слово что-нибудь да «значит»; слова и их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то — «содержанное», расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется «чтением». Механизм без духа. Безответственная забава. «Невинное» развлечение. А на самом деле — культура верхоглядства и поток пошлости.

Такого «чтения» ни один писатель себе не желает. Таких «читателей» мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал,— надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что *для всех* нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит — что-то *значительное* о чем-то *важном и драгоценном*. И вот он начал отыскивать верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было нелегко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго: годами, иногда — всю жизнь; не расстается с нею ни днем, ни ночью; отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы; «болеет» ее темою и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности» (по слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И наконец произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть — легковесно-капризному, может быть — враждебно-придирчивому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из них добыть *сам читатель*. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то *за него* не сделает этого никто: всуе будет его «чтение», и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания *этой* книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твердого желания верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо *чувствовать сердцем и созерцать из сердца*. Надо пережить страсть — страстным чувством; надо переживать драму и трагедию живою волею; в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, вострепетать своею нежностью, взглянуть во все глуби и дали; а великая идея может потребовать не более и не менее как *всего* человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажить этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими, и читателю откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода *художественное ясновидение*, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние «пространства» души, созерцать нематериальное, отождествляться с незнаемыми или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира.

Читать — значит *искать и находить*: ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть *творческий* процесс, ибо воспроизводить — значит творить. Это есть борьба за духовную встречу; это есть *свободное единение* с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют «невозможного».

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено; оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, чтó следует читать и чего читать не стóит; ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обессиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, *что* он читает; и каждый человек есть то, *как* он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного,— как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.

БЕЗ ЛЮБВИ

(Из письма к сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: *сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями*? Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: ее нет в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она *сама в нем просыпается и им овладевает*. И это дано нам *от Бога и от природы*. Нам не дано произвольно распоряжаться

Печатается в сокращении.

в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери — потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами, и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослою любовью к «ней» (или, соответственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы превратить это «пробуждение природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его как свою судьбу. И не естественно ли ему любить *своих* детей тою любовью, которой он в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная выбирающая сила в жизни*. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить *всем*, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо *выбирать*: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть *любовь*: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, домогается и блюдет верность. А *воля есть лишь орудие любви* в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, *безразлична к добру и злу*. Она быстро превратит жизнь в *каторжную дисциплину под командой порочных людей*. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар — *увидеть лучшее, избрать его и жить им*. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная творческая сила человека*.

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно, только *приняв богозданный мир*, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит *из уже сотворенного*, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества — внешне-материального и внутренно-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться *созерцать сердцем*, видеть любовью: уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них *Великое — сродное — сопринадлежащее*, вчувствоваться в него и создавать *новое из древнего* и *невиданное из предвечного*. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком, — было создано из *созерцающего и поющего сердца*.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что *самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу*. Только созерцающая любовь открывает нам *чужую душу* для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его *родину*, т. е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ *к религиозности и к Богу*. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающий с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей; а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность к ней может сделать человека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть *рожден любовью*, он должен быть сам *ее воплощением* для того, чтобы находить в ней оправдание и меру...

Вот почему я сказал, что ты «и прав и не прав».

И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: *надо жить ею*, а не говорить о ней. Но вот посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриною. А это означает, что пришел час *заговорить о любви* и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как браться за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушаемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы *обречены* со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен, — что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойно и подозрительно: того гляди «согласишься» «на свою голову» — и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо: каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит *явная несправедливость в его пользу*. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он «совершенно справедливо» относится к другим; но никак не хочет заметить, что все возмущаются его «справедливостью» и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько недовольных людей, и единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения: они ведут к насилию и революции; а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании; и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако все это не компрометирует и не колеблет старую, благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»... Этот предрассудок *естественного равенства* является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно *в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми*.

Если бы люди были действительно равны, т. е. одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать: «одинаковым людям — одинаковую долю», или «всем всего поровну» — и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически; и все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренно и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство — или даже прямая слепота — приво-

дят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья...

На самом деле люди *не равны* от природы и *не одинаковы* ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола; они имеют от природы не одинаковый возраст, не равную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга и телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, не одинаково образованные, с разными привычками и талантами,— люди творят неодинаковое и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно неодинаковы: все они — различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во *всех* отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые *обязанности*: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые *права*: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях. Нельзя *взыскивать* со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди *неравны* от природы, *неравны* по своей силе и способности, *неравны* и по своему социальному положению; и что *справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми*; напротив, она требует *неравенства для неравных*, но *такого неравенства*, которое *соответствовало* бы действительному неравенству людей.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей — бесконечное множество; все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как «воздать каждому свое» (по формуле римской юриспруденции)? Они *не* одинаковы; значит, и обходиться с ними надо не одинаково — согласно их своеобразию... Иначе возникнет несправедливость...

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует *предметно обоснованного неравенства*. Ребенка надо охранять и беречь; это дает ему целый ряд *справедливых привилегий*. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые не-герой не должен претендовать. И так — во всем и всегда...

Поэтому справедливость есть *искусство неравенства*. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также *живая совесть* и *живая любовь* к человеку. Есть особый *дар справедливости*, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке *доброе, любящее сердце*, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души...

Вот почему справедливость есть начало *художественное*: она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его зерно и обойтись с ним *предметно*. Она «внимательна», «бережна», «социальна»; она блюдет чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с «тактом». Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему *любовна*: она родится от сердца и есть живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти; ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции: ибо революция дышит ненавистью и местью, она слепа, она разрушительна; она враг справедливого неравенства; она не чтит «высших способностей» (Достоевский). А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека и призвание ее состоит в том, чтобы *узнавать и беречь высшие способности*...

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда *все* или по крайней мере очень многие станут ее *живыми художниками* и усвоят *искусство предметного неравенства*. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а *к органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий*. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило *уравнивает*, а не «*опредмечивает*» (от слова «предмет») жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам, «раз навсегда», «для всех людей», «повсюду». Ибо она именно не «раз навсегда», а *живой поток индивидуальных отступлений*. Она не «для всех людей», а *для каждого в особенности*. Она не «повсюду», а живет *исключениями*.

Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде *потока живой и предметной любви к людям*. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет *творить жизненную справедливость*, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое *предметное неравенство*.

Вот почему в жизни важнее всего не «*найденная раз навсегда*» справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего *живое сердце, искренно желающее творческой справедливости*; и еще — *всеобщая уверенность*, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это *есть*, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни — условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их *жертвенным настроением*. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет *истинная, т. е. художественно-любовная, справедливость*.

ЕГО НЕНАВИСТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что «он меня ненавидит»... Какое чувство собственного бессилия овладевает душою... Хочется не думать об этом; и это иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать; и не можешь совсем забыть; и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек,— знает он об этом или не знает,— есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смущение или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей, даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, «сгуститься» в отвращение и углубиться до ненависти, и притом совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем, и лучи его мрачны и страшны; и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. За ними чувствуется застывшая судорога души; мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках, и мучается от того, что это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что «он» меня не переносит; что «он» с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи; что «он» провел черту разлуки между собою и мною, и считает эту черту знаком окончательного разрыва; по ту сторону черты — он в неутомимом зложелательстве, по сю сторону — я, ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недо-погубленный; а между нами — бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп; и вот встречает всякое жизненное проявление с моей стороны — убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне; а это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа — совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одер-

жим почти маниакальной идеей — моего искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я не имею права на жизнь. Как это выражено у Лермонтова: «нам на земле вдвоем нет места» *... В общем и целом,— духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенящего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящею ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия; а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удается, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах — их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только *его* несчастье, но и *мое*, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я — ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту больную страсть. В духовном эфире мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить ее.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами; и действительно, совсем не легко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только «подарить мне жизнь» и примириться с моим существованием; он должен испытать *радость* от того, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться *его* бытию. Ибо по слову великого православного мудреца, Серафима Саровского, «человек человеку — радость»...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко мне — превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны к взаимному уважению... Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого — искренне и любовно — добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добивающимся прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, примирись с моим существованием, как я с любовью встречаю твое бытие...» Именно с любовью, ибо простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями: от *него* ко *мне* и от *меня* к *нему*. *Его* ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: *он* — потому, что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и *я* — потому, что я должен смотреть, как он из-за меня мучается; и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так: поддерживать вторую нить — от меня к нему,— крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его

* Слова Грушницкого. «Герой нашего времени».

ненависть; что я не вменяю ему его вражду и злобу; что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить; что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью; и, главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе; это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей; то, что по этому поводу рассказывают о святых, — не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умиряюще и обезоруживающе; напряжение злобы рассеивается; злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова: любовь заклинает бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и даже врата адовы ей не препятствие.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим, как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной.

МОЯ ВИНА

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное — доказать не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете — весь мир, но только не я: — враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, «среда» и «влияние», небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом «не может быть никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказательствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым; что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила до галлюцинаций. Но я готов. Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно *мужество*, чтобы спокойно исследовать свою вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно *смирение*. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе «умнейшей» и «добрейшей» личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиблагороднейшей стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать себя — перед собой и перед другими — всепредвидящим и неошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ «чистоты» и «величия» воссияет под моим именем? Кто из нас свободен от небезупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознавать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что *все люди*, без исключения, пока они живут на земле, *соучаствуют во всеобщей мировой вине*, желанием и нежеланием, но также и безволием, и трусливым уклонением от волевого решения; деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским «умовением рук»; чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым бессмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира — непосредственно и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в *едином сплошном духовном эфире*, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия; и посылаем в него свои «волны» или «лучи», даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лу-

чи, даже тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл — излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершённое, несказанное и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кащей Бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу. Сатанисты не бесцельно и не бесследно предаются своим медитациям. Но и одинокая молитва Симеона Столпника светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» людей. Есть лишь такие, которые *знают* о своей виновности и *умеют нести* свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей *не знают* об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это — *носители мировой вины*, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие — вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины: ибо вина несется за ними наподобие древней Эриннии. Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни, и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвождают их к позорному столбу... И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хорошие» и «совершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее открыто — спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль — относительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде — где у меня недостает любви и прощения; везде — где я забываю о едином «пространстве» и общем «эфире» духа; везде — где я перестаю служить Богу и делать Его Дело или где я во всяком случае нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее; и главное, — вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее *чувство ответственности*, которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сплетений и отношений к другим людям. Медленно развертывается передо мною ткань общественной жизни; и постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия, — и вот и начинаю постигать, что́ я в действительности «посылаю» в этот общий воздух и что́ я из него «получаю». Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к укреплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь как длинную цепь виновных состояний и деяний — и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине; не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению, — потребность в этом все более исчезает во мне, — но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их

душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы *его* вина была *моею*. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую: — нести, т. е. преодолевать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это — верный путь...

О ЛИШЕНИЯХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память»... Вот было разочарование!.. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились... И вдруг — альбом. Какая скучища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без лишнего»... Да, хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел; это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатиками. Но позднее... И потом еще много спустя... У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья» или «законом оловянного солдата». Кажется, тут замешана и сказка Андерсена: «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был малый — прошел через огонь и воду, и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением *настоящей жизненной мудрости*. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушение и опасности; и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: *они грозят лишениями*. Потому, что так называемые «унижения» суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так называемой «славы».

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, *предметного успеха в жизни* и от победы в жизненной борьбе. А если хочу *предметной* победы, то я должен *пренебрегать лишениями* и *презирать угрозы*. То, что иногда называют «крепкими нервами», есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто *только* грозит и даже не осуществляется, есть своего рода лишение, — лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья и т. д. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен *не бояться лишений*; мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или как бы выдержанный «экзамен на победу». Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему «ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных «потерях», «убытках», унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни: в этом — подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, — есть *духовное преодоление угроз и лишений*. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. «Не хватает?» — «Пускай себе не хватает. Я обойдусь»... Нельзя терять священное и существенное в жизни: нельзя отказываться от *главного*, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и порабощать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая *высшая, всё определяющая ценность*, которую он действительно больше всего *любит* и которая на самом деле *заслуживает* этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... Это есть *священное и освящающее солнце любви*, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников...

И во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение — не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив и заряжен ненавистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб*; вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы некую дверь, ведущую в духовные просторы; или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердце мое видит Господа и поет от радости...»

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: «В том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно...» Во всех вещах мира есть измерение глубины. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений: они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьяновой тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И ее — я не хотел бы лишиться в жизни...

МИРОВАЯ ПЫЛЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом,— ей все равно, взлетит и облепит путника, и он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда ни взглянешь — пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самум поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глубокой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устроения; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную сопринадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет необходимым и выбрасывает излишнее; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот, в этом великом созидательном вращении мира малый атом имеет свое призвание: он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это ему не удается, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо нет у нее питающей почвы и нет органической сопринадлежности; ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать... Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастие примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего служения, а потому и счастия: ибо на свете нет счастия вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший себя в мире, — уже не жертва «случая» и не дитя хаоса: он обретает свою личную свободу в служении мировой необходимости и вступает во вселенный хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и пылью как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством,— пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому,— пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «мудрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии, и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастия. Все неустроенные атомы мира образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание — то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного «новообразования» организма, то в виде социальной революции или гражданской войны.

Такова великая «организационная» задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления,— счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или «часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых мудрых и в то же время бережных мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, «потерявшие голову» и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения,— протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение...

...Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во внутренней жизни человека имеется свое распыление и своя особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святыни. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единою, главною идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время перелагать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их его светом и его содержанием, так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавше-

* Срв. рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда».

еся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства; то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования; — все эти несчастья, пизменные и пустые «обстоятельства» жизни, которые желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле лишены всякой высшей существенности; — все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают, — все это п ы л ь, злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низменным; наша любовь станет капризною, нечистою и нетворческою; наши поступки станут случайными, неверными, предательскими — и дух наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, даром случайным» (Пушкин); она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Беркли, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышление, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

О ЩЕДРОСТИ

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево да и только, и с каким вкусом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость»...— и улыбался счастливой улыбкой.

А значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: с длинными белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем неверно. Кто так думает и чувствует, тот наверно проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас нелегко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как это ему удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» — или щедростью.

Он был седьмым в своей семье, и притом младшим; одни мальчики. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он

не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбою у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «я о т д у ш и это делаю, с л ю б о в ь ю, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится»...

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его — «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял ненасытным чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тягости с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым водился и с гуслярами все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про «искусство владения»? — Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас с в о е г л а в н о е из глаз глядит, а у них глядела жадность». Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал бывало рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение:

«Слушай, малыш, — говорил он мне не раз, — есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы н е з а в и с е т ь о т с в о е г о и м у щ е с т в а, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно — хи-итрое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет г л а в н ы м в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть с в о б о д е н; да не только от гнета людей, но и о т г н е т а и м у щ е с т в а. Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь: мое имущество покоряется. Тогда я им действительно в л а д е ю, ибо в л а с т ь в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится з а свое богатство, тот трепещет п е р е д н и м: как бы оно не ушло от него, как бы оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда...»

«Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость».

«Или вот — на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет м н о ю, а я владею с к р и п к о й; вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божью красоту».

«То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано с л у ж и т ь н а ш е м у с е р д ц у и в ы р а ж а т ь н а ш у л ю б о в ь. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать и богатство; а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...»

«Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, н е о т м е н я я и м у щ е с т в о, п о б е д и т ь е г о и с т а т ь с в о б о д н ы м. Эта свобода не может прийти от д р у г и х людей; ее нужно в з я т ь с а м о м у, о с в о б о д и т ь с в о ю д у ш у. Если мне л е г к о думать о моем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; где сердце заговорит — с радостью дарить; снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не требовать возврата, если другому невмоготу; и братски забывать о процентах. И главное, — слышишь, малыш, — никогда не трепетать за свое имущество: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенная воля Его». Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство; а низкому че-

ловеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства...»

«В умных книгах пишут, — сказал он мне раз, — что имущество есть накопленный труд; а по-моему, и труд и имущество *от духа и для духа*. А дух есть прежде всего — *любовь*. Поэтому у настоящего человека имущество есть *запас сердца и орудие любви*. Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца — значит тяжелая судьба и дурной конец».

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других; а я сижу счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил как настоящий мудрец...

О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. «Чего у меня нет, того чтобы и у других не было». Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет; и редко кто умеет «прощать» другим их одаренность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу... Но если обойденный завистник добьется власти, и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым, и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их «невыносимое» и «непростительное» преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то слагается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам — проповедникам безбожия, — старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за «освобождающую истину», за «радостное благовестие», словом — за *новое откровение*... Такое впечатление не случайно; оно исторически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по-видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой грусти и растерянности.

Таково приблизительно то чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно-слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, слепою и жестокою.

И вот в нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины: мы — счастливцы, он — несчастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив: эту лишенность он переживает как особое преимущество, как начало «новой» жизни и нового творчества, как знак «высшего призвания», как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он — «просвещенный мыслитель», а мы бродим во мраке, не то «обманутые», не то «злостные обманщики». Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом: он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх но-

гами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром... И наконец проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое «откровение»: они считают нас отсталыми, «мракобесами», рабами предрассудков и суеверий; они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам или «передумать» и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что приблизительно они говорят нам: «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем. И это превосходно. Это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеете веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так чтобы на земле совсем не осталось верующих»...

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет слепого: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодование. Надо выступить в защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя «запретить» безбожным их безбожие; запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их «просвещении»; что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своею силою и своим содержанием; и что *никакого освобождения от этой свободы нам не нужно*. Мы должны доказать, что их новое, мнимое «откровение» есть в действительности слепота, самообман и мрак; что оно не дает им никакого права на власть и ведет к погибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим *все* то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще *иное*, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни «фантазерами», ни «лицемерами».

Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях, и самое существование этих притворщиков не говорит ничего против Истины и против Предмета. Надо считаться только с *искренними людьми и с честными созерцателями*.

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небылицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к *подлинно сущим реальностям*; нам не надо их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения, а наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей, напр., Коперник, Бэкон, Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либиг, Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа-Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера Предметности. И они веровали в Бога; и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому, что их *созерцающий опыт* открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и *великие объемы духа и его реальностей*.

Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она зарождается в *полноценном опыте* и бывает всегда укоренена в *предметном созерцании духа*. Этот духовный опыт имеет дело с *реальностями не чувственного* (совесть) или *не только чувственного* (художество) или прямо *сверхчувственного* (религия) характера. Этот опыт не «мечта» и не «помешательство». Он требует *духовного трезвения* и поддается *духовной проверке*. Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осуществляется в предметном восприятии и

добивается полной и окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, — тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о красках дивной картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует или что этот цветок есть наша галлюцинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой музыки нет, что все это «выдумки лицемеров»?.. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духовных предметах. Человек с заглохшим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о любви, как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве совестного акта, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благости Божией и об искуплении... Как объяснить ему, что такое молитва? Как поверит он, что молитва бывает принята и услышана? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха и что ей дано преодолеть всякий страх? Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога освобождает душу и что проповедуемое им безбожие несет людям худшее в истории рабство — порабощение страстям, материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными реальностями, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком человеческих страхов; и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священные начала жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недосягаемой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только «по ту сторону» нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, «по сю сторону», Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу, Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное, — всюду есть веяние Духа Божия: и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой доброте, струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему,— там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его телесным глазом, мы отвечаем: именно потому, что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком; и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим «пяти чувствам».

Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывать человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бессердечною, бездуховною, жестокою тварью, бессильною в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способною ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому достаточно свидетельств; неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к погибели... Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

Публикация **Ю. ЛИСИЦЫ.**

Окончание следует

Круг чтения

В послесловии к вышедшей в 1988 году в Ленинграде книге Анатолия Мариенгофа («Циники», «Роман без вранья», «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги») Б. Аверин написал: «Представленная здесь часть его наследия дает возможность осознать, что Мариенгоф стоит в одном ряду с такими писателями, как Платонов, Пильняк, Замятин».

Не стоит все же читателям радоваться открытию нового классика. Мы не можем без крайностей: то делаем вид, что подобного писателя вообще не существовало, то впадаем в эйфорию от собственного «открытия» и утрачиваем всякое чувство реальности. Чего стоит перечисление «Платонов, Пильняк, Замятин», — через запятую, словно о братьях-близнецах идет речь! А когда добавляется в эту обойму Мариенгоф, литературоведческий «коктейль» обретает еще большую остроту.

Есть все же нечто симптоматичное в возвращении этого совершенно забытого имени. И думается, если бы и автор послесловия, и авторы некоторых других публикаций последнего времени, в которых встречается имя Мариенгофа, поумерили бы свой пыл и хотя бы постарались обойтись без лишних комплиментов, разговор о литературной судьбе Анатолия Мариенгофа мог бы стать весьма поучительным.

Провинциал, приехавший завоевывать столицу, плодовитый графоман, писавший стихи, прозу, киносценарии, пьесы, он остался в литературе благодаря своим скандальным мемуарам. В этом отношении его заслугу трудно переоценить. Если в Европе в конце 20-х годов прославились «Петербургские зимы» Георгия Иванова, то в Советской России роль бытописателя литературной богемы с успехом взял на себя Мариенгоф.

«Роман без вранья», вышедший в свет первым изданием в 1927 году, появился как нельзя более вовремя. Прогремевшие в начале года «Злые заметки» Николая Бухарина были идеологическим документом, который явно нуждался в фактическом «обрамлении». Вылить помои на Сергея Есенина, объявить его шовинистом и упадочником было все же недостаточно. Нужна была книга современника, очевидца и близкого друга, который бы на фактах подтвердил правоту партийного идеолога.

Если факты в творческом воображении мемуариста будут смещены, а воспоминания разбавлены беллетристикой — тем лучше.

И появился «Роман без вранья».

Мариенгоф не выполнял социального заказа. Он писал «роман» из жизни литературной богемы. Но книга оказалась «очень своевременной», теперь на нее можно было сослаться как на свидетельство, заслуживающее всяческого доверия. Стоит ли удивляться, что «роман», однозначно отрицательно оцененный писателями и критиками, вышел в свет в следующем году еще двумя изданиями?

«Толя, когда я умру, не пиши обо мне плохо», — попросил Есенин своего бывшего друга, адресата «Сорокоуста» и «Пугачева», словно предчувствуя, какие воспоминания напишет о нем этот «друг». И, надо сказать, предчувствие не обмануло поэта. Перечитайте «Черного человека» — в монологе «прескверного гостя» вы без труда узнаете все основные тезисы «романа» и других воспоминаний Мариенгофа.

«Не боюсь я этой мариенгофской твари и их подлости нисколечко. Ни лебедя, ни гуся вода не мочит...». При жизни он мог не бояться своих «ближайших друзей» и не мог не знать, что потом они не упустят случая изобразить его в соответствующем виде...

Реже, чем раньше, но слышатся еще восторженные голоса, поющие славу «вегетарианским» двадцатым годам. С меньшим упоением, но все еще перечисляют имена «несправедливо забытых» писателей, не различая талантов и бездарностей. Думаю, нашим читателям будет небезынтересно познакомиться со статьей о ранней поэзии Мариенгофа, опубликованной в «Новом русском слове», статьей, написанной в полемике с очередным восхвалителем «вычеркнутого из литературы поэта».

Сергей **ВОЛКОВ.**

ПРИЧАСТЕН К ПРЕИСПОДНЕЙ?

Недавно редакции «Нового русского слова» предложил две-три главы из своих воспоминаний гостящий в Нью-Йорке советский актер, игравший в какой-то пьесе периода сталинщины роль самого Сталина, а в пьесе хрущевских времен — роль маршала Тухачевского.

Автор воспоминаний пояснил при этом, что намерен по окончании своего труда выпустить его в свет (видимо, в Советском Союзе, пользуясь нынешней «гласностью») под названием: «В образах убийцы и жертвы». Кто убийца — пояснять не приходится, а вот «жертва» — это, конечно, Тухачевский, расстрелянный в 1937 году за мнимое участие в антисоветском заговоре.

Я думаю, нашим читателям не требуется доказывать, что и красный полководец Тухачевский был палачом и карателем. Палачом тамбовских крестьян, к примеру. Под его командованием Красная армия лавиной катилась на Польшу, чтобы на своих штыках принести революцию и Западную Европу, — и если это, к счастью для мира, не удалось, то по причинам, от Тухачевского не зависевшим. Так что гибель красного маршала от пуль сталинских опричников не вызывает у меня ни малейшего сожаления: за что боролся, по меткой русской поговорке, на то и напоролся.

Поэтому противопоставление, делаемое советским актером: с одной стороны — гнусный убийца, с другой — его невинная жертва, — представляется в высшей степени поверхностным, сомнительным, неоправданно прямолинейным.

Тухачевского привело под красное знамя стремление сделать быструю военную карьеру, в чем он, безусловно, и преуспел. А вот, скажем, Валентина Катаева привела к большевикам неуемная жажда жизни, жажда не просто жить, но жить, по его понятиям, хорошо: «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...» *

Агитки Маяковского, стишки Михалкова, пьесы Погодина — они ведь тоже диктовались авторам не какой-то их особой идейностью, а тем же стремлением заработать на патологической несовместимости советской власти с прежним, «отжившим» российским укладом.

Но в то же время не приходится полностью отрицать и особую, болезненную идейность того же, скажем, Маяковского, отлично вписавшегося в новый, советский образ мышления, искренне принявшего советскую мораль:

> **А мы —**
> **не Корнеля с каким-то**
> **Расином —**
> **отца, —**
> **предложи на старье**
> **меняться, —**
> **мы**
> **и его**
> **обольем керосином**
> **и в улицы пустим —**
> **для иллюминаций.**

Или:

> **Теперь**
> **не промахнемся мимо.**
> **Мы знаем кого — мети!**
> **Ноги знают, чьими**
> **трупами**
> **им идти.**

Анализируя истоки нацистского садизма, палачества, озверения, задумываясь над феноменом нацистского преступника, коменданта Освенцима Рудольфа Гесса, Ю. Юзовский справедливо отметил, что тысячи гессов «действовали под влиянием сознания, а не одного только приказа, существует более основательный фундамент, подпиравший самый приказ. Какой же это был фундамент? Какая сила приводила в действие автомат? Как это могло случиться? На это может быть один ответ, и я сформулирую его резко. Идея. И д е я...».

...Лучше всего ее выразил, пожалуй, большевиствующий поэт Василий Князев (палач? подголосок палачей? или тоже «жертва»? — ибо был в конце концов уничтожен Сталиным, притом до сих пор неясно, то ли в 1937, то ли в 1938 году). В 1918-м, в восторге от большевистского переворота, он тиснул книжку стихов под кощунственным названием «Красное Евангелие», где вполне четко выразил символ веры и своих хозяев, и свой собственный:

> **Сердца единой верой сплавим.**
> **Пускай нас мало, не беда! —**
> **Мы за собой идти заставим**
> **К бичам привыкшие стада!**

Человеческие стада, разумеется. Далее — столь же красноречиво.

> **Чего жалеть рабов-солдат,**
> **С душой бескрылою и куцей?**
> **Пусть гибнут сотнями,**
> **добрят**
> **Поля грядущих революций!**

Не стоит усматривать здесь «поэтическое преувеличение»: нас, наше поколение, да и поколение наших отцов, заставших российскую революцию в зрелом возрасте, большевики вполне откровенно и цинично рассматривали как удобрение для пашни «мировой коммуны» — всемирного концентрационного лагеря. «Пусть гибнут сотнями» — это поначалу, в первые месяцы после октябрьского переворота, когда казалось, что достаточно казнить сотню-другую убежденных монархистов, «заговорщиков» и «предателей», и потери с собственной стороны будут исчисляться теми же сотнями. Очень скоро счет казненным пошел на тысячи, а там — и на миллионы. Своих «рабов-солдат, с душой бескрылою и куцей», тоже клали не считая.

Как ни омерзительны стихи Князева, никому из идейных подпевал большевизма не удалось превзойти Анатолия Мариенгофа. Его садистский выкрик оказался пронзительнее человеконенавистнических призывов и Князева, и Каменского, и Хлебникова, и Городецкого, и самого Маяковского.

Он славит не что иное, как красный террор — в 1919 году, в разгар этого террора:

> **Кровью плюем зазорно**
> **Богу в юродивый взор.**
> **Вот на красном черным:**
> **— Массовый террор!**
> **Метлами ветру будет**
> **Говядину чью подместь.**
> **В этой черепов груде**
> **Наша красная месть.**
> **По тысяче голов сразу**
> **С плахи к Пречистой тайне...**

Вот уже и тысячами призывают считать отрубленные головы!

Упиваясь вседозволенностью, восторгаясь вчера еще немыслимым, а теперь ставшим модным и передовым, Мариенгоф строчил в том же девятнадцатом году: «Святость хлещем свистящей нагайкой и хилое тело Христа на дыбе вздыбливаем в Чрезвычайке. Что же, что же, прощай нам, грешным, спасай, как на Голгофе разбойника,—кровь твою, кровь бешено выплескиваем, как воду из рукомойника!». Мне в жизни не приходилось читать ничего подобного по силе садистского надрыва.

* * *

В одной из своих статей я мимоходом аттестовал Анатолия Мариенгофа так: «большой мерзавец, по-моему». Думается, что исступленное оправдание и восхваление им «красного террора» и его богохульство дают достаточное основание для такой аттестации. Однако эти позорные строки, вышедшие из-под пера Мариенгофа, видимо, не были известны литературному критику Владимиру Соловьеву, заметившему, что негоже, дескать, бросаться определениями вроде «большой мерзавец», не подкрепляя их тут же вескими доказательствами.

Не вижу ничего удивительного в том, что литературный критик не подозревал о кровожадных откровениях Мариенгофа. Советская власть вообще неохотно вспоминала свою подлинную историю, особенно детали первых месяцев своего существования (это и понятно — настолько гнусными были эти детали), и для вящего спокойствия упрятала в «спецхраны» и раннего Мариенгофа, и раннего Эренбурга, и Алексея Толстого, и Бунина тех лет, и даже собственные газетные подшивки.

Открытым остается вопрос о причастности Мариенгофа к ЧК — ОГПУ — НКВД. Он останется открытым до тех пор, пока закрыты архивы этого зловещего ведомства.

Я вовсе не хочу сказать, что Мариенгоф был доносчиком «органов». Но о том, что он имел то или иное касательство к ним, можно, на мой взгляд, заключить на основе ряда косвенных моментов, достаточно выразительных.

Прежде всего уясним себе, что руководство «органов» — Менжинский, Ягода, Агранов, Бокий и иже с ними изображали из себя меценатов, поклонников искусств, в первую очередь — гадкого левого искусства, пышным цветом расцветшего после октябрьского переворота. Высокопоставленные чекисты и их жены, содержательницы «светских» салонов новой формации, покровительствовали театру, живописи, литературным «исканиям», — они якшались (или, если угодно, с ними якшались) с Мейерхольдом и Зинаидой Райх, Максимом Горьким и Сергеем Третьяковым, Владимиром Луговским и Михаилом Кольцовым, с Мариенгофом и его женой Нюшей Никритиной, с Галиной Серебряковой и Надеждой Пешковой. Этот патронаж «органов» — и ничто другое — позволял Мариенгофу быть «не таким, как все» — не таким, как многие тысячи насмерть запуганных российских интеллигентов. «Они (Мариенгоф и Никритина, — И. К.) плыли всегда под ручку, мерно покачиваясь, как в танце, шикарные, эффектные, яркое пятно в толпе серых ленинградцев, он — длинноногий денди, она — актриса в мехах... Он напоминал большого, резвого пса, бьющего хвостом от довольства жизнью и собой, одет с иголочки, физиономия вытянута на манер Форсайтов из английского телефильма... Об имажинистах стали забывать. Отшумел и «Роман без вранья». А Мариенгофу хотелось быть, шуметь, напоминать о себе» **.

И это в то самое время, когда Ленинград сотрясали кампании массовых арестов и «изъятий», когда люди старались, чтобы власти, поелику возможно, о них забыли, когда люди, именуемые порядочными, надеялись как-то «пересидеть» затянувшееся безвременье, никоим образом не привлекать к себе внимание «хозяев жизни», ибо это внимание могло обернуться — и сплошь и рядом оборачивалось — тюрьмой, концлагерем, гибелью.

А вот Мариенгоф — поди ж ты... И ничего его не брало! И не был он «репрессирован», и умер в своей постели, благополучно пережив не только Ягоду или Агранова, но и Сталина.

Еще раз оговорюсь: какая роль была отведена Мариенгофу в том призрачном обществе, мы, вероятно, узнаем не скоро. Но В. Соловьев настойчиво проводит в своей статье «В защиту Анатолия Мариенгофа» (НРСлово, 26 сентября 1990 г.) мысль о том, что его подзащитный был жертвой, именно жертвой советской власти. Дескать, его литературные успехи относятся лишь к первым годам большевистского режима, а потом его долго-долго не печатали, «более того, в изданиях произведений Есенина снимались посвящения Мариенгофу, любые упоминания о нем».

Советская литературная энциклопедия не подтверждает этих сведений. Печатали Мариенгофа даже тогда, когда не печатали в СССР самого Есенина. Издавался он и в 1942 году (при жизни Сталина), и в

* Воспоминания И. А. Бунина «Окаянные дни».

** Лидия Жукова. Диалоги. Книга первая. Изд-во «Chalidze Publications», Нью-Йорк, 1983.

1957, и в 1959, и в 1965-м; сверх того, упоминали его имя в критических статьях в самый разгар сталинщины — в 1941 и 1951-м, так что «упоминания о нем» никогда не были под запретом. «Снимались» имена других друзей Есенина — например, Вольфа Эрлиха, — но это и понятно: Эрлих был арестован и погиб перед войной в сталинских застенках.

Мариенгофовская живучесть — в жизни и в литературе — свидетельствует о его странной приемлемости для советской власти, для которой оказались неприемлемыми и Булгаков, и Замятин, и Пильняк, и Бабель, и Шаламов, и Домбровский, и даже Олеша или Ильф и Петров.

* * *

Не помяни нас лихом,
революция!
Тебя встречали мы, иной
умели, песней, —

цитирует В. Соловьев Мариенгофа.

Мы уже видели, какой «песней» этот тип приветствовал революцию с ее красным террором. Но Соловьев опасается, как бы неприятие Мариенгофа не помешало признанию его «художественных достижений».

Однако простите, так ли уж велики эти «художественные достижения»?

Олеша замечал, что Есенин — единственный из имажинистов, действительно чего-то достигший в литературе, — неизмеримо выше своих товарищей. Да, Есенин останется в истории русской литературы. А те, что «неизмеримо ниже», в том числе и Мариенгоф? Позвольте в этом усомниться.

В то же время наше право, если не долг — поименно помнить всех, кто взахлеб подвизгивал кровавому режиму. Независимо от того, попал ли этот радостно подвизгнвавший потом в опалу или до конца дней своих пользовался «хорошей шляпой, отличными ботинками», полученными от советской власти.

Вот почему на месте Владимира Соловьева я подождал бы с моральной реабилитацией Мариенгофа — по крайней мере до тех пор, пока, повторю, не откроются чекистские архивы. Не сомневаюсь, что мы узнаем тогда очень много интересного — и неожиданного — для защитников творцов левого искусства и «левой» морали, которая в доброе старое время называлась просто и без обиняков — аморальностью.

И. КОСИНСКИЙ

В контексте Конквеста

(ЧИТАЯ «ЖАТВУ СКОРБИ»: ЛОНДОН, 1988; «НОВЫЙ МИР», № 10, 1989)

Есть свидетельства цифр, доставляемые статистикой. Есть и иные отпечатки в угольных пластах истории. Стиль, интонация, лексика — в них само дыхание мысли.

Ленинские тексты слабо окрашены эмоционально — во всяком случае, эмоции достаточно однообразны — в основном восклицательные проклятия в адрес «помещиков и капиталистов». Словесные конструкции статей и речей грубо-арматурны, но и в них случаются вкрапления эмоций, вплоть до юмора, порой воистину свирепого. В самом деле: не пригрезился же нам весело-беспечный прищур, когда он говорит об обстоятельствах погубления миллионов своих соотечественников. В контексте Конквеста, со страниц его «Жатвы скорби», эта рассыпающаяся смешком интонация становится слышимей, выпрыгивая из фраз, как чертик из табакерки: «...наша предыдущая экономическая политика, если нельзя сказать: рассчитывала (мы в той обстановке вообще рассчитывали мало) ...можно сказать, безрасчетно предполагала, что произойдет непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах. (...) Мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению. Мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нам нужное количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам — и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Не могу сказать, что именно так определенно и наглядно мы нарисовали себе такой план, — беззаботно, как легкомысленная дама, машет Ильич рукой на свою забывчивость, — но приблизительно в таком духе мы действовали».

Речевые обертоны — недоказуемые, с размытыми краями, они, будучи адекватно уловленными, абсолютно правдивы и точны, точнее цифровых сводок, куда вкрадывается тьма преднамеренных и случайных ошибок.

Дыхание мысли самого Конквеста иногда сбивается — когда сознание исследователя останавливается перед самым чудовищным. Он пытается себя убедить: «Большой голод, наступивший в 1921 году, не явился результатом чьего-то сознательного решения заморить крестьянина голодом». Но на той же странице 91: «Голод, который обрушился на деревню, явился неизбежным следствием решения (и Ленин откровенно об этом заявил) не принимать во внимание нужды крестьян». И второй контрдовод автора в споре с самим собой: «Американская администрация помощи и связанные с ней организации в кульминационный момент своей деятельности кормили 10 400 000 ртов и разные другие организации еще почти два миллиона... И даже именно тогда украинское голодающее крестьянство пытались оставить без помощи... Наличие голода на Украине вначале скрывалось...» Таким образом, по крайней мере гибель как минимум 800 000 человек от первого советского голода на Украине — сознательно организованный вычет «излишков» населения строптивой Украины.

Готовы ли были морально вожди революции к такому делу, гадать не надо. В главе девятнадцатой Конквест пишет: «Взгляд Ленина на голод раннего периода — 1891—1892 гг. на Волге, где он тогда жил, — может служить нам показателем отношения всей партии к отдельным или массовым смертям и страданиям, если расценивать их с позиций революционных целей. В то время, как все классы, включая либеральную интеллигенцию, спешили принять участие в работе благотворительных групп, Ленин отказался это сделать, утверждая, что голод будет способствовать революционизации масс, и добавил: «Психологически вся эта болтовня о том, чтобы накормить голодающих, есть не что иное, как проявление сахаринно-сладкой сентиментальности, столь характерной для нашей интеллигенции».

В новомировской публикации этого места нет. «Текст русского перевода публикуется нами с небольшой стилистической правкой», — так сказано во вступительной заметке...

Что же касается «сентиментальности», то она была пороком не всей русской интеллигенции. Например, в отношении крестьянства ее был вовсе лишен Горький. Мне уже приходилось цитировать горьковские строки, полные гадливого гнева: «Из этого материала — из деревенского темного и дряблого народа, — фантазеры и книжники хотят создать новое, социалистическое государство, новое не только по формам, но и существу, духу. Ясно, что строители должны работать применительно к особенностям материала».

Строители Светлого Будущего так и работали, оказавшись вовсе не такими уж книжниками. Они споро взялись осушать социальное «болото», добиваясь более приемлемого соотношения крестьянской массы и остального народонаселения.

Нет в новомировском тексте и сюжета про активиста, любившего распевать «Интернационал», который начинается со слова «Вставай...», и не вставшего однажды, брошенного властью на произвол голода.

Все мы знаем и видим, как трудно бывает отыскивать истинные причины и цели столь громадных преступлений, как раскулачивание и террор голодом. Конквест блестяще показывает, что самые очевидные, самые логические объяснения оказываются и самыми спорными или просто ложными, если копнуть поглубже.

Широко известна была такая логическая цепочка: раскулачивали затем, чтобы отобрать поболее хлеба, пустить его на экспорт, и на деньги, полученные таким мерзким образом, провести индустриализацию. В проведении последней видели залог будущей победы в войне. Отсюда наиболее рьяные поборники исторической логики выводили исключительную государственную прозорливость Вождя народов, пусть и жестокую, «как сама история». Конквест, с помощью других исследователей, показывает, что никакой «зерновой выгоды» не получилось. Хлебные экспортные поставки не возросли, а уменьшились. Выявив это, Конквест предполагает, что основной целью было создание резерва для армии и на случай войны. Но и это объяснение сомнительно. «Жатва скорби» полна свидетельств того, как собранное продовольствие просто гибло, охраняемое войсками от голодных толп. Часть подобных фактов следует отнести на счет нерасторопности. Но нет свидетельств, чтобы за нерасторопность в этом случае особо жестоко, чрезвычайно наказывали.

Заметно мучаясь, несмотря на академическую сдержанность слога, фантасмагоричностью исследуемого материала, Конквест все время ищет простую, то

есть понятную, пусть и **политическую** логику. Зачем раскулачивать, то есть срывать с мест (многих — расстреливать на месте, никуда не срывая) и высылать в гиблые топи главных производителей товарного хлеба, столь нужного для той же индустриализации? Конквест предлагает следующую версию: Сталин хотел лишить деревню ее прежних, естественных лидеров — так сказать, светских, поскольку духовные наставники — священники — «как класс» были уничтожены несколькими годами ранее. Умом Россию не понять, советскую Россию — тем более, но так хочется именно — умом! Всем исследователям кажется, что из хаотичного, зыбящегося материала, все время стремящегося превратиться из фактов и цифровых выкладок в **видения**, — что из него, как из раствора, вот-вот выпадут кристаллы смысла, стоит только поместить в него в качестве катализатора правильный ответ на вопрос: зачем?

Гипотеза об устранении лидеров внешне логична. Но начинаешь вглядываться в нее, да хотя бы через ту же «Жатву...», и она **плывет**, сама растворяясь в адской суспензии. Сомнения такие: а зачем с семьями высылать? И баб Сталин боялся, видя в них «лидеров», а в ссылаемых детях предполагал лидеров будущих? Зачем жестоко, почти как за хранение оружия, карали за изготовление и использование ручных мельниц и прочего инвентаря, способного помочь избежать голодной смерти?

Мне представляется, что нерастворимым, неопровергаемым будет другой ответ: осуществлялся геноцид в отношении крестьянства. Правящей партии и ее главе страстно хотелось наубивать как можно больше. Попутно решались важные задачи — вымазать в крови всех как можно гуще и **взаимней** (именно для этого волнами шли уничтожения и самих коммунистов) — хотя бы для того, чтобы они все, скопом, смертельно боялись смены политического режима вообще и замены прежнего Отца на нового в частности.

Если же заглянуть в самые изначальные глубины этих человекоподобных, то там нашему воображению могут предстать такие видения, как ненасытимая сладость презрения к людям вообще — я вас насилую, вы же меня любите. Такого рода удовольствия — особенно если они приобретают масштабы беспредела — выше любого расчета, пусть и политического, крупного, выше корысти личной или государственной. Ничего уникального, кроме, понятно, масштабов, тут нет. Тут и нашему воображению пасовать не перед чем. Легко же нам умопостигать какого-нибудь гулаговского уголовника, который ради садистских удовольствий способен замучить до смерти политического, даже если он знает, например, что с его смертью прекратятся и продуктовые посылки. Народ же мы, как всему миру ведомо, бескорыстный.

Впрочем, если спуститься с высот (вернее, подняться из бездны), где обитают вожди, могущие позволить себе и такое бескорыстие, которое куда более преступно, чем любая материальная алчность, и обратиться к партийным массам, то там «все как у людей». Конквест приводит ряд выписок из авторитетных источников — Гроссман, Залыгин, Шолохов, а также свидетельства советских газет той поры, где говорится о самом пошлом грабеже, в котором при раскулачивании порой участвовала чуть не вся деревня, не только одни «активисты».

Все это, чувствуется, поразило некогда историка. И поразило настолько, что он то и дело приводит (например, в главе «Судьба кулаков») художественно сильные свидетельства бесстыдных грабежей и прочей пошлости. Делает он это настойчиво, доказывая — не самому ли себе?

Слишком многие простые люди вели себя постыдно и подло. Представляю себе, каково было В. Солоухину, когда он писал «Смех за левым плечом», свидетельствовать о своих любимых земляках, о тех из них, кто спешил поживиться чужими перинами, когда «кулачили» соседей. Знать такое о своем народе страшно тяжело.

Темные и светлые начала, не устаем мы себе повторять, существуют в каждом человеке, за редкими исключениями праведников либо монстров. Слишком многих можно призвать, принудить быть либо работником, либо разрушителем.

Власть, особенно в энергичной своей фазе, берет из всего, что ни есть в подвластном ей обществе, в национальном характере, то, что ей надобно. Как в химикоорганических процессах делаются вытяжки, извлечения нужных элементов, так и правящие структуры то поощряют просветительство, то провоцируют зверские инстинкты, злобную глупость и дикость.

И не надо удивляться — откуда вдруг в мечтательном народе, и вправду незлобивом, объявляются вдруг легионы живодеров, которых хватает на все лагеря и этапы, все пытальни, на все продотряды и прочее. На властный зов эти легионы являются — из бездны человека.

Есть люди, которых никакая власть не заставит творить зло, которые не дадут обмануть себя ни посулами, ни заклинаниями. Есть и такие, которые живут негодяями в самой окультуренной среде. Они будут красть даже тогда, когда легче и проще заработать. А посреди — девять десятых грешного люда земного. И ими, если создать нужные условия, можно манипулировать как заблагорассудится. Задача, увы, облегчается для разного рода властолюбивых сумасшедших, когда дело касается крестьянских народов — какими были русские, украинцы, белорусы, казахи (последние, кстати сказать, пострадали от террора голодом в процентном соотношении погибших и выживших даже больше, чем украинцы). Три помянутых славянских народа — как три инфантильных богатыря. По этническому возрасту еще почти подростки, на судьбоносном распутье. Тут-то история и уготовила им волчью яму.

...Началось ретивое соцсоревнование по раскулачиванию и расстрелам. Задания по многим уездам и губерниям перевыполнялись, так что центральной власти приходилось (впрочем, на первых порах) несколько сдерживать особо ретивых партийцев, иных даже самих включали в **списки**. Первые массовые (после одиночных, малыми группами в нэповские годы) расстрелы начались в 1929 году. Далее лавина нарастает. В тексте «Жатвы скорби» роковые цифры обрастают все большим количеством нулей — словно бы их выбивают уже не одиночные выстрелы, а пулеметные очереди.

Многие русские писатели, запрещая себе лгать и увиливать, свидетельствуют об общем позоре **нашем**: хуже некуда поступали **люди добрые** друг с другом, «раз власть дозволяет и велит». Конквест же, приводя множество таких свидетельств и фактов, создает и противовес им — старается собрать поболее свидетельств милосердия. Понятное дело, и их собирать довелось не по крохам.

Конквест не хочет, чтобы западный читатель невзлюбил «славянскую душу» вместе с ее страшноватыми загадками.

А судьбы тогдашних людей складывались причудливо. В моих родных краях, на Урале (пострадавшем от партийного террора меньше — ибо — **кузница**), рассказывают, как двое раскулаченных приехали некоторое время спустя навестить земляков и душевно благодарили местную ячейку за то, что именно их именами выполнили спущенную из района «цифру» — изгнанные из деревни, они перебрались в город, и теперь уж не колхозный тягловый скот они, а слесаря, люди.

В наших преданиях не счесть больших и малых легенд. Одна из них — пожалуй, скорее большая — о золотой поре нэпа, поре благоденствия и изобилия. Нынешние журналы наперебой печатают снимки тех лет: прилавки завалены битой птицей и аршинными осетрами. Фотографии подлинные, да правда не вся. Читаем Конквеста: «Главным орудием «закона», применявшегося тогда против крестьянства, была «статья 107», вступившая в силу в 1926 году. Она предусматривала тюремное заключение и конфискацию имущества лиц, виновных в умышленном завышении цен или отказывавшихся поставлять свои товары на продажу. (Как несколькими годами ранее, при Ленине, запрещалось вообще торговать! И это тоже, то есть вообще торговля, именовалось спекуляцией. — А. М.) Статья эта никогда не предназначалась для использования против крестьянства (то есть в открытую. — А. М.), введена она была для борьбы со «спекулянтами». Но на пленуме ЦК, состоявшемся в июле 1928 года, Рыков получил возможность сообщить присутствующим, что обычно зона действия «статьи 107-й» охватывала в 25 процентах случаев крестьян-бедняков, в 64 процентах случаев — середняков, а кулаков — лишь в 7 процентах случаев».

В эти годы поменьше было расстрелов — это ли не повод изображать восемь нэповских лет как райский уголок среди семи десятков лет советской истории...

Читать книгу Роберта Конквеста очень трудно. Она — шедевр своего жанра.

Хочется пропустить какие-то страницы, абзацы — мол, всё и так понятно. Но читать ее надо строку за строкой.

Конквест пишет спокойно и мерно — лишь иногда ему не удается сдержать себя. Читатель, однако, всегда чувствует, что такая сдержанность дается ему нелегко — и она представляется мне **художественной** победой этой книги, написанной историком, а не беллетристом.

Александр МЕДВЕДЕВ.

Из нашей почты

Специальный корреспондент «Правды» в Будапеште Владимир Герасимов в одной из очередных своих публикаций заявил, что «в стране растет антисемитизм».

Другую точку зрения на происходящее в Венгрии отстаивает статья из еженедельника «Святая корона», перевод которой, с небольшими сокращениями, редакция предлагает вниманию читателей.

К слову сказать, подобных публикаций в венгерской печати, даже в самых либеральных периодических изданиях, появляется теперь много; жаль только, что все они остались не замеченными спецкором «Правды», старающимся, по его словам, «дать объективную оценку ситуации в стране».

КЛЕВЕТА НА ВЕНГРИЮ

ССД (Союз Свободных Демократов) и еврейские общины Венгрии всюду стараются подчеркнуть, что ВДФ (Венгерский Демократический Форум) победил на выборах лишь потому, что апеллировал к антисемитизму. Разумеется, во всех этих обвинениях нет ни слова правды. Однако стоит вникнуть в суть дела.

Во-первых, такое утверждение оскорбительно для венгров, так как подразумевает полную политическую неграмотность венгерского народа, его неспособность увидеть явное превосходство ВДФ перед ССД и СМД (Союзом Молодых Демократов), у которых, кстати, даже не было определенной программы. Проще говоря, кое-кто утверждает, что венгры отдали свои голоса за Форум постольку, поскольку он пощекотал их самолюбие антисемитизмом.

Скажем сразу: венгерский народ свободен от антисемитизма. И заставило его отвернуться от ССД и СМД именно пошлое и бестактное муссирование этими партиями, на протяжении всей предвыборной кампании, еврейского вопроса, навязчивые попытки свести все и вся к антисемитизму.

Во-вторых, ВДФ никогда не был антисемитской организацией. В нем есть место каждому честному гражданину, независимо от его расовой и социальной принадлежности, готовому служить Отечеству ради его спасения, а не ради достижения власти...

Оскорблением венгерского народа со стороны ССД стало и квалифицирование этой партией победы ВДФ как победы быдла. (Знакомые нотки; как тут не вспомнить утверждения некоторых наших леворадикалов о том, что читателями патриотических изданий, а также посетителями выставок И. С. Глазунова является быдло.— *Л. Б.*)

Обозвали быдлом целую страну и, как видно, не собираются прекращать оскорбления. Так, еженедельник «168 часов» вновь напоминает нам о существовании некоего «быдла».

«Быдло» и «антисемитизм» — только об этом и слышно в последнее время. Но какие цели преследуются такими обвинениями?

«Гласность» дошла уже до того, что иной венгр сто раз подумает, прежде чем посмеет произнести: «Всей стране светит солнце...» Тут же его перебьет нервный крик какого-нибудь еврея: «Неправда! Вся страна полна антисемитизмом!».

Что достигается этим?

Похоже, что ключ к разгадке дает нам одна поучительная новелла Ференца Мора.

Дело было еще во времена турецкого ига. Шел по дороге крестьянин и нес на шее барашка. Каждый встречный останавливал его и начинал разговор, спрашивая о том, что и так являлось очевидным: «Что ты несешь?» — «Барашка».

Уже который по счету встречный останавливает его и задает все тот же вопрос... Теперь это один безобидный турок. Но у крестьянина уже желчь начала разливаться от негодования. Он скидывает с плеч барашка и запускает его в турка.

Дело доходит до суда. А судья был турок, которого крестьянин приветствует, как и было принято в те времена: «Аллах велик и всемогущ». На что судья, встав, как полагается, ответил: «И Мохаммед его пророк». Только было уселся судья, а крестьянин опять обращается к нему с приветствием. Судья снова встает и отвечает. Так и продолжалось бы, но судью охватил гнев, и он сказал, что оторвет крестьянину голову, если тот попытается продолжить. В ответ крестьянин поведал ему, что с ним самим произошло то же самое.

Судья отнесся к крестьянину с пониманием и вынес решение, которым все остались довольны.

Что же делать простому венгру, не антисемиту, который и на словах, и в печати ничего другого от еврея не слышит, кроме того, что он, венгр, — обыкновенное быдло и антисемит. Сначала он попытается избегать еврея. После неоднократных оскорблений он приходит в негодование и в конце концов резко отвечает обидчику. И тем не менее он все еще не антисемит, а всего лишь разгневанный человек. Но так как клеветнические обвинения и оскорбления не прекращаются, венгр делает замечания беспрерывно оскорбляющему его еврею, который в один прекрасный момент, застав венгра врасплох, бросает ему: «Ну что, говорил я тебе, что вы, венгры, антисемиты!..»

Вот почему в Венгрии не прекращаются обвинения в «антисемитизме», цель которых — создание постоянной напряженности между евреем и нееврем. Причин для этого много. Одна из них — стремление вызвать из Венгрии, как и из Советского Союза, волну еврейской эмиграции в Израиль, точнее на оккупированные арабские территории, с целью заселения их евреями. (Например, в Советском Союзе именно евреям была известна точная дата мнимых погромов. Назначенный день наступил, а погромов, естественно, не было. Но зато последовал новый всплеск волны эмиграции.— *Л. Б.*)

Другая цель — добиться хоть малейшей выгоды из неминуемо возникающих при таком положении дел неприятностях. То там, то здесь проливается свет на крупномасштабные махинации евреев, занимающихся внешней торговлей. Народ возмущен и, естественно, требует привлечь мошенников к ответу. Но привлечь к ответу некоторых граждан не так-то просто.

Вот, к примеру, дело о махинациях некоего товарища Вадаса, обещающее быть зрелищным и скандальным. Вадас — гражданин Венгрии, а его кровный брат «влачит жалкое существование» в Израиле. На счету Вадаса, или, вернее сказать, в его преступном реестре, значатся миллионы долларов и килограммы золота. В настоящее время Вадас на свободе — и именно благодаря тому, что Дьердь Ацел, известный своим пуританством еврей, будучи ответственным в Политбюро за культуру, замял это дело с помощью Бенке (как раз в то время, когда произошел провал Вадаса, Бенке был министром внутренних дел). Ну а если правоохранительные органы наконец начнут привлекать к ответственности Вадаса и Ацела, то это, «разумеется», будет свидетельствовать о «преследовании евреев». Тем более что Дюла Хернади (член венгерской масонской ложи, автор порнографических рассказов, а также сценариев для фильмов своего приятеля — кинорежиссера, тоже масона, Миклоша Янчо. — *Л. Б.*) задолго до того, как дело Вадаса приняло огласку, раструбил на весь мир, что Ацела преследуют лишь только потому, что он еврей.

Теперь одно из двух. Или власти отпустят преступников, чтобы избежать международного протеста по поводу «преследования евреев», или же если и будет выдвинуто обвинение, то и из него кое-кто постарается извлечь выгоду, так как в этом случае мир начнет шумно выступать в «защиту евреев».

Однако, несмотря на огромные усилия, клеветникам не удается спровоцировать в Венгрии «антисемитизм». Венгерский народ достаточно зрел, немстителен и не считает себя «избранным», он — христианин по духу. И единственное, чего они смогли добиться, — это стремительное падение доверия народа к ССД и им подобным.

Публикация и перевод с венгерского Любови БЕРЕГСАЗИ.
Гонорар — в пользу основания Храма св. Николая на крови в Екатеринбурге.

НЕ ХОЧУ БЫТЬ НАСЛЕДНИКОМ ЧИНГИСХАНА!

Ну все. Круг, кажется, замыкается. К чему шли — к тому и приходим; начинали с развала Союза — заканчиваем развалом России. Согласно проекту Конституции Российской Федерации, подготовленному рабочей группой Конституционной комиссии, рождается некая суррогатная «Российская республика», состоящая из «...национально-территориальных и региональных образований, имеющих конституционно-правовой статус равноправных республик и федеральных территорий» (Ст. 4.1.1). «Субъекты федерации (республики, края, области, земли и проч.), входящие в Российскую Федерацию, выбирают себе название самостоятельно, исходя из национальных, традиционных или иных оснований» (Ст. 4.1.2). «Каждый субъект федерации сможет установить свое гражданство» (Ст. 4.4.1).

Но и это еще не все. Любопытные метаморфозы предлагается произвести и с названием самой «совокупности субъектов», то бишь нынешней РСФСР, откуда выбрасываются слова «советская» и «социалистическая».

Вот это да!

Сначала вроде кричали «Вся власть Советам!» (правда, в отличие от 1917 г., эти Советы стали не рабочими, крестьянскими и солдатскими, а интеллигентско-плюралистическими), затем — «за Советы без коммунистов», а заканчивается все тем, что ни коммунистов, ни Советов, ни Советской власти.

То же самое и с социализмом: сначала

было «больше социализма», затем «к гуманному и демократическому», потом от социализма перешли к его выбору и, наконец, ни социализма, ни выбора!

Резюмирую:

Вместо единой, великой и неделимой России, традиционно тяготевшей к коллективно-общинному (социалистическому) и демократическому (советскому) ведению хозяйства, при отсутствии принципиальных межнациональных антагонизмов, нам предлагается расчленить Отечество на «субъекты», образования, «земли» и проч. с самостоятельными названиями, конституционно-правовыми статусами и гражданствами при полном отсутствии какого-либо единого народно - хозяйственного плана развития, какого-либо объединяющего общественно-политического строя и связующих структур управления.

Н-да... Таких прецедентов наша история еще, пожалуй, не знала. Разве что Чингисхан со своим кланом шел на древнюю Русь с теми же намерениями. Дело, говорят, у них продвигалось с переменным успехом, пока не закончилось Куликовской битвой, после чего попытки полного расчленения России на долгие века прекратились. Не удались они в XX веке и Гитлеру.

И вот надо же, свой же родной российский парламент решил «тряхнуть стариной». Что ж, виват Ельцину и К°! Браво, даже браво́ссимо за смелость и нестандартность мышления.

Ну а что же мы, мои дорогие российские соотечественники? Что, вот так возьмем и поздравим друг друга с посвящением в наследники Чингисхана — все же великий разрушитель, говорят, был?

Вот только одна беда: не знаю, не уверен, все ли с этим согласны. Хоть и парламент у нас сегодня демократический и Председатель — большой радикал, да все ж уверенности такой все нет как нет. Так, может, потребуем хоть в последний раз, когда для России «последний парад наступает», чтобы у народа спросили, наконец, его мнение?

Что же до меня лично, то я, как гражданин России — ПРОТЕСТУЮ! И ни в каком ином «субъекте», кроме как по имени Россия, жить не желаю. Категорически!

Я родился ее гражданином, при жизни я стал ее патриотом, и умереть хочу как Гражданин и Патриот России! А посему, полагая, что далеко не один я такой, требую по этому архиважному вопросу референдума и только референдума. Для всех 148 миллионов жителей России!

Иные же преднамеренные политиканские попытки конституционным путем расчленить Россию и убить мою Родину буду считать государственным преступлением.

А вы?

Геннадий ТУРЕЦКИЙ.
г. Ленинград.

ЧЕРНОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ СОЮЗ ИЛИ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКАЯ УНИЯ?

Новое — это хорошо забытое старое. В справедливости этой истины убеждаешься на практике.

Наши раз-Руховцы долго и яростно боролись за самостийность. Приняли летом Декларацию о независимости Украины. Зверски избили осенью монахинь и полковника угрозыска Григорьева. Толкнули студентов на голодовку, чтобы отделиться навсегда от Московии. Поставили памятник Степе Бандере. Реабилитировали немецкую военную разведку ОУН, боровшуюся, кстати, и против Америки. Установили диктатуру Чорновила на Западной Украине. И все им мало. Дальше... дальше... дальше — подзуживает их «история» в лице американо-канадско-английско-израильских спецслужб. И вот свершилось! Украинскому народу преподнесен «сюрприз» в виде Черноморско-Балтийского Союза. Об этом с тревогой заявил Виктор Алкснис. Есть и документальные доказательства. Мне очень «понравились», например, такие означенные перспективы: «Делегации считают необходимым создание национальных вооруженных сил, высказываются за консультации и координацию действий в процессе их образования, за дружественные отношения между ними. ...проводить согласованную политику по разделению золотого запаса и алмазного фонда СССР». Еще цитата из газеты «Литературная Украина» (от 13.12.90): «...если Украина вступит в союз в той или иной форме со своими западными соседями (поляками, литовцами, румынами, белорусами), образуется сильное объединение в Восточной Европе, достаточный противовес России, которая станет силой среднего масштаба, избавленной от имперских забот, достаточно способной пройти процесс демократизации, очищенной от коммунизма» («Краеугольный камень святого письма». Ален Безансон, Франция). Итак, иностранец предлагает Польско-Литовскую Унию, с чем остается поздравить раз-Руховцев, а заодно и всех нас, доживших до извлечения на свет Божий идеи, изъеденной молью веков. Так что же? Держись, Россия? Готовься, Московский Кремль, принять новых самозванцев?

Все это было бы смешно, когда бы не было так... страшно.

В. СОРОКИН, преподаватель.
г. Киев.

ГДЕ ДОРОГА К РАЗРУШЕННОМУ ХРАМУ?

У каждого русского много чего накопилось в душе, каждый бы нашел, о чем помолиться в Храме, но где он — Храм? Кто русских лишил его? А разрушали храмы не случайно, не походя, не только ради грабежа; пользуясь стихией толпы, уничтожали методически, планомерно, «теоретически обосновав». И стоит теперь русский человек — потерявшийся, забитый и нищий — среди разрушенных храмов, на загубленной земле, которую обихаживал, от которой рос, питался, заряжался духовно, которую защищал, проливая кровь, и не пустил врагов извне. Стоит и недоумевает — «от врага отбился и земля под ногами вроде своя, а страна как будто чужая»...

И вот некоторые журналисты и ученые, беря только одну сторону русской истории, заключают: «Рабская душа русского народа жаждала сильной руки хозяина и с готовностью и радостью отдалась в железные объятья Сталина». Почему-то говорящие это не учитывают, что движение, действие нации определяет ее цвет, а цвет нации начали уничтожать сразу же после октября 1917 года и уничтожали много лет. Почему-то никто из подобных «мыслителей» не проясняет, в силу каких национальных черт гордые испанцы отдались в руки Франко, итальянцы — в руки Муссолини, народ древнейшей культуры, китайцы подчинились Мао, страна классической философии распласталась под сапогом ефрейтора, а свободолюбивые французы признали своим императором корсиканца Бонапарта. У них вроде как социальные и политические причины, положения и обстоятельства, а у русских, выходит, «рабская душа»...

...Несколько лет назад я прочитал у В. Астафьева о том, как в редакции на него накинулась некая хранительница «незыблемости и порядка» за то, что в рассказе один из отрицательных или не очень симпатичных персонажей имел еврейскую фамилию, и требовала фамилию заменить на русскую, можно украинскую. Как прикажете мне, русскому, к этому отнестись, если допустить, что я все-таки не из дерева вырублен, а человек живой. Требовала и, видимо, добивалась, чтобы требования выполнялись. Теперь же, когда голос в защиту русского достоинства так или иначе находит выход, — началось; такая началась вакханалия, несмотря на то, что русские никого еще не обидели. Вот бьют месхетинцев, месхетинцы — в Россию, а почему не в Грузию? И почему русский опять виноват, ведь выселял их когда-то не архангельский мужик. И почему беженцы направляются не, скажем, в Литву, Эстонию, где порядок, культура, а к русским, в их «варварское логово». Если армянина гонят из Баку, он может ехать в Армению, а может и в Россию. Русские могут ехать только в Россию, домой, но и здесь им не находится места.

Российское правительство, как бы соревнуясь с союзным, спешит заключить двусторонние договора с республиками на условиях, поставленных руководителями тех республик, а судьба русских людей, проживающих там, вроде как нечто второстепенное. В Приднестровье живут преимущественно русские люди, но тот же Ельцин не желает из-за них ссориться с правительством Молдовы, а наоборот, стремится угодить ему, дабы иметь лишний козырь в соперничестве с Президентом. Пока между лидерами идут баталии, что делать русскому человеку, который везде виноват и нигде не угоден? Идти в Храм, давно разрушенный даже в душах, или позаботиться хоть о физическом спасении?

Взял я недавно центральную чувашскую газету и там читаю о том, что чувашская культура подпитывала русскую, тратилась на нее, а взамен ничего не получала. Можете не поверить, но прямо так и напечатано! Это даже не глупо, даже не смешно, это нелепо, так же нелепо, как утверждение: русская культура подпитывала византийскую и древнегреческую, а взамен ничего не получила.

В своей статье «О чем молиться в Храме Христа Спасителя» («ЛГ», 10 окт., 1990 г.) А. Латынина пишет: «Вопли же «патриотического блока» по поводу клеветы, очернительства, оплевывания русской истории, травли русских, заговора черных сил против России и т. п. только мешают». Не знаю, как в столице, может быть, там и раздается что-нибудь подобное, но все же большинство народа живет в провинции, в таких же городках, как мой. И никаких «воплей патриотического блока» мы не слышим, потому что все известия черпаем из средств массовой информации и о существовании этого «блока» узнали из того же источника. А с экрана ТВ, кстати, самого мощного и навязчивого информатора, вопли действительно раздаются (только не из уст представителей «патриотического блока», мы их на экране вообще не видим). Так однажды в программе «Взгляд» проходил сюжет об израильской нумизматической выставке в Москве. Журналист спрашивает у израильского представителя: «А Вам не страшно было сюда приезжать, не боитесь ли Вы в Москве?» Это прозвучало так, будто евреев в Москве живьем едят. И сказано это было не в приватной беседе, не за кружкой пива, а перед миллионами телезрителей, сограждан. Вопрос прозвучал нелепо и фальшиво, им, кажется, и иностранец был несколько ошарашен. Подобные «беседы» (а им несть числа) проходят на фоне настоящих погромов, но только не еврейских, не мифических, не мнимых, не предполагаемых, — на фоне реальной войны, виновники которой, кровью запятнанные, на свободе.

...Сейчас, на мой взгляд, самое страшное — это отчаяние народа, особенно народа с богатой историей, культурой, но попранной и униженной. И не надо дергать его, нервировать, тем более теперь,

когда народ почувствовал себя обманутым и решил, что жертвы ради светлого будущего ни к чему хорошему не привели. Вместе с ранее привитыми идеалами рушится на глазах и материальная состоятельность; и вот сейчас вместо поддержки вдалбливать ему чувство вины, значит доводить его до отчаяния, т. е. играть с огнем. Но кому-то очень хочется бури...

Много русская земля породила героев и гениев, как никакая другая — бунтарей-правдолюбцев и философов-аскетов, собирателей и хранителей, но и паразитов ни по одной земле столько не ползало. Наконец пора понять и усвоить, что русские никому ничем не обязаны — никому, ничем! Единственно обязаны собственной земле, обязаны очистить тело России от паразитов, а русская интеллигенция,— если она является таковой, — обязана помочь восстановить Храм в душах русских людей, помочь поверить в себя, найти точку опоры и удержаться на ней.

Александр ТИТОВ, рабочий-электрик.

г. Алатырь.

ДЕМОКРАТ ИЛИ...?

В последнее время в нашей общественной жизни наблюдается некоторая путаница в политических терминах.

Так, словом «демократ» прикрываются все, кому не лень: от политического конъюнктурщика А. Н. Яковлева, бывшего партократа Б. Н. Ельцина до национал-музыканта В. Ландсбергиса.

Предлагаю оставить этот термин в его подлинном значении, а лиц, упорно и безосновательно клеящих его себе в виде фальшивого фирменного знака, впредь именовать публично, в т. ч. в печати: «перестроечные демократы и либералы» (сокращенно, пардон, «пердилы». Не очень благозвучно, но так уж выходит).

Мы не должны позволять политическим шулерам мухлевать и наживать популистский капиталец на честных и святых для истинных демократов понятиях; надо бы объяснить им: сначала создайте что-либо реально демократическое (вместо охаивания всего прошлого и настоящего своей Родины, оплевывания мнимых и явных врагов своих), тогда народ сам, не авансом, а на деле удостоит вас этого высокого звания. А пока постарайтесь обойтись предлагаемым определением.

Прошу поставить мое предложение на поименное голосование читателей журнала.

Иван КРИВОНОС.

г. Вильнюс.

ВСЕ ЭТО ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ

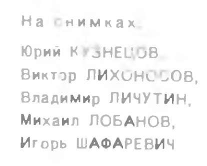
Нам, живущим в союзных республиках, сейчас очень тяжело. Кругом ложь, оскорбление, унижение нашего национального достоинства. В России нас не слышат или не желают слышать. Ложь в «демократической» прессе, в телепередачах. Ведь мы, живя здесь, лучше знаем, что и как.

Вот приезжает лидер России в Прибалтику, делает вид, что нас здесь нет. Говорит о демократии. Но ведь он политический оборотень. Неужели русские в России этого не видят? Как это страшно! Ему хочется развалить Союз, но ведь потом — распад России. Неужели и это не понимают? Или России вообще уже нет? Почему молчит русская интеллигенция? Почему хорошим тоном стало оскорбление русских в московской прессе? Мы ждали, что Радио России будет честно освещать события, но опять ложь. Все преподносится однобоко, в оскорбительном для русских тоне. Откуда столько равнодушия к судьбе нации? Или мы не нация?

Слушать российский парламент становится страшно. От российского лидера исходит одно политиканство. Все это под аплодисменты. Что это, если не глумление над нацией? Почему опять политические оборотни, манкурты делают себе карьеру на горе нашего народа?

...Хотелось бы видеть коллектив редакции «Нашего современника» на телевидении, слышать по радио. Ведь судьба России под вопросом. Выступайте в прессе, не молчите, кто-то же должен говорить правду!

Н. НИКИТСКАЯ,
Латвия.



На снимках:
Юрий КУЗНЕЦОВ,
Виктор ЛИХОНОСОВ,
Владимир ЛИЧУТИН,
Михаил ЛОБАНОВ,
Игорь ШАФАРЕВИЧ

Фото А. ПАНТЕЛЕЕВА